МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. С. ЭФРОН

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ
ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ



А. С. Эфрон

О Марине Цветаевой

Воспоминания дочери



Москва
Берлин
2019

УДК 82-3
ББК 83.3(2)6
Э94

Эфрон, А. С.

Э94 О Марине Цветаевой : воспоминания дочери / А. С. Эфрон. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 483 с.

ISBN 978-5-4475-9939-3

Свою книгу дочь публициста Сергея Эфрона Ариадна Эфрон (1912–1975 гг.), посвятила матери – великой поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой. Ариадна Эфрон была переводчиком прозы и поэзии, талантливым художником-графиком, искусствоведом, мемуаристом. Ее трогательные детские дневниковые записи, с которых начинаются воспоминания, постепенно набирая силу и богатство впечатлений, рисуют яркий реалистичный портрет Марины Ивановны Цветаевой, освещая драматические обстоятельства ее жизни, рассказывают о ее литературном окружении. Сквозь призму пронзительного восприятия времени автор воссоздает атмосферу безвозвратно ушедшей эпохи.

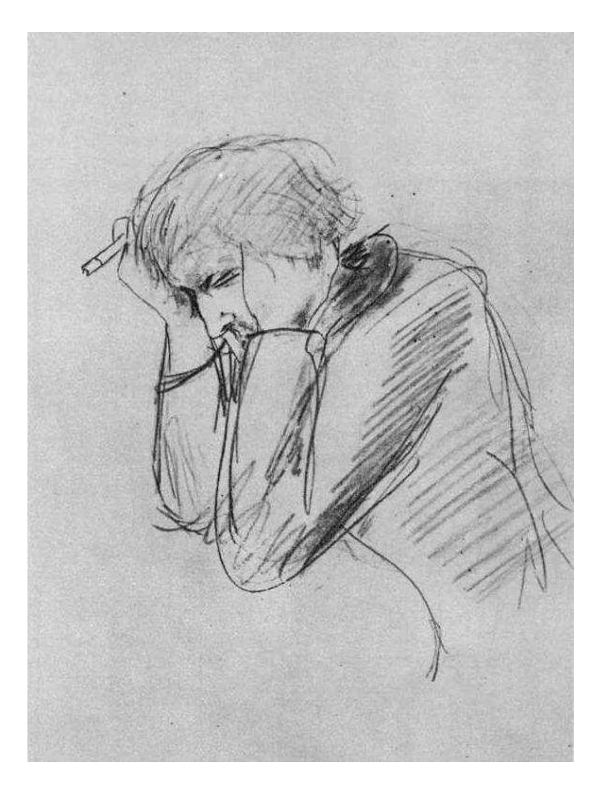
Раздел «Из записей и писем…» составили дневниковые записи и отрывки из писем к разным лицам, в которых упоминается о Марине Цветаевой. В заключительную часть книги вошла часть переписки Ариадны Эфрон с Борисом Пастернаком, где за каждой строкой незримо присутствует образ великой поэтессы.

Издание снабжено иллюстративным материалом, который составляют архивные и любительские фотографии, а также рисунки Ариадны Эфрон.

УДК 82-3
ББК 83.3(2)6

ISBN 978-5-4475-9939-3

Воспоминания



Марина Ивановна Цветаева. Рисунок А. С. Эфрон.
Начало тридцатых годов

Страницы воспоминаний

КАКОЙ ОНА БЫЛА?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом – 163 см, с фигурой египетского мальчика – широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны – без резкости – движения. Она смиряла

и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали седеть – и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом – смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнущи были глаза – зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо – никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь – сжата, реплики – формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика – и неудовлетворена – ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них – или воображала! – «искру божью» дара; в каждом таком чуяла собрата, преемника – о, не своего! – самой Поэзии! – но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действенно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти – хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда – беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких – друзей, детей – требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом – «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.

Курила: в России – папиросы, которые сама набивала, за границей – крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее – горы, скалы, лес – языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель – юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно – холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, – плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до..., взобраться на...; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, – хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники.

Ненавидела быт – за неизбывность его, за бесполезную повторяемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного. Терпеливо и отчужденно превозмогала его – всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чудаками. Да и сама слыла чудачкой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтила старость.

Обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явно – или грубо – смешном.

Из двух начал, которым было подвлиянно ее детство – изобразительные искусства (сфера отца) и музыка (сфера матери), – восприняла музыку. Форма и колорит – достоверно осязаемое и достоверно зримое – остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного – так дети «смотрят картинки», – поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра (любила Дюрера, Доре) была ближе ее духу, нежели живопись.

Ранняя увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для нее, вместе с юностью, в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны.

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» – немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю.

К людям труда относилась – неизменно – с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга.

При всей своей скромности знала себе цену.

КАК ОНА ПИСАЛА?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же *чувством ответственности,* неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала – только в тетрадях, любых – от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего – сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала *основное,* двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии *только* сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища *то самое* слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а – подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится *рукописью для себя одной.*

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю: *любые.*

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты – всем заботам и тяготам дня.

ЕЕ СЕМЬЯ

Марина Ивановна Цветаева родилась в семье, являвшей собой некий союз одиночеств. Отец, Иван Владимирович Цветаев, великий и бескорыстный труженик и просветитель, создатель первого в дореволюционной России Государственного музея изобразительных искусств, ставшего ныне культурным центром мирового значения, рано потерял горячо любимую и прелестную жену – Варвару Дмитриевну Иловайскую, которая умерла, подарив мужу сына. Вторым браком Иван Владимирович женился на юной Марии Александровне Мейн, долженствовавшей заменить мать его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, – женился, не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней

сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами – благородством, самоотверженностью, серьезностью не по летам.

Однако Мария Александровна оказалась слишком собой, чтобы служить *заменой*, сходство же черт (высокий лоб, карие глаза, темные волнистые волосы, нос с горбинкой, красивый изгиб губ) лишь подчеркивало разницу в характерах: вторая жена не обладала ни грацией, ни мягким обаянием первой; эти женственные качества не так-то часто сосуществуют с мужской силой личности и твердостью характера, отличавшими Марию Александровну. К тому же сама она росла без матери; воспитавшая ее гувернантка-швейцарка, женщина большого сердца, но неумная, сумела внушить ей лишь «строгие правила» без оттенков и полутонов. Все остальное Мария Александровна внушила себе сама.

Замуж за Ивана Владимировича она вышла, любя другого, брак с которым был невозможен, вышла, чтобы, поставив крест на невозможном, обрести цель и смысл жизни в повседневном, будничном служении человеку, которого она безмерно уважала, и двум его осиротевшим детям.

В доме, бывшем приданым Варвары Дмитриевны и еще не остывшем от ее присутствия, молодая хозяйка завела свои собственные порядки, рожденные не опытом, которого у нее не было, а одной лишь внутренней убежденностью в их необходимости, порядки, пришедшиеся не по нраву ни челяди, ни родственникам первой жены, ни, главное, девятилетней падчерице.

Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то *и поняла* в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила: главным же образом – *чужеродности* самой природы ее собственной своей природе, самой ее человеческой сущности – собственной своей; этого необычайного сплава мятежности

и самодисциплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это било через край, не умещаясь в общепринятых тогда рамках. Может быть, не приняла Валерия и сумрачной неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны.

Так или иначе, несовместимость их характеров привела к тому, что Валерию по решению семейного совета, возглавлявшегося ее дедом, историком Иловайским, поместили в Екатерининский институт «для благородных девиц», среди которых она обрела многочисленных наперсниц; Андрей же воспитывался дома; он с Марией Александровной ладил, хотя настоящей душевной близости между ними так и не возникло: он в этой близости не нуждался, Мария Александровна на ней не настаивала.

Любимый в семье, красивый, одаренный, в меру общительный, Андрей, вместе с тем, рос (и вырос) замкнутым и обособленным – на всю жизнь, так до конца не открывшись ни людям, ни самой жизни и не проявив себя в ней в полную меру своих способностей.

Из двух дочерей от второго брака Ивана Владимировича наиболее для родителей легкой оказалась (или показалась) младшая, Анастасия; в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины и младшестью своей и незащищенностью была ближе матери, отдыхавшей с ней душою: Асю можно было *просто* любить. В старшей же, Марине, Мария Александровна слишком рано распознала себя, свое: свой романтизм, свою скрытую страстность, свои недостатки – спутники

таланта, свои вершины и бездны – плюс собственные Марины! – и старалась укрощать и выравнивать их. Конечно же, и это было материнской любовью, и, может быть, в превосходной степени, но в то же время это была борьба с самой собой, уже состоявшейся, в ребенке, еще не определившемся, борьба с будущим – столь безнадежная! – во имя самого будущего... Борясь с Мариной, мать боролась за нее, – втайне гордясь тем, что не может одержать победу!

Причин тому, что дочери Марии Александровны не дружили в детстве, а сблизились сравнительно поздно, уже подростками, было несколько: они заключались и в детской ревности Марины к Асе (которой материнская нежность и снисходительность доставались так легко!), и в Марининой тяге к обществу старших, с которыми она могла померяться умом, и к обществу взрослых, у которых она могла им обогатиться, и в ее стремлении к главенству – над равными, если не над сильнейшими, но отнюдь не над более слабыми, и в том, наконец, что ей, ребенку раннего и самобытного развития, попросту была неинтересна младенческая Асина несамостоятельность. Лишь перегнав самое себя во внутреннем росте, перемахнув через двухгодичную разницу в возрасте (равноценно взрослому двадцатилетию!) – стала Ася Марининым другом отроческих и юных лет. Ранняя смерть матери еще более объединила их, осиротевших.

В весеннюю свою пору сестры являли определенное сходство – внешности и характера, основное же отличие выразилось в том, что Маринина разносторонность обрела – рано и навсегда – единое и глубокое русло целенаправленного таланта, Асины же дарования и стремления растекались по многим руслам, и духовная жажда ее утолялась из многих источников. В дальнейшем жизненные пути их разошлись.

Искренне любившая отца, Валерия вначале относилась к его младшим дочерям, своим сводным сестрам, с равной

благожелательностью; приезжая на каникулы из института и потом, по окончании его, она старалась баловать обеих, «нейтрализовать» строгость и взыскательность Марии Александровны, от которой оставалась независимой, пользуясь в семье полнейшей самостоятельностью, как и ее брат Андрей. На отношение Валерии Ася отвечала со всей непосредственностью, горячей к ней привязанностью; Марина же учуяла в нем подвох: не отвергая Валериных поблажек, пользуясь ее тайным покровительством, она тем самым как бы изменяла матери, ее линии, ее стержню, изменяла самой себе, сбиваясь с трудного пути подчинения долгу на легкую тропу соблазнов – карамелек и чтения книг из Валериной библиотеки.

В Маринином восприятии сочувствие старшей сестры оборачивалось лукавством, служило Валерии оружием против мачехи, расшатывало ее влияние на дочерей. С Марининого осознания бездны, пролегающей между изменой и верностью, соблазном и долгом, и начался разлад между ней и Валерией, чья кратковременная и, по-видимому, поверхностная симпатия к сестре вскоре перешла в неприязнь, а впоследствии – в неприятие (характером – личности) – в то самое непрощение не только недостатков, но и качеств, на котором основывалось ее отношение к мачехе.

(Валерия была человеком последовательным, разойдясь с Мариной в юности, она никогда больше не пожелала с ней встретиться, а творчеством ее заинтересовалась только тогда, когда о нем заговорили вокруг; заинтересовалась накануне своей смерти и десятилетия спустя – Марининой. С Асей, с Андреем и его семьей общалась, но – соблюдая дистанцию.)

Ивану Владимировичу все его дети были равно дороги; разногласия в семье, для счастья которой он делал (и сделал) все, что мог, глубоко огорчали его. Отношения между ним и Марией Александровной были полны взаимной доброты и уважения: Мария Александровна, помощница мужа в делах

музея, понимала его одержимость в достижении многотрудной цели его жизни и его отвлеченность от дел домашних; Иван Владимирович, оставаясь чуждым музыке, понимал трагическую одержимость ею своей жены, трагическую, ибо, по неписаным законам той поры, сфера деятельности женщины-пианистки, каким бы талантом она ни обладала, ограничивалась стенами собственной комнаты или гостиной. В концертные залы, где фортепьянная музыка звучала для множеств, женщина имела доступ только в качестве слушательницы. Наделенная даром глубоким и сильным, Мария Александровна была осуждена оставаться в нем замкнутой, выражать его лишь для себя одной.

Детей своих Мария Александровна растила не только на сухом хлебе долга: она открыла им глаза на никогда не изменяющее человеку, вечное чудо природы, одарила их многими радостями детства, волшебством семейных праздников, рождественских елок, дала им в руки лучшие в мире книги – те, что прочитываются впервые; возле нее было просторно уму, сердцу, воображению.

Умирая, она скорбела о том, что не увидит дочерей взрослыми; но последние слова ее, по свидетельству Марины, были: «Мне жалко только музыки и солнца».

ЕЕ МУЖ. ЕГО СЕМЬЯ

В один день с Мариной, но годом позже – 26 сентября ст. [ст.] 1893 года – родился ее муж, Сергей Яковлевич Эфрон, шестым ребенком в семье, где было девять человек детей.

Мать его, Елизавета Петровна Дурново (1855–1910), из старинного дворянского рода, единственная дочь рано вышедшего в отставку гвардейского офицера, адъютанта Николая I, и будущий муж ее, Яков Константинович Эфрон (1854–1909), слушатель Московского Технического Училища, были членами партии «Земля и Воля»; в 1879 году примкнули

к группе «Черный передел». Познакомились они на сходке в Петровском-Разумовском. Красивая строгой и вдохновенной красотой черноволосая девушка, тайно приехавшая из Дворянского Собрания и одетая в бальное платье и бархатную накидку, произвела на Якова Константиновича впечатление «существа с иной планеты»; но планета оказалась у них одна – Революция.

Политические взгляды Елизаветы Петровны, которой довелось сыграть немаловажную роль в революционно-демократическом движении своего времени, сложились под влиянием П. А. Кропоткина. Благодаря ему она стала – еще в ранней юности – членом I Интернационала и твердо определила свой жизненный путь. Кропоткин гордился своей ученицей, принимал живое участие в ее судьбе. Дружбу между ними прервала лишь смерть.

Яков Константинович и Елизавета Петровна выполняли все, самые опасные и самые по-человечески трудные, задания, которые поручала им организация. Так, Якову Константиновичу, вместе с двумя его товарищами, было доверено привести в исполнение приговор Революционного комитета «Земли и Воли» над проникшим в московскую организацию агентом охранки, провокатором Рейнштейном. Он был казнен 26 февраля 1879 года. Обнаружить виновных полиции не удалось.

В июле 1880 года Елизавета Петровна была арестована при перевозке из Москвы в Петербург нелегальной литературы и станка для подпольной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. Арест дочери был страшным ударом для ничего не подозревавшего отца, ударом и по родительским его чувствам, и по незыблемым его монархическим убеждениям. Благодаря своим обширным связям он сумел взять дочь на поруки; ей удалось бежать за границу; туда за ней последовал Яков Константинович, там они

обвенчались и провели долгих семь лет. Первые их дети – Анна, Петр и Елизавета – родились в эмиграции.

По возвращении в Россию жизнь Эфронов сложилась нелегко: народовольческое движение было разгромлено, друзья – рассеяны по тюрьмам, ссылкам, чужим краям. Состоявший под гласным надзором полиции, Яков Константинович имел право на должность страхового агента – не более. Работа была безрадостной и бесперспективной, а малый оклад едва позволял содержать – кормить, одевать, учить, лечить – все прибавлявшуюся семью. Родители Елизаветы Петровны, пожилые, немощные, жили отъединенно и о нужде своих близких попросту не догадывались; дочь же о помощи не просила.

При всех повседневных трудностях, при всех неутешных горестях (трое младших детей умерли – Алеша и Таня от менингита, общий любимец семилетний Глеб – от врожденного порока сердца) семья Эфронов являла собой удивительно гармоническое содружество старших и младших; в ней не было места принуждению, окрику, наказанию; каждый, пусть самый крохотный ее член, рос и развивался свободно, подчиняясь одной лишь дисциплине – совести и любви, наипросторнейшей для личности, и вместе с тем наистрожайшей, ибо – добровольной.

Каждый в этой семье был наделен редчайшим даром – любить другого (других) так, как это нужно было другому (другим), а не самому себе; отсюда присущие и родителям, и детям самоотверженность без жертвоприношения, щедрость без оглядки, такт без равнодушия, отсюда способность к самоотдаче, вернее – к саморастворению в общем деле, в выполнении общего долга. Эти качества и способности свидетельствовали отнюдь не о «вегетарианстве духа»; все – большие и малые – были людьми темпераментными, страстными и тем самым – пристрастными; умея любить, умели ненавидеть, но – умели и «властвовать собою».



Сергей Яковлевич Эфрон. Париж. Тридцатые годы

В конце 90-х годов Елизавета Петровна вновь возвращается к революционной деятельности. С ней вместе этим же путем пойдут и старшие дети. Яков Константинович все той же работой, все в том же страховом обществе продолжает служить опорой своему «гнезду революционеров». В часто меняющихся квартирах, снимаемых им, собираются и старые

товарищи родителей, и друзья молодежи – курсистки, студенты, гимназисты; на даче в Быкове печатают прокламации, изготовляют взрывчатку, скрывают оружие.

На фотографиях тех и позднейших лет сохранился мужественный и нежный образ Елизаветы Петровны – поседевшей, усталой, но все еще несогбенной женщины, со взором, глядящим вглубь и из глубины; ранние морщины стекают вдоль уголков губ, исчерчивают высокий, узкий лоб; скромная одежда слишком свободна для исхудавшего тела; рядом с ней – ее муж; у него – не просто открытое, а как бы распахнутое лицо, защищенное лишь плотно сомкнутым небольшим ртом; светлые, очень ясные глаза, вздернутый мальчишеский нос. И – та же ранняя седина, и – те же морщины, и та же печать терпения, но отнюдь не смирения, и на этом лице.

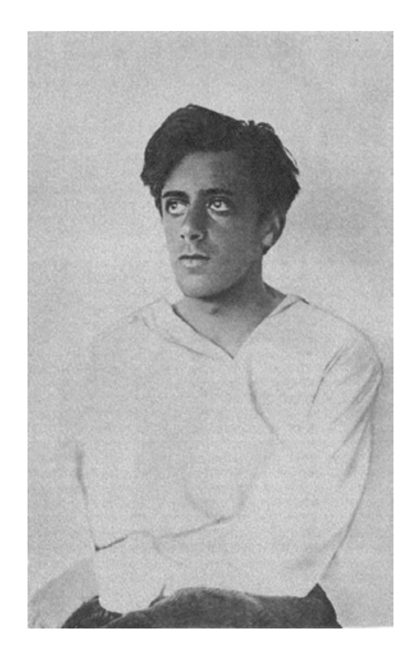
Их окружают дети: Анна, которая будет руководить рабочими кружками и строить баррикады вместе с женой Баумана; Петр, которому, после отчаянных по смелости антиправительственных действий и дерзких побегов из неволи, будет разрешено вернуться из эмиграции лишь в канун первой мировой войны – чтобы умереть на родине; Вера, так названная в честь друга матери, пламенной Веры Засулич, – пока еще девочка с косами, чей взрослый жизненный путь так же начнется с тюрем и этапов; Елизавета («солнце семьи», как назовет ее впоследствии Марина Ивановна Цветаева) – опора и помощница старших, воспитательница младших; Сережа, которому предстоит прийти к революции самой тяжелой и самой кружной дорогой и выпрямлять ее всю свою жизнь – всей своей жизнью; Константин, который уйдет из жизни подростком и уведет за собой мать...

Политическая активность Елизаветы Петровны и ее детей-соратников достигла своей вершины и своего предела

в революцию 1905 года. Последовавшие затем полицейские репрессии, обрушившиеся на семью, раздробили единство ее судьбы на отдельные судьбы отдельных людей. В лихорадке обысков, арестов, следственных и пересыльных тюрем, побегов, смертельной тревоги каждого за всех и всех за каждого Яков Константинович вызволяет из Бутырок Елизавету Петровну, которой угрожает каторга, вносит с помощью друзей разорительный залог и переправляет жену, больную и измученную, за границу, откуда ей не суждено вернуться. В эмиграции она лишь ненадолго переживет мужа и только на один день – последовавшего за ней в изгнание младшего сына, последнюю опору своей души.

В пору первой русской революции Сереже исполнилось всего 12 лет; непосредственного участия в ней принимать он не мог, ловя лишь отголоски событий, сознавая, что помощь его старшим, делу старших – ничтожна, и мучаясь этим. Взрослые отодвигали его в детство, которого больше не было, которое кончилось среди испытаний, постигших семью, – он же рвался к взрослости; жажда подвига и служения обуревала его, и как же неспособно было утолить ее обыкновенное учение в обыкновенной гимназии! К тому же и учение, и само существование Сережи утратили с отъездом Елизаветы Петровны и ритм и устойчивость; жить приходилось то под одним, то под другим кровом, применяясь к тревожным обстоятельствам, а не подчиняясь родному с колыбели порядку; правда, одно, показавшееся мальчику безмятежным, лето он провел вместе с другими членами семьи около матери, в Швейцарии, в местах, напомнивших ей молодость и первую эмиграцию.

Подростком Сережа заболел туберкулезом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть ее долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав – он смолчал. Горе было больше слез и слов.



С. Я. Эфрон. Коктебель. 1911 г.



С. Я. Эфрон. Выпускник юнкерского училища. 1917 г.

В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким.

Одиночество это разомкнула только Марина.

Они встретились – семнадцатилетний и восемнадцатилетняя – 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей – красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) – с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, – и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день...

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

В 1914 году Сережа, студент 1-го курса Московского университета, отправляется на фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия; он рвется в бои, но медицинские комиссии, одна за другой, находят его негодным к строевой службе по состоянию здоровья; ему удается, наконец, поступить в юнкерское училище; это играет роковую роль во всей его дальнейшей судьбе, так как под влиянием окружившей его офицерской верноподданнической среды к началу гражданской войны он оказывается втиснутым в лагерь белогвардейцев. Превратно понятые идеи товарищества, верности присяге, вскоре возникшее чувство обреченности «белого движения» и невозможности изменить именно обреченным

уводят его самым скорбным, ошибочным и тернистым в мире путем, через Галлиполи и Константинополь – в Чехию и Францию, в стан живых призраков – людей без подданства и гражданства, без настоящего и будущего, с неподъемным грузом одного только прошлого за плечами...

В годы гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказиями», писем почти не было – вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это – кто знает! – судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я., уже перебравшегося в Чехию и поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение – ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан – и невозможен.

Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу:

«...И все же это было совсем не так, Мариночка», – сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана». «Чтó же – было?» – «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не “мы”, а – лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками – только и всего. Были битвы за “веру, царя и отечество” и, за них же,

расстрелы, виселицы и грабежи». – «Но были – и герои?» – «Были. Только вот народ их героями не признает. Разве что когда-нибудь жертвами...»

«Но как же Вы – Вы, Сереженька...» – «А вот так: представьте себе вокзал военного времени – большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, – все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается – минутное облегчение, – слава тебе, Господи! – но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал – впрочем, вместе со многими и многими! – не в тот поезд... Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет – рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком – по шпалам – всю жизнь...»

После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».

Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем – по шпалам – в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком.

ИЗ САМОГО РАННЕГО

Раннее детство мне вспоминается не как сон, а как первая в жизни, наиярчайшая явь, как сплошное открытие – сначала мира, чуть позднее – и самой себя в нем.

В истоках своих мир этот не мал и не велик, не плох и не хорош, он просто и бесспорно наличествовал, еще вне сравнений и оценок. Наличествовали в нем и два совершенно новых, младенческих глаза, во все впивавшихся и видевших все, за исключением самой девочки, которой они принадлежали. Сама же девочка, как бы таившаяся до поры до времени в глубине собственных зрачков, осуществилась лишь

в день, когда, разглядывая, в который раз, ту, другую – в зеркале, вдруг отождествила свое живое «я» с условностью отражения. Отражение было не из приятных: белоголовое, насупленное, одетое в вельветовое полосатое платьице, обутое в башмаки с пуговками, оно строило рожи, топало ногой, высовывало язык и вполне заслуживало, чтобы его поставили в угол. Стояло, топало и высовывало до той поры, пока подлинник, внезапно пронзенный догадкой, не слился, в сознании своем, с копией. Тогда притихшее и несколько заискивающее «я» подошло к изображению, погладило его, с дружеским нажимом, как пуделя Джека, и прошептало – «Милая!».

Но это случилось впоследствии, а до этого был мир и ведавшая им и распоряжавшаяся мама, которую звали Марина. Мир всецело зависел от нее, по ее воле детский день сменялся ночью, возникали из шкафа и исчезали в нем игрушки, вызываемая ими сдержанная скука («играть» я не умела, а ломать – не разрешалось) – уступала место восторгу обещанной прогулки с Мариной – почти со всем восторгом, если бы не все эти, маленьким ненавистные, капоры, башлыки, гамаши, калоши, варежки, теплые штаны, застежки, пряжки, крючки, пуговицы, пуговицы без конца!

По воле Марины мир ограничивался стенами детской или становился улицей, из зимы превращался в лето, распахивал и закрывал окна и двери, останавливался как вкопанный или благодаря извозчику, реже – поезду, преображался в движение, чтобы, угомонившись, вдруг назваться «дачей» или «Коктебелем». Назваться. Ибо именно по Марининой воле все видимое начало обозначаться словами и тем самым материализоваться, определяться, обретать форму, цвет и смысл. Невидимое, отвлеченное также началось со слов – с трех китов человеческого бытия: «Нельзя», «Нужно», «Можно», – причем первое из них, повторявшееся чаще, усвоилось прежде двух остальных.



Аля. Феодосия. 1914, апрель

Маринино влияние на меня, маленькую, было огромно, никем и ничем не перебиваемое и – всегда в зените. Между тем времени со мной она проводила не так уж много, гуляла не так уж часто, ни в чем не потакала, не баловала; всем этим в той или иной мере занимались няни, не оставившие в памяти надежного следа, может быть оттого, что, не приживаясь к дому, часто сменялись.

С одной из них пришлось расстаться потому, что вместо скверика на Собачьей площадке она неукоснительно уводила меня в Николо-Песковскую церковь – выстаивать панихиды и прикладываться к покойникам. «А что тут такого, барыня, – говорила она разгневанной Марине, неторопливо собирая пожитки: – Ангельская-то молитва скорее до господа проникает, значит, у гроба и младенец при деле, не то что на этих ваших – тьфу! грех вымолвить! – площадках собачьих!»

Вторую уволили за то, что оказалась нечиста на руку, да и на язык: вместо «медведь» и «панталоны», например, произносила, – а вслед за ней и я, – «ведьмедь» и «полтолоны»; третья и последующие уходили, кажется, сами.

Ни одна из этих, или иных, перемежавшихся теней не заслоняла от меня Марину, постоянно как бы просвечивавшую сквозь всех и вся; к ней и за ней я постоянно тянулась, подобно подсолнечнику, и ее присутствие постоянно ощущала внутри себя, подобно голосу совести, – столь велика была излучавшаяся ею убеждающая, требовательная, подчиняющая сила. Сила любви.

В ребенке, которым я была, Марина стремилась развивать с колыбели присущие ей самой качества: способность преодолевать трудное и – самостоятельность мыслей и действий. Рассказывала и объясняла не по поверхности, а чаще всего – глубже детского разумения, чтобы младший своим умом доходил до заданного, а может быть, это заданное и опережал; приучала излагать – связно и внятно – увиденное, услышанное, пережитое – или придуманное. Никогда не опускаясь до уровня ребенка, а неустанно как бы приподнимая его, чтобы встретиться с ним на той крайней точке, на которой сходятся взрослая мудрость с детской первозданностью, личность взрослого с личностью маленького.

Наградой за хорошее поведение, за что-то выполненное и преодоленное были не сладости и подарки, а прочитанная

вслух сказка, совместная прогулка или приглашение «погостить» в ее комнате. Забегать туда «просто так» не разрешалось. В многоугольную, как бы граненую, комнату эту, с волшебной елизаветинской люстрой под потолком, с волчьей – немного пугающей, но манящей – шкурой у низкого дивана, я входила с холодком робости и радости в груди... Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах «Корсиканского жасмина», шелковый шорох платья и то, как сама она, по неутраченной еще детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу – реже в кресле или на диване, – поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и ее чтение вслух – сказок, баллад Лермонтова, Жуковского... Я быстро вытверживала их наизусть и, кажется, понимала; правда, лет до шести, произнося «не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят», думала, что флюгеране – это такой неспокойный народец, снующий среди парусов и преданный императору; таинственной прелести балладе это не убавляло.

Марина позволяла посидеть и за ее письменным столом, втиснутым в простенок у маленького углового окна, за которым всегда ворковали голуби, порисовать ее карандашами и иногда даже в ее тетрадке, почтительно полюбоваться портретами Сары Бернар и Марии Башкирцевой, потрогать пресс-папье – «Нюрнбергскую деву», страшную чугунную фигурку с шипами внутри, привезенную когда-то дедом из Германии, и чугунного же «царя Алексея Михайловича»; скрепку для бумаг в виде двух ладоней – пальцы были совсем как настоящие и цепко держали записи и счета; лаковую карандашницу с портретом юного генерала 1812 года Тучкова IV; глиняную, посеребренную птицу Сирин.

Из пузатого секретера доставалась большая книга в красном переплете – сказки Перро с иллюстрациями Доре, принадлежавшая еще Марининой матери, когда она была

«такой же маленькой, как ты». Я рассматривала картинки, осторожно, только что вымытыми руками, переворачивая страницы с верхнего правого угла; ничто так не возмущало Марину, как небрежное, неуважительное отношение к книгам; когда я нечаянно разбила одну из двух ее любимых чашек старинного фарфора, – к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: «Я разбила его жену! теперь он овдовел!» – меня не только не ругали, но еще и утешали, а вот за какого-то «Степку-Растрепку», разорванного, потому что он был противный, всклокоченный урод, «такой же, как ты, когда не хочешь мыться и причесываться», пришлось-таки постоять в углу, мрачно колупая известку... Можно было смотреть картинки и в однотомнике Гоголя (приложение к журналу «Нива»). Там все было нарисовано подробно, мелко и еще не очень мне доступно. Как кочевник, воспевающий во всех подробностях возникающий перед ним пейзаж, так и я, на свой лад и нараспев, комментировала иллюстрации: «А вот лошадка едет... а вот господин разговаривает с дамой... А вот барышня просит у кухарки жареных обезьян...» «Барышней» была восставшая из гроба панночка, «кухаркой» – Хома Брут, а «жареными обезьянами» – снующая во всех направлениях нечистая сила.

Иногда Марина заводила бабушкину музыкальную шкатулку с медным игольчатым валиком: вставлялся в нее картонный трафарет, накручивалась тугая ручка завода – и раздавалась мелодия менуэта или гроссфатера, отчетливая и негромкая, как весенняя капель; сколько трафаретов, столько и мелодий. Не менее чудесным, но более внушительным казался мне граммофон с трубой в виде гигантской повилики: в нем жили голоса цыганок. Всю жизнь любила Марина цыган – от пушкинских до уличных гадалок и деревенских конокрадов, за их вольнолюбивость, особость, обособленность от окружающего, колдовские речи и песни, царственную беспечность... и ненадежность.

Помню, как однажды, послушав пластинки Вари Паниной и Вяльцевой – низкие, печальные, удалые голоса! – Марина рассказала мне, еще не совсем четырехлетней, о последнем концерте одной из них, кажется, Паниной.



Аля с сестренкой Ириной. Москва. 1919

«Она была когда-то молода и прекрасна, и пела так, что *все* теряли голову – как один! Богачи, князья, офицеры швыряли к ее ногам сердца, титулы, состояния, сходили с ума, стрелялись на дуэли... Но время прошло – узнаешь и ты, что оно проходит! – ее время прошло! Она состарилась; ушли красота, богатство, слава... только *голос* остался... Поклонники? Поклонники рассеялись, остепенились, многие умерли... А она еще выступала – но слушать ее было некому, ее поколение сошло на нет, что до внуков, то они никогда не увлекаются тем же, чем деды! И вот она дает последний прощальный концерт; выходит на сцену все в той же черной шали, расплывшаяся, седая, старая! Ни одной черточки от той, прежней, и вообще, уже не черты, а – морщины. В зале – только

несколько последних неизменивших... Кто бы узнал в одряхлевших стариках тех былых волокит, гусаров, красавцев? *Тени* пришли на последнее свидание с *тенью.* И тень поет, романс за романсом, все то, что они любили, за что носили на руках! Тень – прежде ими любимая! – Тень, любившая их! Она прощается с ними, прощается с жизнью, с самой любовью... Время концерта давно истекло; ушел аккомпаниатор; служители гасят лампу за лампой и люстру за люстрой; вокруг – никого. Но она не уходит, она отказывается уходить! Песни рвутся, льются из груди – она поет! поет одна, в пустом темном зале; мрак и голос; голос – во мраке; голос – осиливший мрак!..»

Увидев мое лицо, Марина осеклась, спросила:

– Ты поняла?

– Поняла, – ответила я и засмеялась: – Старуха пела, пела, а старики все ушли и свет потушили.

– Ступай! – сказала Марина, помолчав. – Ты еще слишком мала; ступай в детскую!

И я отправилась в детскую к няне, к «ведьмедям» и «полтолонам».

Бедная Марина! Как часто и взрослым – особенно взрослым! – собеседникам была она не по возрасту!

А голос во тьме запал в душу – может быть, именно потому, что не сразу был услышан и разгадан, как, впрочем, многие из Марининых загадок.

Теперь думаю: не здесь ли, не в образе ли старой цыганки, поющей в пустыне темного зала, истоки трагической цветаевской «Сивиллы»?

Каменной глыбой серой,
С веком порвав родство,
Тело твое – пещера
Голоса твоего.

Еще о моем смехе и о смехе вообще.

Когда впервые Марина повела меня в цирк, я вначале не знала, куда смотреть, все таращилась на ложи осветителей, сочувствуя людям, там находившимся, и боясь за них; мне почему-то казалось, что в ложи эти можно забраться только снаружи, по приставным лестницам, а это – страшно и опасно; как нам повезло, что мы – *здесь* сидим! Марина поворачивала мое лицо – обеими руками – к арене: смотри! – но меня все манили осветители; когда же, почти перед носом, возникли тигры и сдержанно рыкавшие львы, я загляделась не на них, а на униформистов, мундиры их напоминали мне студенческие, как у отца и его товарищей: не Сережа ли там играет со зверями, среди всех этих перевернутых, белых с серебром, бочек и ящиков? А зачем студенты выгнали зверей, щелкая бичами? Зачем тогда было впускать?

Но вот забегали, запрыгали, закувыркались странные, одетые – одни в удивительные балахоны с елочными блестками, другие – в куцые жилетки и непомерные шаровары, существа с размалеванными лицами; они что-то выкрикивали резкими уксусными голосами и всем – размашистыми движениями, нескладными и вместе с тем ловкими прыжками, внезапно возникавшими драками и бурными примирениями – напоминали тех самых «уличных детей», игры которых я, «хорошая девочка», могла разделять только в воображении, глядя на них в окно! Клоуны! Клоуны! Они оказались куда интереснее уличных мальчишек, потому что – смешные! Те прыгали и дрались «просто так», а эти каждым своим движением, толчком, скачком, пинком, подножкой, каждой на весь цирк звучащей пощечиной вызывали смех; кроме того, с ними все время что-то случалось: то падали штаны, то лопались жилеты, то вырастали рукава, то улетали шляпы, то разбухали животы и зады; из-под них уходили стулья! Под ногами разверзалась земля!

Сперва, вникая, я заулыбалась, потом стала смеяться и, наконец, закатилась в голос, как все. – Все, но не Марина.

Ладонями, ставшими железными, она отвернула мое лицо от арены и тихо, яростно отчеканила: «Слушай и помни: всякий, кто смеется над бедой другого, – дурак или негодяй; чаще всего – и то, и другое. Когда человек попадает впросак – это не смешно; когда человека обливают помоями – это не смешно; когда человеку подставляют подножку – это не смешно; когда человек теряет штаны – это не смешно; когда человека бьют по лицу – это подло. *Такой* смех – грех».

Это я усвоила сразу и осознала на всю жизнь, как, впоследствии, и то, что к *клоунам,* как таковым, материнское замечание не относилось.

...Рисовать я начала, как все начинают: сильно нажимая на карандаш, кружила им по бумаге; получались смерчи. Но вот однажды вышел у меня, как у всех выходит, первый, как Адам, человечек: руки, ноги, туловище – палочки, голова – кочном. Замирая от восторга и усердия, я снабдила кочан глазами, потом ноздрями, потом ртом, уходящим за пределы головы, и, наконец, зубами. Добавила пальцы и пуговицы и, не помня себя, завопила: «Марина! Марина! Скорее идите сюда!» Марина вбежала встревоженная из своей, соседней с детской, комнаты. «Что случилось?» – «Смотрите! Смотрите! Я *человека* нарисовала!»

И – замерла за своим столиком в ожидании похвалы.

Марина склонилась над рисунком. «*Где* человек? Это человек?» – «Да». – «Ну нет, Алечка! Таких людей не бывает. Пока что это – урод. Смотри: сколько у него пальцев на руке? а у тебя? Вот видишь – А ножки как спички? – посмотри на свои. А зубы? Как не стыдно! Так забор рисуют. И голова не бывает больше самого человека. А это что за кружочки?» – «Пуговицы», – прошептала я, мрачнея. «Пуговицы – шире живота? Пуговицы – сами по себе, без одежды? Нет, Алечка,

плохо. Тебе надо еще мно-ого рисовать и до-олго стараться. До тех пор, пока не получится!»

Какой же это был удар по самолюбию и самонадеянности, начавшим было расцветать. Вместо дополненной и украшенной авторским воображением настоящей фигуры я воочию увидела беспощадно развенчанную Мариной убогую, кособокую кривульку... С глубоким, как само разочарование, вздохом снова взялась я за карандаш – за преодоление неподдающегося.

Марина не терпела ничего облегченного. Так, когда знакомые дарили мне альбомы для раскрашивания, она убирала их: «Сама нарисуй, тогда и раскрашивай; кто разрисовывает, или срисовывает, или списывает – чужое, тот обирает самого себя и никогда ничему не научится!»

Когда случайно выяснилось, что буквы я уже знаю, она стала учить меня читать слова, не разбивая их на слоги, а – сразу все слово целиком, сперва осознанное «про себя», потом произносимое вслух. Перо, вложенное ею в мои пальцы, никогда не выводило палочек и крючочков, предваряющих начертание букв, и не воспроизводило печатных прописей между двумя, механически организующими почерк, линейками, слова из букв и фразы из слов я должна была строить сама, и по одной линейке. Таким образом, мне постоянно приходилось *думать* о том, *что* я делаю – и *как*. Пассивное копиистическое начало из Марининого преподавания было изгнано раз и навсегда, замененное творческим. Вместо нудных примеров сразу же, с места в карьер, писались изложения, сочинения; обычно безликие, ученические тетради превращались в дневники; грамматика свелась к минимуму необходимейших и, как все насущное, несложных правил. Вместо способности вызубривать наизусть развивалась сама память, в первую очередь зрительная, и та самая наблюдательность, которой большинство детей так щедро наделены и которую так быстро утрачивают...

Смело выкинув из педагогической цепи промежуточные звенья, Марина выучила меня читать – бегло и достаточно осмысленно – к четырем годам, писать – к пяти, а вести дневниковые записи – более или менее связно и вполне (по старому правописанию) грамотно – к шести-семи годам.

Так как начало моей «письменности» совпало с началом Революции, записи эти, полвека спустя, может быть, представляют какой-то интерес; вот некоторые из них, ни в чем не исправленные, лишь, в случае надобности, сокращенные.

«МОЯ МАТЬ

Моя мать очень странная.

Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка, и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит.

У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся.

Ее любимый день – Благовещение. Она грустна, быстра, любит Стихи и Музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа. Нежный голос. Быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится.

Иногда она ходит, как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить, и опять точно куда-то уходит.

Декабрь 1918»

«ЧЕТЫРЕХЛИСТНИК

Был теплый и легкий день и мы с Мариной гуляли. Она рассказывала мне сказку Андерсена про девочку, наступившую

на хлеб – как она, чтобы перейти ручей, наступила на хлеб. Про то, какой это был большой грех. Я сказала: “Марина! Сейчас, наверное, никто бы не захотел так согрешить!” Марина ответила, что это потому, что сейчас стало так мало хлеба, а раньше его не доедали и выбрасывали. Что наступить на хлеб – такой же грех, как убить человека. Потому, что хлеб дает жизнь.

Мы шли по серой тропинке на горку. Наверху была большая церковь, очень красивая под голубым небом и длинными облаками. Когда мы подошли, то увидели, что церковь была заперта. Мы на нее перекрестились и сели на ступеньки. Марина сказала, что мы сидим, как нищие на паперти.



Марина Ивановна с Алей в лесу. Чехия. 1924 г.

Вокруг было далеко, но не подробно видно, потому, что там был легкий туман. Я стала разговаривать с Мариной, но она сказала, чтобы я не мешала ей и пошла поиграть. Я не захотела играть, а захотела рвать цветы. Вдруг я увидела, что под ногами у меня растет клевер. Там перед ступеньками были ровно уложенные старинные камни. Каждый из них был в темной рамке из клевера. Если посмотреть на эти камни внимательно, то на них были полосы и узоры и получались настоящие картины в зеленых рамах. Я села на корточки и стала искать четырехлистник Марине на счастье. Я искала так долго, что у меня зашумело в ушах. Когда мне захотелось уйти, вдруг я его нашла и так обрадовалась, что испугалась. Я бросилась к Марине и подарила ей свою добычу. Она обрадованно рассмотрела мой четырехлистник и спросила, где я его нашла. Я сказала. Она поблагодарила меня и положила его засушить в записную книжку.

Август 1918»

Что – сегодня – возникает из этой давней записи?

Одно из любимейших мною цветаевских стихотворений августа 1918 года:

Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота – ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы –
Один ответ: – Откуда мне сие?
Мы спим – и вот, сквозь мраморные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.

Возникает и сам, действительно бывший и несомненно счастливый, четырехлистный росток клевера, разысканный некогда среди прочих, заурядных, трехлистных, у подножья грациозной громады «Покрова в Филях».

Просто счастливый, ибо, как повторяла мне, маленькой, Марина, а ей, маленькой, ее мать, четырехлистник – добрая примета, символ удачи; его изображают на новогодних открытках, воспроизводят в виде серийных талисманов – медальонов, брелоков...

Дважды счастливый росток, ибо скромным чудом своего рождения вызвал чудо рождения этих стихов.

Что до «венцов и апофеозов», то не от самого ли храма они, столь триумфального в своем царственном – пурпурном и кружевном – уборе?

Марине не по нраву был европеизированный «нарышкинский стиль», в котором выдержана филевская церковь; его лишенное непосредственности, изысканное, светское великолепие было ей чуждо. Она любила церкви – просфоры, а не церкви – пирожные, в которых усматривала начало чувственное, а не духовное.

Трижды счастливый «небесный гость в четыре лепестка», переросший в восприятии поэта такую высокую колокольню!

«КОТ В САПОГАХ» АНТОКОЛЬСКОГО В ТРЕТЬЕЙ СТУДИИ ВАХТАНГОВА

«Мы с Мариной пошли в театр. Когда мы вышли из дому, был чудный вечер, луна была совсем круглая и купола церквей были так блестящи, что от них шли лучи. Вечер был синий и белый, дома были похожи на сугробы с железом.

Мне было шесть лет, Марина была близорука и было темно, так что мы не могли читать, какие улицы мы проходили, потому Марина спрашивала у прохожих. Наконец, она сказала, что тут. Мы звоним, нам открывает женщина в черном платье с белым фартуком, ее звали. Маша, она помогла нам снимать шубу.

Мы пошли в залу, там раздался звонок, все засуетились, свет потух, открылась занавеска – и там на постели лежала

дама, покрытая одеялом. Она была молода. Вдруг раздался стук и вошла сгорбленная старуха и стала пить вино, а Кэт (та дама) смотрела на нее тусклыми глазами. Старуха очень долго говорила, а потом начала танцевать и танцевала так долго, что закрыли занавеску, зажгли свет и все стали шуметь и говорить. Потом началась новая сцена, и я вижу – там бедный стоит молодой человек, и рядом с ним Кот в сапогах, одет очень хорошо – у него меховые панталоны и теплая куртка. Кот говорит все о богатстве, а молодой человек почти не слушает. Но вот они видят в окно человека, и Кот говорит: "Давай примем его, как судьбу" – и прячется под стол.

Вошел этот человек, седой старик, это был доктор, он шел к танцовщице Кэт и позвал с собой сына мельника, молодого человека. Но тут – явление: Кот вылезает из-под стола и говорит доктору: "Мой хозяин очень хороший человек, и можно мне пойти вместо него?" Доктор говорит: "Пожалуйста!" Сын мельника снимает куртку, Кот быстро ее надевает и с улыбкой нежным голосом говорит своему хозяину: "Примешь ли ты когда-нибудь меня?" – и ждет ответа. В глазах хозяина появилась какая-то грусть, но она скоро пропала, и он взял и вытолкал их обоих за дверь. Потом влез на стол и стал смотреть им вслед на прощание.

Тут опять зажегся свет, говор и шум, и через несколько минут все замолчало и свет потух. Опять лежит танцовщица Кэт на кровати и говорит спокойным голосом: "Я им не открою, нет я им не открою!" И как раз в это время постучались. Тогда та старуха, которая сперва сидела рядом, а потом упала со стула и заснула под кроватью, встает и идет открывать. Входит доктор, раскланивается, здоровается и вытаскивает из-под двери Кота. Оба они начинают без спроса пить вино и кричать: "Да здравствует танцовщица Кэт!" Все двигаются и ходят безмолвно и с некоторыми словами, и долго все это продолжается. Потом доктор надевает на себя одежду

священника, ставит Кота и Кэт на колени, берет свой цилиндр вместо венца и венчает их, и все говорят приятные вещи. Но через несколько минут танцовщица сказала: “Ах, господи, да ведь это не Пьеро, это кот, киска!” И стала падать на кровать.

Тогда доктор вскакивает на столик, где вино, разбрасывает все ногами и исчезает в окне. Кот подбегает к танцовщице, кричит: “Проснись, проснись!”, но она все лежит, и он тоже спрыгивает с подоконника, так что все дома за окном дрожат. Старуха выкидывает им вслед цилиндр доктора, а Кэт приподымает голову. – Конец. –

Народ опять зашумел, заговорил, о том, что видел, а мы с Мариной пошли в комнату, где были знакомые барышни – актрисы, некоторые актеры и Павлик Антокольский, который написал эту пьесу. Потом пришел Юра Завадский, он выглядел тонко и молодо, у него были кудрявые светлые волосы, большие глаза, тонкие ноги и руки и круглое, но стройное лицо.

15 марта 1919»

Первая Маринина сознательная встреча с театром состоялась, вернее – почти состоялась – в ранней юности, в Париже. Тогда она была увлечена Наполеоном Бонапартом, нет, влюблена в него, готова за него жизнь отдать – столетие спустя; как всякая страсть, которая не есть призвание, это было наваждением, и, как всякое наваждение, это вскоре прошло.

Прочтя в Москве все книги о нем – а их было немало – и перелюбив все его портреты, она отправилась в Париж, к гробнице Наполеона, как крестоносец – к Гробу Господню, и – на поклон к Саре Бернар, прославленной трагической актрисе, игравшей ростановского «Орленка».

Гробница ужаснула холодной полированной огромностью своей и смертной мраморностью, которых не согревала

даже надпись: «Я хотел бы, чтоб прах мой покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил!»

Нет, прах *Марининого* Наполеона остался на острове Святой Елены!

Что до Сары Бернар, то она – потрясла; не столько перевоплощением в герцога Рейхштадского, сколько эгоцентрическим мужеством актрисы; ей было в ту пору 65 лет; она недавно перенесла ампутацию ноги и передвигалась с помощью протеза; но все равно – играла! Играла, в эпоху корсетов на китовом усе, подчеркивавших все округлости женской фигуры, двадцатилетнего юношу в облегающем белом мундире и офицерских рейтузах; как ни величественно было – в глазах Марины – зрелище несгибаемой старости, но оно отдавало гротеском и оказалось тоже гробницей, воздвигнутой Сарой и Ростану, и ростановскому «Орленку»; как, впрочем, и памятником слепому актерскому героизму. Если бы еще были слепы и зрители...

К счастью, оставался сам Париж, великий утолитель воображения, неисчерпаемый каменный учебник Истории – для всех возрастов души.

Следующее, более устойчивое, соприкосновение Марины с театром произошло в раннюю пору ее замужества: и Сережа, и его сестры были учениками театральных школ и участниками студийных спектаклей; старший же брат, Петр, рано умерший, – профессиональным актером. Все они, так же, как и окружавшая их молодежь, тяготели к Таирову, были без ума от Алисы Коонен и не мыслили себе жизни вне театра. Марина довольствовалась зрительными залами и зальцами, и – атмосферой общей, жаркой, радостной увлеченности.

Чем короче были роли, тем сильнее – волнения. Смешливый Сережа никак не мог совладать с репликой одного

из осажденных, изголодавшихся воителей из «Сирано де Бержерака»: «Ах, коль сейчас не подкрепят мне сил, я удалюсь в палатку, как Ахилл» – и этим самым Какахилом окончательно добивал и без того умученное репетициями войско. Вообще же Сережа обладал прекрасными сценическими данными, и его выступления на подмостках «Эксцентриона», студии-спутника Камерного театра, запомнились зрителям.

Среди завязавшихся в те годы отношений длительнее всех оказались приятельские связи Марины и Сережи с талантливым актером и музыкантом А. Подгаецким-Чабровым, незабываемым Арлекином из «Покрывала Пьеретты», человеком мятущимся, восторженным, неуравновешенным. Ему Марина посвятила в 20-е годы свою поэму «Переулочки», за негасимость его смятенности и за то, что в такое бесподарочное время он – однажды – подарил ей розу.

Буквально отравленный сценой, одержимый мечтой о собственном, не подвластном ничьей школе или воле театре, он эмигрировал, как во сне, ведомый этой мечтой. Пробуждение обернулось одиночеством, нищетой, отчаяньем. Разуверившись в обстоятельствах и в людях, он обратился к Богу – причем к католическому, пленившему его воображение великолепными спектаклями торжественных месс, декорациями уводящей за облака готики и нездешним аккомпанементом органа. Тут-то и «охмурили ксендзы» несчастного Арлекина, посулив ему, ежели он сменит православие на католичество, не только царство небесное, но и земную должность библиотекаря при Ватикане. Так Чабров стал священником. Его одели в узкую сутану, в которой он выглядел более, чем когда-либо, актером! – выбрили на голове тонзуру – кружок для сошествия Святого Духа и отправили на Корсику, в самый отдаленный, самый пропащий приход; несколько свирепых старух и нераскаянных бандитов составили его паству.

Он разыскал нас в 30-е годы и каждые год-полтора приезжал к нам в Кламар и Ванв под Парижем, погостить несколько дней и отвести обиженную и обманутую душу в воспоминаниях о театральном былом и в сдержанно-выразительных упреках католическому настоящему. Мои родители очень жалели его. Что с ним стало в дальнейшем – не знаю.

Итак, сознательный интерес Марины к искусству сцены впервые был порожден призрачной страстью к двум Наполеонам – I и II; призрачность страсти обусловила и призрачность интереса; вторая встреча с театром была в то же время и вторичной, озаренной не собственным Марининым светом, а – отраженным, и прервалась она Сережиным уходом на фронт. Третья и последняя оказалась настоящей, ибо – утвердила и завершила в ее творчестве целую эпоху: эпоху Романтики.

Той самой Романтики, которая, ничтоже сумняшеся, бродила по путаным и заснеженным переулкам революционной Москвы, оставляя свой легкий не по сезону след в тетрадях поэтов и на сценах театров, прежде чем раствориться во времени и пространстве великих перемен и событий.

Все началось со встречи с поэтом – совсем юным Павликом Антокольским и с его совсем юной и блистательной поэзией – еще в 1917 году. Павлик к тому же оказался и драматургом и актером и ввел Марину в круг своих друзей, в магический круг вахтанговской Третьей Студии, который – на время – замкнул ее в себе.

Прельстил и замкнул (если Марина была вообще способна в чем-либо творчески *замыкаться)* потому, что был только студией, а не театром, поиском, а не каноном, обретя который обычно от добра добра уже не ищут. Но при всей своей увлеченности студийцами и их работой, при всем своем романтическом отклике на их романтику Марину не покидало подспудное чувство несоответствия «лицедейства» эпохе,

да и собственного своего – «лицедейству». Отсюда – то покаянное, то ироническое звучание многих ее лирических стихотворений «студийного» периода, горчащая шутливость стихов к «Комедьянту» (как и само заглавие цикла – «Комедьянт»), отсюда – шарманочность напева некоторых «Стихов к Сонечке» и пародийность формы «жестокого романса» – при всей (всегдашней) остроте чувств, породивших эти произведения. Из тех русл, по которым пробивалось тогда Маринино творчество, «студийное» русло было самым праздничным, ибо – комедийным; то была последняя праздничность, нарядность и первая и последняя комедийность ее лирики.

...Как же они были милы, как прелестны молодостью своей, подвижностью, изменчивостью, горячностью ее и ее же серьезностью, даже важностью – в деле. А дело их было – игра. Игра была их, взрослых, делом! – я притихала в углу, чтобы не услали спать, и смотрела на них с полнейшим пониманием, петому что я, маленькая, *тоже* играла, и тоже в сказки, как и они. Приобщенная обстоятельствами к миру взрослых, я быстро научилась распознавать их, незаметная им. Только Маринина подруга, та, кому были написаны «Стихи к Сонечке», Софья Евгеньевна Голлидей, «подаренная» Марине Павликом, осознала и приняла в сердце свое и нас с Ириной, особенно Ирину – за ее младенческую нежность, кудрявость, незащищенность.

Кроме Сонечки и Павлика нас постоянно навещали три Юрия – Завадский, Никольский, Серов – и один Володя – Алексеев, вскоре вышедший из игры – в гражданскую войну, в которой и след его потерялся. Еще запомнилась мне внешней неприметностью своей и большой добротой студийка Елена Владимировна (Лиля) Шик; из-за длинного носа и покладистого нрава ей всегда доставались так называемые характерные – а попросту старушечьи – роли.



Сергей Яковлевич с дочерью. Париж. 1925 г.

Посетители наши всегда кого-нибудь приводили к нам или от нас уводили, и старинная полутораэтажная квартира наша, с внутренней лестницей, вся превращалась в движение, становилась сплошной лестницей, по которой, подобно библейским ангелам из «Сна Иакова», сновали студийцы. Зимой мы жили внизу, в самой теплой – и темной – из комнат, а летом перебирались в почти чердачную, длинную, узкую клетушку с единственным, но зато выходившим на плоскую кровлю соседнего флигеля окошком. Комната эта стала Марининой любимой, потому что именно ее когда-то выбрал себе Сережа.

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Взойдите: гора рукописных бумаг...
– Так! – Руку! – Держите направо!
Здесь лужа от крыши дырявой.

Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,
Какую мне Фландрию вывел паук.
Не слушайте толков досужих,
Что женщина может без кружев...

Каких только кружев не плели тут голоса, и каких только голосов не слыхал этот чердачный дворец, – каких споров, разговоров, репетиций, декламаций, каких тишайших шепотов! Все были молоды и говорили о театре и о любви, о поэзии и о любви, о любви к стихам, о любви к театру, о любви вне театра и вне стихов... Впрочем, для Марины любви вне поэзии не существовало.

Она любила слушать эти голоса, убедительность интонаций и убежденность слов, звучавшую в них правду... или пустоту.

...И, упражняясь в старческом искусстве
Скрывать себя, как черный бриллиант,
Я слушаю вас с нежностью и грустью,
Как древняя Сивилла – и Жорж Санд.

Древней Сивилле было двадцать шесть лет.

А какими Жар-Птицами пролетали в этих разговорах волшебные слова и имена: «Принцесса Брамбилла» и «Адриена Лекуврер», «Фамира Кифаред» и «Сакунтала», «Принцесса Турандот» и «Чудо Святого Антония», «Гадибук» и «Потоп»... Фамилии Станиславского и Вахтангова, Таирова и Мейерхольда звучали сегодняшним днем, произносимые с неустоявшимся восторгом или досадой текущего часа...

Иногда и меня брали в театр; помню «Адвоката Пателена» в каком-то помещении Зоологического сада, в непосредственной близости к клеткам с хищниками; помню, в Художественном, зачарованных детей, которых звали бубенцовыми именами Тильтиль и Митиль; помню, как Сахар ломал свои сладкие пальцы, как Хлеб, вздыхая, вылезал из дежи,

как появлялись и растворялись в розовато-зеленоватом конфетном свете рампы Бабушка и Дедушка... Помню гибкие и вместе с тем угловатые фигуры, метавшиеся по маленькой сцене особняка в Мансуровском переулке, яркость условных костюмов, патетические образы бледных прекрасных женщин с распущенными, почему-то всегда черными, волосами, заламывавших свои прекрасные бледные руки...

Что привлекло Марину к Студии, помимо самих студийцев, то есть помимо всегда для нее основного: обаяния человеческих отношений? То, что в театральном искусстве, наряду с далеким ее природе «зрелищным» началом, наличествовало *Слово,* ее стихия. Только для Марины театр *кончался* пьесой, текстом, то есть тем, с чего он, фактически, для актеров – начинался. Воплощение образов воображаемых в образы изображаемые было уже всецело их заботой, не ее.

Впервые в жизни возникло у нее желание слить свой поиск с их поиском, преодолеть барьер между своим – бесплотным – искусством и их искусством «во плоти», принять участие в чуде рождения спектакля, *увидеть* свой труд, рассекретить его, сделав тайное – явным.

Многое умела она творчески; ей захотелось суметь и это.

Шесть пьес – «Метель», «Фортуна», «Каменный ангел», «Червонный валет», «Феникс» и «Приключение» (объединенных впоследствии общим названием «Романтика») – написала она для своих друзей; две из них – «Каменный Ангел» и «Червонный валет» – являли даже ярко выраженные, на поверхности лежащие! – черты символизма, столь близкие тогдашним вкусам студийцев – чтоб им легче было играть!

Все эти вещи, очень сценичные, с блистательными диалогами, имели, при чтении их Мариной студийцам, большой, многоголосый что называется – *шумный* успех; однако ни одна из них не была ими поставлена. Может быть, потому, что воссоздавать на подмостках самих себя, свой образ,

даже облик, свой характер, актерам несподручно. Может быть, они просто – прошли мимо, не сумев понять, что это – *им, для них* и насколько *ей* важно, чтобы ее дар, ее вклад был ими принят. Она ведь им об этом не сказала ни слова, как всегда потопив в собственной гордости и робости – надежду, заранее предвестие ее несбыточность.

Так или иначе, ее голос не слился с голосами студийцев, ее слово не прозвучало из их уст. Жаль. Это глубокое человеческое и творческое разочарование Марины ее рукой вывело – эпиграфом к изданному в 1922 году последнему действию «Феникса» – слова Гейне: «Театр не благоприятен для Поэта и Поэт неблагоприятен для Театра».

Прошли годы (для Марины годы эмиграции, для бывших студийцев – годы становления), – но она не забыла своих «спутников юной поры». Им посвящена – два десятилетия спустя – ее большая прозаическая вещь «Повесть о Сонечке», написанная уже после смерти С. Е. Голлидей, в чью «встречную» память Марина всегда верила. Что до памятливости «комедьянтов», то ей она казалась «сценической условностью» еще в 1918 году, в самый разгар их дружбы – «с Вас начиная, пылкий Антокольский, любимец страстных Муз, запомнивший лишь то, что панны польской я именем зовусь; и этого – виновен холод братский и сеть иных помех! – и этого не помнящий – Завадский! – памятнейший из всех»...

«1 МАЯ 1919 ГОДА

Мы вышли на улицу и попали на праздник. Мы шли по бульвару. Вдруг мы услыхали полковую музыку. Марина сказала мне: “Аля, какая чудная музыка! Эта музыка, где бы она ни была, я ее люблю!” Мы подошли к ограде и видим – проезжают кони, красивые, белые. Всадники одеты в синем и светлом, лица их были простые. Одни из них немного качались в седле. У некоторых коней были привязаны красные

розы к ушам. Потом мы увидели позади войско. Впереди шел барабанщик с огромным золотым барабаном. Все одежды войска были синие. Барабанный стук уходил с музыкой. Потом мы отошли от загородки и стали бродить по бульвару. Тут мы услыхали жужжание аэроплана. Мы сначала не обратили на него внимание и тихо разговаривали. Вдруг он пролетел над нашей головой и стал разбрасывать листы, которые кружились по воздуху странными тучами. Листы падали везде и на крыши домов.

Вечером мы зашли к Бальмонтам и все вместе пошли во Дворец Искусств, бывший дом Соллогуба, где должны были читать разные поэты. Мы вошли во двор, который был, как сад. В нем были кусты, точно забор колючий, и маленькие деревья спереди дома. Сам дом Соллогуба стоял чуть-чуть пожелтевший, с белыми колоннами. Марина с Бальмонтом подошли к двери, мы вошли в маленькую комнатку, там нам помогли раздеться. Бальмонт записал наши имена в тетрадку. Мы поднялись по входной лестнице, и я увидела очень высокие стенные часы. Из передней мы прошли через длинную залу, довольно узкую, с красными бархатными стенами и с широким большим окном в сад, потом опять по лестнице в широкую комнату с большим круглым столом. Там женщина разливает чай и угощает всех нас. Ее звали как-то вроде Розы, она была актриса. У нее были черные волосы, спереди заплетенные, на ней было надето розово-лиловое платье. Брови черные, каких я никогда не видала. Лицо было маленькое и круглое. Я увидала господина в пенсне, очень похожего на Дон-Кихота – такой же худой и высокий. К нему обращались с почтением.

Женщина, которая разливала чай, стала шутя гадать Бальмонту по руке, много раз повторяя слово “Аполлон”. Когда она кончила гадать, она сказала: “Кто пойдет со мной смотреть церковь?” Марина спросила: “Домовую церковь

Соллогубов?" Женщина ответила: "Да". Мы все пошли, и Марина мне сказала: "Аля! Тут есть лестница, вся истертая от следов человеческих ног!"

Дверь домовой церкви была на замке, ее открыли. Мы вошли и стали на хорах. Там сильно пахло ладаном. Меня подняли на перила, и я увидела, что внизу был полумрак и на маленьком столике большое открытое Евангелие, а наверху не очень большая люстра стеклянная. Стены были деревянные с резными украшениями. Все молчали, а Марина сказала: "Да, тут довольно жутко!"

Тогда мы вышли и пошли по темной лестнице в парадные комнаты. Все ступени ее были с огромными углублениями, и каждую минуту повороты и изгибы. Потом мы вошли в залу, где был большой камин, на котором стояли крылатые львы черные, а оттуда в другую, где стояла белая очень красивая и задумчивая статуя. Марина назвала ее Психеей.

Та актриса показала нам свою комнату, комната была обыкновенная, с одним окном и простым полом, там стоял рояль. Вся мебель была обтянута красной материей шелковой.

Наконец, мы вошли в залу, в которой были розовые стены. Там многие люди уже сидели на местах, потом сели все. В камине горел огонь.

Садится на маленький диванчик поэтесса и говорит стихи – жалобным, писклявым и еле-еле слышным голосом. Стихи про то, что она спит в воротах кладбища, что у нее на груди висит крест, а у всех нет, что у нее сердце доброе и мягкое, а у других сердца черствы. Сказала и ушла к камину.

Потом подошел молодой, почти мальчик, поэт Есенин. Он читал стихи о том, что месяц спрыгнул с неба и обратился в жеребенка, а он запряг его в колесницу.

Потом стал читать Бальмонт, он читал про рабочего, мне кажется, что в этих стихах он хотел усмирить рабочего.

Потом господин, похожий на Дон Кихота, позвал Марину читать стихи, она встала от окна, где сидела со мной, и прочла стихи про то, что мы – две странницы – перешли всю свою дорогу жизни, любимые богом, и что мы не Величества, Высочества, и еще стихи про Москву и про Георгия Победоносца. Марина читала твердым голосом. После последнего стиха люди рукоплескали, по-моему, потому, что стыдно молчать, когда человек кончил.

Актриса теперь не была одета в то платье. Теперь у нее на голове надета была шапочка белая и длинное белое толстое платье, с черной, надетой на все платье, вуалью.

Опять на диванчик села та поэтесса и прочла стихи гораздо лучше первых, про то, что она жила в часовне, которая стояла в лесу, куда никто не заходил. И она все сидела в часовне и глядела в окно.

Потом еще один поэт читал стихи, как он шел по лесной дороге ночью, и вдруг явилась девочка, которую звали Люба и которая была из белой сказки. На заре она стала уходить, он просил ее остаться, но она сказала "не могу" и ушла.

Еще были разные стихи, которых я не помню, и еще там был один солдат, который говорил речь.

Мы ушли из этой залы в переднюю, а в зале к нам подошел Есенин и что-то стал говорить маме. Я не слушала и не помню, что он говорил.

Когда мы вышли из Дворца Искусств, был закат, и жена Бальмонта показала Марине на месяц – он был чуть-чуть розоватый. Мы очень быстро пошли, почти побежали, по двору, мимо маленьких деревьев, точно подстриженных в круг. Всюду выбивалась тонкая новая травка.

В одном маленьком белом флигеле окна были красные от света, и Марина рассказала, что туда переселили графиню Соллогуб из большого дома, и она там теперь живет. Флигель был обнесен кустами.

Мы пошли на Арбат вместе с Бальмонтами. Вот мы уж у Храма Христа Спасителя.

Вдруг над нами пронеслась с грохотом красная струя, потом еще пронеслась и осветила купол храма, как при солнце. Я немного боялась, что какая-нибудь струя свалится и убьет меня. Вдруг за деревьями сквера поднялся по воздуху почти до неба розовый туман. На всех возвышениях стояли люди и смотрели. Много было красных флагов. Иногда проходили солдаты с факелами. Иногда на небе появлялись маленькие звезды красные и одна за другой мигом падали на землю.

Те огненные струи назывались ракетами.



М. И. Цветаева с Алей. Париж. 1926 г.

Марина все говорила: "Ах, мы не сможем вернуться. Парадное, наверно, уже закрыли!" Потом она вывела меня на площадь, и мы пошли домой по бульвару, где были поставлены новые статуи, не похожие на настоящие, а когда прошли почти половину его, то увидели буквы и цифры, освещенные маленькими лампочками.

Буквы и цифры были большевистские».

...«Бывший дом Соллогуба», в котором, по преданию, жила семья Ростовых из «Войны и мира», стал Дворцом Искусств с ранней весны 1919 года и по сей день принадлежит искусству: именно у его входа прибита дощечка с надписью «Союз-писателей СССР». В 1918 году в этом здании помещался Народный Комиссариат по делам национальностей, единственное учреждение, в котором за всю свою жизнь служила или, вернее, сделала неудачную попытку служить Марина.

Этот дом – друг моего детства, единственный из друзей, за пять десятилетий сохранивший неизменными внешние свои черты; тогда, как и теперь, старинный особняк с колонным портиком являл собой прелестный образец столь лиричного в своей строгости «московского» классицизма, теперь, как и тогда, он обнимает и обрамляет крылатыми полукружиями своих флигелей парадный двор; только нынче подъезды к входу покрыты асфальтом да исчезли корявые и кудрявые яблоньки-китайки вдоль фасада главного здания.

Пока взрослые собирались, совещались, музицировали, беседовали, выступали в его комнатах, еще выглядевших «покоями», еще обитых штофом и кретоном и уставленных ампирной мебелью, мы, дети, играли в прятки в его гулких подвалах и носились по двору, который был первым нашим детским садом, дачей, всей природой, воплотившейся для нас в его деревца и кустарники, дичающие цветнички, лопушиные заросли.

Когда теперь, изредка, вхожу я в эти ворота, то невольно приостанавливаюсь: а где же мы, дети? отчего такая тишина?

В те годы Дворец Искусств был не только учреждением, концертным залом, клубом, но и жилым домом; на верхнем этаже правого флигеля летом 1919 года обитали Розенель, Луначарский и двое его мальчиков – сын и племянник. Эти последние, едва приехав и заслышав наши голоса, скатились вниз, прямо в какой-то наш «каравай, каравай, кого любишь – выбирай»; мальчики были одеты несколько аккуратнее нас, и главное, прочнее обуты. Чтобы не выделяться из «общей массы», они тут же, с места в карьер, схватили какие-то камешки, железяки, всерьез расковыряли свои башмаки и пошли скакать вместе с нами; напрасно мы ждали, что им за обувь попадет: нет, не попало!

Левый флигель, в узких келейках которого сам воздух казался анисового цвета из-за ломившейся в окна зелени, был населен «хозобслугой», с которой соседствовали и начинающие литераторы, и певцы, и художники. Самым удивительным в их комнатах были печи, облицованные изразцами с аллегорическими рисунками и таинственными под ними подписями, вроде: «От старости зелье могила», «И не такие подъезжали», «Люби нас, ходи мимо» или «Не тогда жить, когда ноги мыть».

В палисаднике флигеля сохли на солнце лозунги и какие-то причудливые, фанерные, свежевыкрашенные конструкции, предназначавшиеся для праздничного и будничного оформления московских улиц; из открытых окон лились рулады шубертовских «Ручьев».

В разлатом привратном домике доживала свой век бывшая владелица особняка, в то время как дряхлая, полуслепая горничная, бывшая ее крепостная, доживала свой в одном из графских апартаментов – так рассудила советская власть.

Обе старушки, опираясь каждая на свою клюку, мирно шествовали через двор – друг к другу в гости. К ним наведывались, просачиваясь из ближних переулков, еще старухи, – и простенькие, кургузенькие, в платочках, и прямоспинные, с генеральской выправкой, шуршавшие стеклярусом и щелкавшие складными лорнетами; «крепостная» на ощупь разводила самовар, и все пили морковный чай из недобитого – кобальт с золотом – сервиза, отчужденно следя за передвижениями слушателей и ревнителей искусств.

На заднем, хозяйственном, дворике размещались службы, тянулись грядки общественного огорода, паслась привязанная к колышку коза, верещал в «стайке» поросенок. Тут простирались владения семейства цыган – уборщицы Антонины Лазаревны, ее мужа, шофера, слесаря, мастера на все руки, в прошлом соллогубовского конюха, бабки Елизаветы Сергеевны и двоих детей. Все они, и стар, и млад, и мал, были добры, трудолюбивы и красивы, – такими на всю жизнь и запомнились. Конечно же, Марина часто заглядывала к ним и даже помогала Антонине Лазаревне в каком-то шитье, чтобы только слушать ее (лесковские) рассказы. Шутила, что напишет книжку «Цыганские сказки».

На этом же, цыганском, дворике первый директор Дворца Искусств, поэт-футурист Иван Рукавишников, проводил учения с красноармейцами, чередуя грамоту с ружейными приемами; он был рыж и краснолиц, одет в нечто полувоенное, полуоперное, подпоясан в несколько оборотов длинным шелковым шарфом а-ля калабрийский разбойник. Жена его Нина ведала московскими цирками; иногда она заезжала за мужем в экипаже, запряженном отслужившими свой артистический век, списанными с арены лошадьми. «Все смешалось в доме Ростовых», – шутила Марина. Рукавишниковской упряжке, умевшей танцевать вальс, посвятила она один из своих рассказов на французском языке – «Чудо с лошадьми».

Она любила Дворец, стоявший в те годы как бы на стыке искусств – уходящих и восходящих, ей нравилась атмосфера его концертов, дискуссий, чтений, его литературных вечеров, в которых она так охотно принимала участие, некая – переходная – камерность их и щадящая традиционность обстановки, отвлекавшая от тягот и забот вздыбленного быта.

Здесь, в этом самом доме с колоннами, собирался первый и последний творческий коллектив, к которому принадлежала Марина Цветаева; в этом столь разноголосом хоре звучал и ее еще звонкий и юный голос, которому было суждено так скоро стать трагическим «гласом вопиющего в пустыне» – эмиграции.

«ПОДВИГ

Я записывала что-то в этой тетрадке и вдруг услыхала голос Марины: "Аля, Аля, иди скорей сюда!" Я иду к ней и вижу – на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: "Аля, если ты меня любишь, ты должна поднять этого червя". Я говорю: "Я же Вас люблю душой". А Марина говорит: "Докажи это на деле!" Я сижу перед червем на корточках и все время думаю: взять ли его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селедочный хвост. Говорю: "Марина, можно я его возьму за селедочный хвост?" А она отвечает: "Бери его, где хочешь! Если ты его подымешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь".

Сначала я ничем не ободрялась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: "Вот молодец, молодец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!" (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: "Теперь Вы правда поверили, что я Вас люблю?" "Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было

испытание". Я обиделась и говорю: "Марина, я Вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червя, я готова была сказать, что я Вас ненавижу".

Май 1919 г.»

В случае с «червяком» повинны были Шиллер и Жуковский, создавшие балладу «Кубок». «Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой, в ту бездну прыгнет с высоты?» – декламировала я, расхаживая взад-вперед по нашей кухне и оттягивая неизбежный час занятий. Читательский восторг переполнял меня, я ощущала себя сопричастной событиям поэмы – да что там сопричастной! – тем самым «пажем молодым» ощущала я себя, который «уж в бездне пропал...».

– Какие *замечательные* стихи, Марина! Какие *героические!* А царевна, которая заступилась за пажа, похожа на Вас! Если бы этот царь, который бросил этот кубок в пучину морскую, был бы Вашим отцом... – «То он оказался бы твоим дедом!» – заметила Марина. «Нет, не надо дедом! Если бы он просто был Вашим отцом, а я тем самым пажом, то я бы тоже... тоже...» – «Не думаю, чтобы ты *смогла*», – серьезно ответила Марина, с оценивающей нежностью оглядывая всю мою тогдашнюю малость и хилость, с макушки до кончиков стоптанных башмаков, в которых я, к шести с половиной годам, еще не научилась толком разбираться – какой на какую ногу натягивать. «Во-первых, ты боишься воды... а потом, если бы только вода! Там ведь еще и гады морские, и чудовища! Помнишь?» (Еще бы не помнить: «ползет стоногое грозно из мглы, и хочет схватить, и разинулся рот...» Сто склизлых ног! Ужас и отвращение!) «Все равно бы прыгнула!» – с прежней пылкостью в голосе, но уже с холодком сомнения в груди продолжала настаивать я. «Видишь ли, будь я той царевной – или тем царем, я не разрешила бы тебе и вообще кому бы то ни было прыгать в пучину по прихоти. Любовь не прыжками

доказывается, а каждым прожитым днем – и как он прожит, и каждым сделанным делом – как оно сделано. Садись-ка ты лучше за стол и пиши свою страницу!» И я села за стол, не догадываясь, что «подвиг» мой – не за горами, ибо Марина признавала декларации, лишь подтвержденные действием...

«В ДЕРЕВНЕ

Марина решила отправить меня в деревню, погостить у нашей молочницы Дуни. Потом она должна была приехать за мной сама.

Мы с Дуней ехали товарным поездом. Некоторые остановки были очень продолжительны. До деревни Козлово мы шли пять верст лесом. Впереди шли девки и бабы. Они то и дело перекликались. Вскоре мы вышли на просторное место, там видны были золотые полосы ржи. Все обращали на меня внимание: “Чья это девчонка?” А Дуня с гордостью: “Барынина, из Москвы. Читаить, лишить”. Какой-то мальчишка сказал: “Выдра! Мы заставим ее работать!” “Неужели?” – сказала Дуня. В далекой близи стали видны дома, пригорки и заборы Козлова.

Мы вошли в избу. С виду она была такая, какую я не надеялась увидать. Это была маленькая, полуразвалившаяся изба, которая стояла скривившись в сторону, вся покрытая темной соломой. Окна были тоже маленькие и косые. Внутри была одна только комната с русской печкой и скамейками.

У Дуни было пять детей и муж. У мужа была борода, он был очень грубый, грубо разговаривал с Дуней и детьми. Один раз он стал Дуню бить и хотел стукнуть ее головой об печку. Но я закричала и вцепилась в его рубаху. Он меня пихнул и ушел. По ночам он страшно храпел.

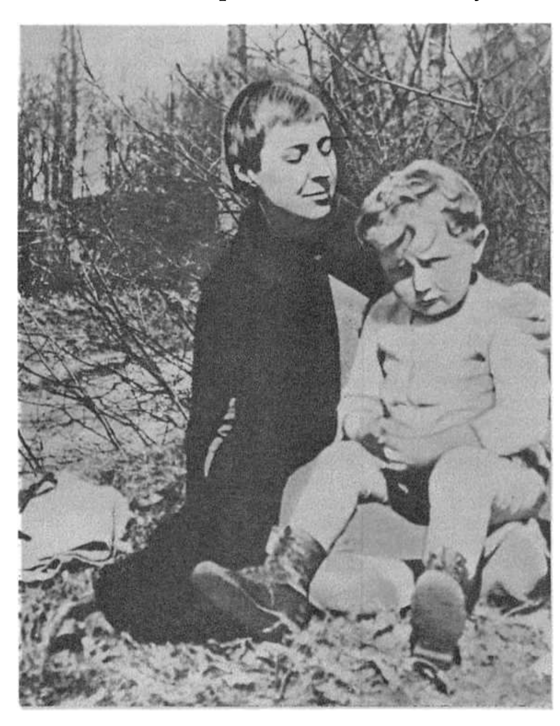
Дуня нас кормила картошкой. Все ее чистили пальцами и каждый себе солил. Когда был суп, все ели его из тазика,

каждый своей деревянной ложкой. Ложки были очень неудобные, и я сначала обливалась.

Недавно я была на току. Меня посадили на сноп соломы, а сами стали молотить. Я глядела с очень большим вниманием. Их цепы были похожи на кнуты, только к концам были привязаны палки. Лежали маленькие снопы колосьев, и все стали бить по этим колосьям, из-за того, чтобы их потом есть. Так получаются зерна и хлеб.

Мы иногда ходили в лес за грибами и орехами, но я ничего не находила, потому что смотрела вокруг на красоту.

Вечером последнего дня моего одинокого пребывания в деревне прошла замечательная, густая, серая туча с золотой, холодной, лунной каймой. Ночью я проснулась и увидела, как светилась лампадка. “Завтра Успение”, – подумала я и уснула.



Марина Ивановна с сыном Муром. Весна 1928 г.

Просыпаюсь рано утром. Дуня топит русскую печку. Смотрю на другой бок и вижу Маринину загорелую шею и кудрявые волосы. На скамейке лежит ее маленький чемодан и одежда, а на полу – два окурка.

Только что ушла Дуня, Марина воспрянула и, как грозный лев, рассыпала свою кудрявую голову. Я тихонько поцеловала ее.

Марина, шепотом: "Здравствуй, Алечка. Как ты живешь?" – "Ничего". – "А зачем ты вырывала листы из своего дневника?" – "Чтобы рисовать!" – "Свинский поступок", – ответила Марина. Но скоро она становится милостивей и слушает мои рассказы о грубом муже Дуни.

Завтрак был очень торжествен, потому что приехала "барышня", как там называли Марину. Все говорили ей приятные вещи и предлагали сахар. Потом мы посидели с Мариной на русской печке. Полюбовались, как вычищен самовар и как чисто вымыт пол. Потом посидели в замечательном палисаднике с бузиной и подсолнухами, за столом, который сам хозяин выкрасил синей краской. Марина разгрызала орехи и раздавала их Дуниным детям, Васе и Анюте, и мне. Потом мы читали про себя, свои книги – Марина про Французскую Революцию, а я привезла с собой книгу "Христианские дети". Второй и третий день такие же однообразные, и Марина с трудом прожила их.

Наконец настает отъезд. Меня, сонную, спавшую мало, будит Дуня. Встали почти все, даже хозяин, который так прекрасно спит по ночам. Петухи нам дали знать, что утро. На меня надели два платья и пальто, и мы пошли вместе со старшим сыном Дуни, Сережей.

Как только мы вышли и прошли меньше полуверсты, как я провалилась, почти по колено, в какую-то лужу и захныкала. Мы долго шли по пути, который вел через места, полные опасностью. Лужи, канавы и еще полная темнота. Сережа

шел впереди, Марина на конце, а я в середине. Попадались почти непроходимые болота, но Сережа всегда находил узкую тропинку, по которой мы шли по очереди. Когда мы проходили через ток, то увидели, что нас укутал утренний туман, похожий на пар, шедший из земли. Небо пока еще было коричневатое, но нужно было ждать замечательной картины.

Скоро мы стали подходить к станции. Стояли в ряд несколько елочек, окутанных белым. Над ними красовалась темная, очень яркая полоса, густая и красная. А мы все шли около чьих-то огородов. Когда мы совсем подошли к станции, я посмотрела на небо. Большая часть его была покрыта красными, синими и серыми полосами. И тут я вдруг отчего-то заревела. Марина заметила: "Чего ты ревешь? Ты бы лучше на небо полюбовалась!" Я смутилась. Холодная утренняя заря ласково охватила мое лицо.

Все время шли товарные поезда. Предпоследний поезд был нагружен царскими автомобилями с царскими гербами и значками. Они были очень красивые: на носиках и на дверцах у них были гербы.

Вскоре приехал первый поезд для людей. Мы долго ждали его остановки, но пока мы ждали, почти все люди уже влезли, и нам было не пробиться. Но зато успели на следующий.

Август 1919»

Молочница Дуня приходила к нам – с бидоном в руке и с мешком за спиной – с незапамятных времен и вплоть до тяжкой зимы 1919–1920 года, в которую просто исчезла. Мы так никогда и не узнали, что с ней, жива ли она?

В эту же зиму умерла моя младшая сестра Ирина – та, что пила молоко, – крутолобая, в буйных светлых локонах, сероглазая девочка, все распевавшая «Маена, Маена моя!» (Марина моя!), – и как-то даже естественным показалось, что пересохла и молочная струйка, питавшая ее.

В постоянстве Дуниных приходов, в кроткой обреченности, с которой брала она за бесценное молоко ничего не стоившие бумажные тысячи и миллионы, а не меняла его, как все «деревенские», на вещи, в той щедрости, с которой отмеряла его в подставленную кастрюлю, было нечто, роднившее ее с самой Мариной, столь отзывчивой и столь не «деловой».

Они подружились по-своему – странная «барыня» и странная молочница. Дружба эта – двух матерей – почти не нуждалась в словах; у Марины нас было двое, а у Дуни – три сына и две дочки; Марина часто дарила Дуне что-нибудь из нашего хаотического хозяйства, а та – не обессудьте! не побрезгуйте! – угощала нас мятыми, картофельно-ржаными лепешками, а то и совала Ирине крутое, придавленное в поездной толчее, яйцо.

Черты Дуниного лица были строгие, а выражение – мягкое, как бы прислушивающееся, чуть удивленное и виноватое. Сколько ей могло быть лет? – не знаю; материнские лица вне возраста.

Однажды Дуня приехала не одна – за ее бурую кофту, в талью, с буфами – держался Вася, младший из ее мальчиков, мой сверстник. «Вот, барыня, привезла его Москву посмотреть. Все приставал, какая она, да какая – Москва-то!» – «Ну как, – спросила Марина, – понравилось тебе в городе?» Мальчик молчал отчаянно, не отрывая глаз от собственных лаптей, и начал оттаивать – мотать и кивать головой – только на кухне за самоваром. Самовар же был непростой: с того дня, как Марина попробовала сварить в нем пшено, он заткнулся навечно, и кипяток из него приходилось добывать через верх.

После чая Вася разомлел, стал клевать носом; Марина предложила Дуне уложить его; кровать была металлическая, с шишечками, с пружинным матрасом. Мальчик приоткрыл

слипающиеся глаза, в них мелькнуло материнское, изумленно-извиняющееся выражение. «Первый раз на пружине сплю!» – прошептал он. Марина закусила губу. «Оставьте его погостить у нас, Дуня, – проговорила она. – Москву ему покажу...» И Вася остался.

Марина обула его в мои башмаки, водила в Кремль и в Зоологический сад, все терпеливо объясняла и рассказывала.

Как некогда я в цирке, Вася смотрел не туда и не на то; в Зоологическом саду больше всего поразили его деревья, обнесенные решетками. «Глянь-ка, и деревья в клетку посадили... чудно!» Дома Васей завладевала я, глуша его книжками, игрушками и собственным превосходством: как-никак я ведь была грамотная и городская! Правда, когда он уезжал, игрушки я отдала ему почти все и без Марининого напоминания, а что до столичного моего превосходства, то хватило нескольких дней, даже часов, проведенных мною в Козлове, чтобы доказать, что бестолковее меня нет во всей деревне.

Приехавшая за мной Марина у Дуни не загостилась. «Отдыхать», когда все кругом трудятся, она не могла, а работать по-крестьянски не умела. Крестьянский «патриархальный быт» – со всепожирающей русской печью во главе угла – ужасал и возмущал ее. Неподъемности его не искупала ни прелестная природа со всеми ее восходами и закатами, ни песни за рекой, ни расшитые полотенца под иконами...

Еще одна простая женщина была так же, как и Дуня, молчаливо добра к Марине и мила ей душевно – жена жившего во дворе нашего дома сапожника Гранского.

У Гранских была очень маленькая, чистенькая полуподвальная квартира-норка; в одной из комнатушек ее постоянно постукивал молотком мрачноватый сапожник. Иногда он бывал «выпимши», и тогда вся семья его – жена и трое детей поеживались, оглядывались и шептались.

Когда ни зайдешь к ним, а ход был через кухню, – видишь: на длинном медном кране над раковиной лежит, подобрав лапки, кошка и время от времени слизывает набегающую каплю, а жена сапожника все возится по хозяйству – стирает, стряпает, шьет.

Вот эта-то женщина, маленькая, невидная, такая же, как Дуня, безвозрастная, часто забегала к нам с черного хода, доставала из-под платка мисочку с несколькими картошками или с ячменной кашицей, совала ее Марине в руки, приговаривая: «Кушайте на здоровье! Не стоит благодарности!» И еще, отправляя в деревню к бабушке младшую, слабенькую дочку, отдавала нам ее продуктовую карточку.

Вообще же в трудные годы помогали Марине только женщины. Мужчинам это просто не приходило в голову. Или так редко!

«ВЕЧЕР БЛОКА

Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок – такой же великий поэт, как Пушкин. И волнующее предчувствие чего-то прекрасного охватывает меня при каждом ее слове. Марина сидит в крохотном ковчеге художника Милиотти и рассматривает книги. Его самого нет.

Я бегаю по саду. Вывески: "Читает Александр Блок", "В Политехническом музее читает П. Коган". И вообще все по-праздничному – как на Воробьевых горах: в аллеях под деревьями продают лепешки и играет граммофон.

Наконец приходят художники Милиотти и Вышеславцев и поэт Павлик Антокольский с женой. Мы идем за билетами. Входим в переднюю с раковинами, где серебряный истукан с пикой звонит "К Блоку". Идем в розовую бархатную залу. Все места заняты, а Его все еще нет. Антокольский приносит нам несколько стульев. Чуть только расселись, в толпе

проносится шепот: “Блок! Блок! – Где он? – Блок! – За столик садится! – Сирень...” Все изъявляли безумную радость.

Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущенные, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица.

Он читает поэму “Возмездие”. Там говорится про Байрона, про ненастоящего Байрона, который очаровал младшую дочь из старой дворянской семьи. И будто дочь вышла за него замуж, и он увез ее с собой. В один сумрачный день она приехала одна. Худая, утомленная, она держала на руках грудного ребенка. И вот сын стал взрослый, но не пошел воевать, а веселился на балах. И вот один раз, танцуя, он узнал, что его отец умирает в Варшаве на улице Роз. Но когда он туда приехал, то увидел, что отец лежит в постели мертвый. (Описание наружности отца в гробу совсем совпадает с наружностью Блока. Благородные глаза закрыты. Тело вытянуто и благородно. На пальце – обручальное кольцо.) Сын снял кольцо с благородного пальца отца и перекрестил отца на сон веков.

Когда сын стоял у могилы, тут же была женщина в черном платье и траурной вуали.

В другой части Александр Александрович читал про войну, про войска, которых много погибло в бою, но они шли, полные героизма, и на них смотрела императрица.

Он говорил ровным, одинаковым голосом.

Мне кажется, он еще говорил, что сын забыл отца.

Потом А. А. Блок остановился и кончил. Все аплодируют. Он смущенно откланивается. Народ кричит: “Прочтите несколько стихов!, “Двенадцать”! “Двенадцать”, пожалуйста!”

– Я... я не умею читать “Двенадцать”!

– “Незнакомку”! “Незнакомку”!

“Утро туманное, – читает А. А. Блок. – Как мальчик шаркнула, поклон отвешивает. До свиданья! И звякнул о браслет жетон. Какое-то воспоминанье!” (Эти строки остались у меня в памяти с ранних лет и останутся навсегда.)

Больше я стихов в напеве не помню, но могу передать в прозе: “Твое лицо лежит на столе в золотой оправе передо мной. И грустны воспоминания о тебе. Ты ушла в ночь в темно-синем плаще. И убираю твое лицо в золотой оправе со стола”.

А. А. Блок читает “колокольцы”, “кольцы”, оканчивая на “ы”. Читает деревянно, сдержанно, укороченно. Очень сурово и мрачно. “Ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольцы”.

Иногда Блок забывал слова и тогда оглядывался на сидящих за его спиной даму и господина, которые, слегка улыбаясь, подсказывали ему.

У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг.

Становилось темно, и Блок с большими расстановками читал. Наверное, от темноты. Тогда какой-то господин за нашей спиной зажег свет. Зажглись все свечи в люстре и огромные лампы по бокам комнаты, очень тусклые, окованные в толстое стекло.

Через несколько минут все кончилось. Марина попросила В. Д. Милиотти привести меня к Блоку. Я, когда вошла в комнату, где он был, сперва сделала вид, что просто гуляю. Потом подошла к Блоку. Осторожно и легко взяла его за рукав. Он обернулся. Я протягиваю ему письмо[1]. Он улыбается и шепчет: “Спасибо”. Глубоко кланяюсь. Он небрежно кланяется с легкой улыбкой. Ухожу.

15 мая 1920 г.»

---

[1] Конверт со стихами Марины Цветаевой к Блоку.

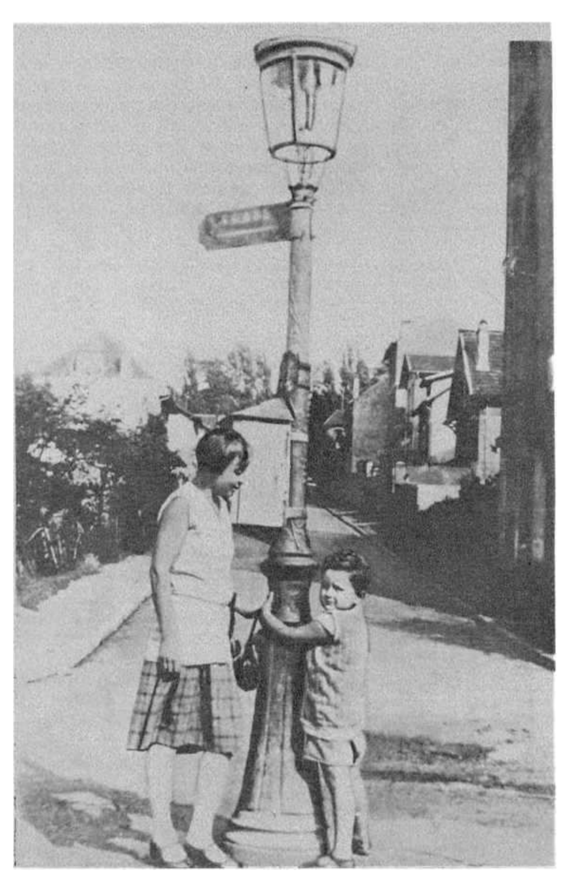
Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как собрата по «струнному рукомеслу», а как *божество* от поэзии, и которому, как *божеству,* поклонялась. Всех остальных, ею любимых, она ощущала соратниками своими, вернее – себя ощущала собратом и соратником их, и о каждом – от Тредиаковского до Маяковского – считала себя вправе сказать, как о Пушкине: «перья на востроты знаю, как чинил: пальцы не просохли от его чернил!»

Более того, каждого из них – даже бесплотнейшего Рильке! – почитала и осязала она братом еще и по плоти и крови, зная, что стихи не одним лишь талантом порождаются, а и всеми бедами, страстями, слабостями и радостями живой человеческой плоти, ее болевым опытом, ее волей и силой, потом и трудом, голодом и жаждой. Не меньшим, чем творчеству поэтов, было ее со-чувствие и со-страдание их физической жизни, «стесненности обстоятельств» или стесненности обстоятельствами, сквозь которые ей, жизни, надлежало пробиваться.

Творчество одного лишь Блока восприняла Цветаева как высоту столь поднебесную – не отрешенностью от жизни, а – *очищенностью* ею (так огнем очищаются!), что ни о какой сопричастности этой творческой высоте она, в «греховности» своей, и помыслить не смела – только коленопреклонялась. Таким поэтическим коленопреклонением, таким сплошным «аллилуйя» стали все ее стихи, посвященные Блоку в 1916 и 1920–21 годах, и проза о нем, с чтением которой она выступала в начале 30-х годов в Париже; нигде не опубликованная, рукопись эта не сохранилась.

Подобно тому, как читатели моего поколения говорят «Пастернак и Цветаева», так ее поколение произносило «Блок и Ахматова». Однако для самой Цветаевой соединительная частица между этими двумя именами была чистейшей

условностью; знака равенства между ними она не проводила; ее *лирические* славословия Ахматовой являли собой выражение доведенных до апогея *сестринских* чувств, не более. Они и были сестрами в поэзии, но отнюдь не близнецами; абсолютная гармоничность, духовная пластичность Ахматовой, столь пленившие вначале Цветаеву, впоследствии стали ей казаться качествами, ограничивавшими ахматовское творчество и развитие ее поэтической *личности*. «Она – совершенство, и в этом, увы, ее предел», – сказала об Ахматовой Цветаева.



М. И. Цветаева с Муром. Медон. 1928 г.

Помню, как Павлик Антокольский принес и подарил Марине «Двенадцать» Блока, большого формата, белую с черным – Черный вечер, белый снег – книгу с пронзительными анненковскими иллюстрациями; как прямо с порога бывшей нашей столовой начал читать, сверкая угольными, дикими глазищами; как отбивал в воздухе такт кулаком; как шел на нас, слепо огибая препятствия, пока не уперся в стол, за которым сидела и из-за которого ему навстречу привстала Марина; как дочитал до конца, и как Марина, молча, не поднимая глаз, взяла у него книгу из рук. В минуты потрясений она опускала веки, стискивала зубы, не давала выхода кипевшему в ней, внешне леденея.

Феномен «Двенадцати» не только потряс ее, но в чем-то основном творчески устыдил, и за себя, и за некоторых ее современников-поэтов. Об этом много и резко говорилось в той ее, Блоку посвященной прозе, в частности о том, что «Балаганчик», оставленный Блоком за пределами Революции, именно в Революцию послужил, пусть недолговечным, но убежищем – многим поэтам, начиная с нее самой, создавшей в ту пору цикл изящных не по эпохе пьес... Но –

Не Муза, не Муза, – не бренные узы
Родства – не твои путы,
О Дружба: – Не женской рукой, – лютой!
Затянут на мне –
Узел.

Сей страшен союз. – В черноте рва
Лежу – а Восход светел.
О, кто невесомых моих два
Крыла за плечом –
Взвесил?

В поэме «На красном коне» (1921), зашифрованной посвящением Анне Ахматовой, впоследствии снятом, предстает

сложный, динамичный в своей иконописности образ «обожествленного» Цветаевой Блока – создателя «Двенадцати», Георгия Победоносца Революции, чистейшего и бесстрастнейшего Гения поэзии, обитателя тех ее вершин, которые Цветаева считала для себя недосягаемыми.

Видела и слышала она Блока дважды на протяжении нескольких дней, в Москве, 9 и 14 мая 1920 года, на его чтениях в Политехническом музее и во Дворце Искусств. Знакома с ним не была и познакомиться не отважилась, о чем жалела и – чему радовалась, зная, что только воображаемые встречи не приносят ей разочарования...

«ЮБИЛЕЙ БАЛЬМОНТА»

Мы с Мариной пришли во Дворец Искусств, зная, что сегодня необыкновенный праздник – юбилей Бальмонта. В саду я немного отстала и вдруг вижу Бальмонта с Еленой и Миррой и розу-пион в руках Бальмонта. Марина берет билет, и мы идем в залу. Елена (по-бальмонтовски Элэна) уже заняла свое место. Мирра знаками зовет меня поделить с ней розовую мягкую табуретку. Вносят два голубых в золотой оправе стула, а третий – кресло для Бальмонта. Его ставят посередине.

Бальмонт входит, неся тетрадь и розу-пион. С грозным, львиным и скучающим лицом он садится, на один стул кладет тетрадку и цветы, а на другой садится поэт Вячеслав Иванов. Все рукоплескают. Он молча кланяется, несколько минут сидит, потом встает в уголок между стулом и зеркалом и, покачивая свое маленькое кресло, начинает речь о Бальмонте, то есть Вступительное Слово.

К сожалению, я ничего не поняла, потому что там было много иностранных слов. Иногда среди речи Вячеслава Ивановича раздавались легкие рукоплескания, иногда – возмущенный шепот несоглашающихся.

На минуточку выхожу из душной залы вниз, в сад, пробегаю его весь, не минуя самых закоулков, думая в это время, как же это люди могли жить в таких сырых, заплесневелых подвалах дома Соллогуба. Возвращаюсь, когда Вячеслав Иванович кончает, вылезает из своего углового убежища и крепко пожимает Бальмонту руку.

Я хочу описать теперь наружность Вячеслава Иванова. Неопределенные туманные глаза, горбатый нос, морщинистое желтое лицо. Потерянная сдерживаемая улыбка. Говорит с легкой расстановкой, не шутит, все знает, учен – не грамоте и таким вещам, а учен, как ученый. Спокойный, спокойно ходит и спокойно глядит, не пламенный, а какой-то серый...

Самое трогательное во всем празднике – это японочка Инамэ.

Когда ее вызвали: «Поэтесса Инамэ», она вышла из-за кресла Бальмонта, сложила ручки и трогательно начала свою простую речь. Она говорила: «Вот я стою перед Вами и вижу Вас. Завтра уже я должна уехать. Мы помним, как Вы были у нас, и никогда не забудем. Вы тогда приехали на несколько дней, и эти несколько дней... что говорить!.. Приезжайте к нам, и надолго, чтобы мы вечно помнили, что Вы были у нас – великий поэт!»

Тогда Бальмонт сказал: «Инамэ! Она не знала, что у меня есть готовый ответ!» Все засмеялись. Он встал, вынул из кармана небольшую записную книжечку и начал читать стихи, вроде: «Инамэ красива и ее имя так же красиво», и вообще стих лестный каждой женщине.

И еще одна женщина, английская гостья, встала и этим дала знать Бальмонту, что она хочет сказать ему что-то. Бальмонт встал. Гостья говорила по-английски. Когда она кончила, Бальмонт взял букет пионов и вручил ей. Лучше бы он отдал цветы японочке, которая не заученно и просто сказала свою маленькую речь!

Кто-то громко сказал: «Поэтесса Марина Цветаева».

Марина подошла к Бальмонту и сказала: «Дорогой Бальмонтик! Вручаю Вам эту картину. Подписались многие художники и поэты. Исполнил В. Д. Милиотти». Бальмонт пожал руку Марине, и они поцеловались. Марина как-то нелюдимо пошла к своему месту, несмотря на рукоплескания.

В это время стали играть на рояле музыку, такую бурную, что чуть не лопались клавиши. Пружины приоткрытого рояля трещали и вздрагивали, точно от боли. Мирра зажимала уши и улыбалась. А я совершенно равнодушно стояла и вспоминала, что видела поэта «Великого, как Пушкин – Блока». Совсем недавно.

Последним выступал Федор Сологуб. Он сказал: «Не надо равенства. Поэт – редкий гость на земле. Поэт – воскресный день и праздник Мира. У поэта – каждый день праздник. Не все люди – поэты. Среди миллиона – один настоящий».

При словах Сологуба «не надо равенства» вся толпа заговорила в один голос: «Как кому! Как кому! Не всем! Не всегда!»

Я уже думала, что все, как вдруг выступил Иван Сергеевич Рукавишников. В руках его – стихотворный журнал. Выходит и громко почти кричит свои стихи К. Д. Бальмонту. Когда он кончил, Бальмонт пожал ему руку...

Схожу с лестницы и думаю – почему в Дворце Соллогуба не было ночного праздника Бальмонта – с ракетами.

Вместе с Бальмонтом и его семьей идем домой.

1920»

Как возникла дружба Марины с Бальмонтом – не помню: казалось, она была всегда. Есть человеческие отношения, которые начинаются не с начала, а как бы с середины и которые вовсе не имели бы конца, не будь он определен всему сущему

на земле. Они длятся и длятся, минуя исходную, неустойчивую пору взаимного распознавания и итоговую, болевую – разочарований.

Эта, прямолинейная, протяженность дружбы, эта беспрерывность и безобрывность ее (внешние причины обрывов – не в счет, говорю о внутренних) не были свойственны Марине, путнику не торных дорог.

Чаще всего она чересчур горячо увлекалась людьми, чтобы не охладевать к ним, опять-таки чересчур! (Но что такое «чересчур» для поэта, как не естественное его состояние!) В слишком заоблачные выси она возносила их, чтобы не поддаваться искушению низвергнуть; слишком наряжала в качества и достоинства, которыми они должны были бы обладать, не видя тех, которыми они, быть может, обладали... Не женское это было свойство у нее! – ведь наряжала она *других,* а не себя и, по-мужски, просто была, а не слыла, выглядела, казалась. И в этой ее душевной, человеческой непринаряженности и незагримированности таилась одна из причин ее разминовений и разлук и – возникновения ее стихов – сейсмограмм внутренних потрясений.

Чем же была порождена дружба – столь длительная, без срывов и спадов, связывавшая именно этих двух поэтов?

Во-первых, поэтическому воображению Марины просто не было пищи в Бальмонте, который *уже* был, впрочем, как и сама Марина, *максимальным* выражением самого себя, собственных возможностей и невозможностей. Он, как и она, существовал в превосходной степени, к которой – не прибавишь.

Во-вторых, разностихийность, разномасштабность, разноглубинность их творческой сути была столь очевидна, что начисто исключала самую возможность столкновений: лучшего, большего, сильнейшего Марина требовала только от родственных ей поэтов.

Оба они были поэтами «милостью божьей», но Марина всегда стояла у кормила своего творчества и *владела* стихией стиха, в то время как Бальмонт был ей подвластен всецело.

Ни о ком – разве что о первых киноактерах! – не слагалось до революции столько легенд, сколько рождалось их о Бальмонте, баловне поэтической моды. И юной Цветаевой он казался существом мифическим, баснословным. Октябрь же свел ее с живым и беспомощным (пусть необычайно деятельным, но – не впрок!) человеком, чья звезда со скоростью воистину космической устремлялась от зенита к закату. Одного этого было достаточно, чтобы Марина тотчас же подставила плечо меркнувшей славе, обреченному дарованию, надвигающейся старости...

На себя легендарного Бальмонт и походил, и не походил; изысканная гортанность его речи, эффектность поз, горделивость осанки, заносчивость вздернутого подбородка были врожденными, не благоприобретенными; так он держался всегда, в любом положении и окружении, при любых обстоятельствах, до конца. Вместе с тем оказался он неожиданно рыхловат телом, не мускулист и приземист, с мягкими, совсем не такими определенными, как на портретах, чертами лица под очень высоким лбом – некая помесь испанского гранда с иереем сельского прихода; впрочем – гранд пересиливал.

Также неожиданными оказались и Бальмонтова простота, полнейшее отсутствие рисовки, и – отсутствие водянистости и цветистости в разговоре: сжатость, точность, острота речи. Говорил он отрывисто, как бы откусывая слова от фразы.

Наряду с почти уже старческой незащищенностью перед жизнью было у него беспечное, юношеское приятие ее такой, как она есть; легко обижаясь, обиды стряхивал с себя, как большой пес – дождевые капли.

Бальмонт принадлежал к тем, редчайшим, людям, с которыми взрослая Марина была на «ты» – вслух, а не в письмах, как, скажем, к Пастернаку, которого, в пору переписки с ним, почти не знала лично, или к Рильке, с которым не встречалась никогда. Чреватое в обиходе ненавидимым ею панибратством, «ты» было для нее (за исключением обращения к детям) вольностью и условностью чисто поэтической, но отнюдь не безусловностью прозаического просторечия. Перейдя на «ты» с Бальмонтом, Марина стала на «ты» и с его трудностями и неустройствами; помогать другому ей было всегда легче, чем себе; для других она – горы ворочала.

В первые годы революции Бальмонт и Марина выступали на одних и тех же литературных вечерах, встречались в одних и тех же домах. Очень часто бывали у большой приятельницы Марины – Татьяны Федоровны Скрябиной, вдовы композитора, красивой, печальной, грациозной женщины, у которой собирался кружок людей, прикосновенных к искусству. Из завсегдатаев-музыкантов больше всего запомнился С. Кусевицкий, любой разговор неуклонно переводивший на Скрябина. Дочерей композитора и Татьяны Федоровны звали, как нас с Мариной. После смерти матери в 1922 году, вместе с бабушкой-бельгийкой и младшей своей сестрой, Ариадна Скрябина, тогда подросток, выехала за границу. Двадцатилетие спустя она, мать троих детей, стала прославленной героиней французского Сопротивления и погибла с оружием в руках в схватке с гитлеровцами.

На наших глазах квартира Скрябина начала превращаться в музей; семья передала государству сперва кабинет композитора, в котором все оставалось, как при нем и на тех же местах, и в этой большой комнате с окнами, выходившими в дворовый палисадник с цветущими в нем до середины лета кустами «разбитых сердец», начали изредка появляться первые немногочисленные экскурсанты.

Почти всегда и почти всюду сопровождала Бальмонта его жена Елена, маленькое, худенькое, экзальтированное существо с огромными, редкостного фиалкового цвета глазами, всегда устремленными на мужа. Она, как негасимая лампадка у чудотворной иконы, все время теплилась и мерцала около него. Марина ходила с ней по очередям, впрягалась в мои детские саночки, чтобы помочь ей везти мороженую картошку или случайно подвернувшееся топливо; получив пайковую осьмушку махорки, отсыпала половину «Бальмонтику»; он набивал ею великолепную английскую трубку и блаженно дымил; иногда эту трубку они с Мариной, экономя табак, курили вдвоем, деля затяжки, как индейцы.

Жили Бальмонты в двух шагах от Скрябиных и неподалеку от нас, вблизи Арбата. Зайдешь к ним – Елена, вся в саже, копошится у сопротивляющейся печурки, Бальмонт пишет стихи. Зайдут Бальмонты к нам, Марина пишет стихи, Марина же и печку топит. Зайдешь к Скрябиным – там чисто, чинно и тепло, – может быть, потому, что стихов не пишет никто, а печи топит прислуга...

Когда Бальмонты собрались за границу – думалось, что ненадолго, оказалось – навсегда, мы провожали их дважды: один раз у Скрябиных, где всех нас угощали картошкой с перцем и настоящим чаем в безукоризненном фарфоре; все говорили трогательные слова, прощались и целовались; но на следующий день возникли какие-то неполадки с эстонской визой, и отъезд был ненадолго отложен. Окончательные проводы происходили в невыразимом ералаше: табачном дыму и самоварном угаре оставляемого Бальмонтами жилья, в сутолоке снимающегося с места цыганского табора. Было много провожающих. «Марина была самой веселой во всем обществе сидящих за этим столом. Рассказывала истории, сама смеялась и других смешила, и вообще была так весела, как будто бы хотела иссушить этим разлуку», – записала я тогда в свою тетрадочку.

Но смутно было у Марины на душе, когда она перекрестила Бальмонта в путь, оказавшийся без возврата.

В эмиграции, продлившейся для Марины с 1922 по 1939 год, *интенсивность* дружбы ее с Бальмонтом оставалась неизменной, хотя встречи возникали после значительных перерывов, вплоть до 30-х годов, когда Константин Дмитриевич и Елена, перестав пытать счастья в перемене мест и стран, горестно, как и мы, пристали к парижским пригородам. Тогда мы стали видеться чаще – особенно когда заболел Бальмонт.

Трудно вообразить, каким печальным было постепенное его угасание, какой воистину беспросветной – ибо помноженной на старость – нищета. Помогали им с Еленой многие, но всегда ненадежно и недостаточно. Люди обеспеченные помогать уставали, бедные – иссякали... И все это: постоянство нищеты, постоянство беспомощности – было окружено оскорбительным постоянством чужого, сытого, прочного – и к тому же нарядного – уклада и обихода. К витринам, мимо которых Марина проходила, искренне не замечая их, Бальмонт тянулся, как ребенок, и, как ребенка уговаривая, отвлекала его от них верная Елена.

Болезнь Бальмонта постепенно уводила его с поверхности так называемой жизни в глубь самого себя, он обитал в своей, ставшей бессловесной и невыразимой, невнятной другим Океании, в хаотическом прамире собственной поэзии.

В последний раз я видела его и Елену в Париже, зимой 1936/37 года, у друзей. Рыжая бальмонтовская грива поредела, поседела и от седины приобрела неземной розоватый оттенок. Взгляд утратил остроту, движения – точность. Голова осталась такой же непоклонной, как и прежде, хотя тяжелые морщины тянули лицо вниз, к земле. Он деловито и отчужденно ел. Елена сидела рядом, почти бестелесная, прямая, как посох, которым она и служила этому страннику.

– Марина, – сказал вдруг Бальмонт, царственно прерывая общий тихий разговор, – когда мы шли сюда, я увидел высокое дерево, круглое как облако, все звеневшее от птиц. Мне захотелось туда, к ним, на самую вершину, а она (жест в сторону Елены) – вцепилась в меня, не пустила!

– И правильно сделала, что не пустила, – ласково отозвалась Марина. – Ты ведь Жар-Птица, а на том дереве – просто птицы: воробьи, вороны. Они бы тебя заклевали...

«ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ

“Аля! Торопись, одевайся! Мы пойдем к Писателям, продавать книги”. Я быстро надеваю розовое бархатное платье, самое лучшее, что у нас есть, и свою детскую “тигровую” шубу: “Марина! Я готова! Даже синий платок приготовила!”

Марина выходит из большой холодной комнаты, неся в корзиночке книги. Самые легкие она отложила мне в платок, и мы идем. Смотрим по дороге на Никитские часы. “Алечка! Сейчас половина первого, и мы как раз вовремя придем!”

Подходим к Лавке писателей. Марина крестится, хотя церкви никакой нет. “Что Вы, Марина...” – “Аля, как ты думаешь, не слишком ли много я писателям книг тащу?” – “Нет, что Вы! Чем больше, тем лучше”. – “Ты думаешь?” – “Не думаю, а уверена!” – “Аля, я боюсь, что у меня из милости берут!” – “Марина! Они люди честные и всегда правду скажут. А если берут пока, то это от самого сердца”.

Марина воодушевляется, но не без некоторого страха входит. Она здоровается с галантностью и равнодушием.

Кто-то гладит меня по голове. Испуганно поднимаю глаза: передо мною стоит молодой человек с веселым лицом, это Осоргин, “итальянец” – он переводит с итальянского языка книги и работает в Лавке. “Ну, как, Аля, хочешь посмотреть картонные царства?” (Картонными царствами он называл

твердые листы с рисунками для вырезания и склеивания.) “Если можно, то покажите”.

Пока он вынимал “картонные царства”, мой взгляд упал на Бердяева. Это тоже был писатель, у него была такая болезнь, что он временами показывал язык. Он тоже работал в Лавке.

Бердяев быстро рассматривал и листал книги, которые ему приносили для продажи. “Да, да (язык). Да. Эта 1000 рублей. Эта – 5000! Ах, ах! Эта пьеса Луначарского – 6000!”

Разные люди и дети подходят к прилавкам, рассматривают и листают книги. Ко мне подошел крестьянин лет сорока, показал на детскую книжку, спросил: “Барышня, милая, грамотная, для Васютки эта книжка хороша будет?” – “А кто это, Васютка? Ваш сын?” – “Да мой племянник!” – “Я думаю, что да. Тут про двух богатырей – Еремея да Ивана”. – “А почем же она? Тыщонку стоит?” – “Нет, сто рублей!” И счастливый крестьянин удаляется, забрав книгу Васютке.

Вот откуда-то вынырнул черный Дживелегов. Он встал за прилавком и любезно стал спрашивать каждого, кто подходил, – что ему нужно. Тем, кто книги приносил на продажу и попадал к Дживелегову, было плохо. Он давал мало и пугал своей наружностью. Марина, идя в Лавку, всегда говорит: “Ах, только бы не попасть в лапы к Дживелегову!”

Сегодня у него на голове высокая меховая желтая шапка, и одет он в короткое женское пальто.

Марина смотрит книги и уже добралась до последней полки, как вдруг Осоргин спрашивает: “Марина Ивановна! Хотите посмотреть другие книги?” – “Как другие? Разве у вас есть еще что-нибудь, кроме этого?” – “Ну идем-идем, конечно, есть!” И он повел под руку изумленную Марину. Это помещение, куда мы шли, было раньше гостиницей. Вход был с улицы. Лестница гранитная, широкая. Осоргин весело рассказывает Марине про склад Лавки и про все, что касается книг.



Аля с Муром. Лето 1929 г.

Мы наконец входим в узкий лабиринт – коридор, и я с удивлением замечаю, что Осоргин вовсе в нем не путается. Он стучит в какую-то дверь, ему открывают двое мужчин. Они разбирали и перебирали книги и все время разговаривали. Я стала им помогать – ставить вывалившиеся книги

на полки и складывать в ящик доски. Марина с яростью ищет немецкие и французские книги, нужные ей, и передает их мне, чтобы я их откладывала. Вдруг я вижу из-под горы серых пыльных книг какую-то разрисованную, будто русское полотенце. Я говорю Марине, и мы стараемся вытащить эту красоту. Гора, обдавая нас пылью, падает и рассыпается. В руках у Марины – замечательный календарь с юношами и стариками, смотря по временам года. Отобрав несколько книг и календарь, мы идем в другую комнату. Там опять множество книг – больших и маленьких, альбомов, просто бумаг, обложек, рисунков, журналов, нот, азбук, громадных латинских книжищ, французских стихов и просто лоскутков со всего света.

Не найдя там ничего, мы идем через весь коридор к другому концу его. Там Осоргин отпирает потайную дверку и впускает нас. Это маленькая комната с громадным окном, из которого солнечный свет падает прямо на маленький письменный стол, к которому придвинуто огромное кресло, заваленное книгами. Осоргин в восторге говорит: "Это будет с весны мой летний кабинет!"

Осмотрев эти три комнаты, мы пошли опять вниз. Я побежала вперегонки с Мариной по лестнице.

Вот мы и на улице. Заходим на минутку в Лавку писателей, чтобы заплатить деньги. Календарь мне Осоргин подарил даром. Мы вышли на весеннюю улицу, где еще лежали груды снега.

Так Марина торгует книгами: продает меньше, а купит больше.

Март 1921»

В 1918 году, вскоре после августовского постановления о ликвидации частных периодических изданий, возникла в Москве эта первая и единственная в своем роде Лавка писателей – книготорговое предприятие на паях, которое

по замыслу его организаторов Б. Грифцова, А. Дживелегова, П. Муратова, М. Осоргина, В. Ходасевича, Б. Зайцева, Н. Бердяева и других должно было со временем преобразоваться в кооперативное издательство.

Вначале Лавка занимала небольшое, сильно поврежденное пулями недавнего Октября, помещеньице бывшей библиотеки в доме № 16 по Леонтьевскому переулку (унаследовав от своей предшественницы и книги и стеллажи), а к началу 1921 года перевелась на Большую Никитскую, в дом № 24.

Из лиц, не имевших отношения к литературе, там работал, кажется, только курьер; со всем остальным писатели справлялись сами: вели торговлю на комиссионных началах и за наличный расчет; разыскивали книги, утратившие хозяев, – и продавали их новым; отбирали наиболее редкие издания для передачи их Румянцевскому музею, чья библиотека легла в основу Ленинской; корпели над отчетностью; были лекторами и докладчиками в созданном ими при Лавке «Студио Итальяно», а также сортировщиками, грузчиками, оценщиками и кем только НЕ!

Помимо печатного слова в Лавке можно было приобрести и рукописное: автографы писателей и поэтов – самодельные книжки из разномастной – от веленевой до оберточной – бумаги, иногда иллюстрированные и переплетенные авторами; за время существования Лавки там было продано около двух сотен таких выпусков, в том числе и несколько Марининых, ничем не разукрашенных выпусков, крепко сшитых вощеной ниткой и аккуратно заполненных красными чернилами.

И в самом магазинчике этом, ненадежно и таинственно освещенном, и в слишком старинном запахе потревоженных книг, а главное, в обличье людей, стоявших за прилавками, в их одежде и речах было, как теперь вспоминается, нечто и от русского лубка, и от западного ренессанса, нечто странное и вневременное.

Однако Марину, которой самой было не занимать в странности и вневременности, эти качества «лавочников» не только не привлекали, но – отшатывали. *Ее* вневременность была *динамическим* несовпадением в шаг, то отставанием от него («...время, я не поспеваю!»), то стремительным обгоном («...либо единый вырвала Дар от богов – бег!»), тогда как дух – классицизма? академизма? – царивший в Лавке – со второго по пятый год Революции, – *противостоял* современности, хотя бы неколебимой *статичностью* своей, и ею-то и был чужд Марине.

В Лавку она приходила редко, в основном тощего приработка ради, – с книгами на продажу или с автографами на комиссию; «на огонек» не забегала, «Студию Итальяно» – своего рода клуб, конкурировавший с Дворцом Искусств, – не посещала. Несколько роднее ей был «Дворец», открытый всем литературным течениям, веяниям и ветрам той поры, – с разноголосицей его вечеров и дискуссий, равноправным и действенным участником которых она была.

«Лавочники» относились к Марине в общем терпимо – она к ним тоже – но, за исключением, пожалуй, Грифцова и Осоргина, не любили, она их, за тем же исключением, – тоже.

Самыми длительными и сомнительными были ее отношения с писателем Б. К. Зайцевым – дружелюбно-неприязненные в России, утратившие даже видимость дружелюбия за границей; и в самую лучшую пору этих отношений Марину безмерно раздражали зайцевские добродетели, а его – цветаевские недостатки, к которым, впрочем, он относил и все ее творчество. Он не прощал ей ее крайностей, она ему – его золотосерединности.

Отношения эти усложнялись тем, что Борис Константинович и его жена Вера много помогали Марине в 20-е годы; если Вера, с которой Марина искренне дружила, оказывала ей эту помощь со всей простотой и душевной щедростью,

то действия Бориса Константиновича несколько отдавали благотворительностью, втайне осуждающей чужое (чуждое!) неблагополучие и – въяве – снисходительной к нему.

Благотворительность же – во всех ее (унизительных) нюансах никогда не вызывала у Марины ни малейшего чувства благодарности, может быть потому, что она слишком часто бывала вынуждена прибегать к чужой помощи, в то время как помощь *должна* приходить сама.

Сверх того, Зайцев в эмиграции не простил Марине «большевизма» ее мужа, который расценил как ее собственный, к каковым обстоятельствам Вера Зайцева и дочь ее Наташа, моя подруга детства, отнеслись без предвзятости; с ними мы продолжали общаться поверх всех внутриэмигрантских частоколов...

Помню, читая какой-то зайцевский «подвал», Марина сказала: «Смесь сусальности со злобой». Про внешность Бориса Константиновича говорила: «Профиль – дантовский, а брюшко – обломовское!» – хотя Зайцев был довольно худощав.

Ни одной московской встречи Марины с другим основателем Лавки В. Ф. Ходасевичем я не помню, да и она о них не говорила. В эмиграции они – стойкий Классик и стремительный Неоромантик (оба – «пушкинисты», на свой, другому противоположный лад) – были на ножах, но в середине 30-х годов сблизились, распознав друг в друге поэтов. Сблизились по тому же самому закону, по которому сама поэзия, во всей ее разноголосице, обретает однажды единое русло. И оба были счастливы, что, как писал Ходасевич Марине, «встретились прижизненно, а не в каком-нибудь посмертном издании», как это слишком часто случается с поэтами, современниками лишь по календарю.

Главное же чудо их поздней дружбы заключалось в том, что, возникнув и перечеркнув былую вражду, она утвердилась

в пору самого великого одиночества Марины, самого великого противостояния эмиграции, в которую врос Ходасевич, но над которой сумел, хотя бы в этом случае, подняться во весь свой человеческий и поэтический рост.

Умер Ходасевич в июне 1939 года, вскоре после возвращения Цветаевой в СССР. О смерти его она не знала и не узнала, рассказывала мне о нем – живом и показывала переписанные ею в свою черновую тетрадь его стихи, начинавшиеся словами: «Был дом, как пещера».

Под ними была приписка: «Эти стихи могли бы быть *моими*. М. Ц.».

Страницы былого

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ

Это был обыкновенный пасмурный день московской запоздалой весны. Весны 1922 года. Серый будничный денек сквозь серые, с которой уж зимы не мытые окна.

Мы встали рано, Марина растопила «буржуйку», разогрела кашу для меня и свой кофейник; наскоро поели, Марина ушла в Наркоминдел, поручив моим заботам кастрюлю с варящимся супом – и печурку.

Я послонялась по комнатам; к тому времени их в нашем распоряжении оставалось три: проходная, полутемная, с одним лишь тусклым окном-фонарем в потолке, – столовая; маленькая, об одно окошко, глядящее во двор, – Маринина и большая, самая светлая, просторная и безликая, давно уже необитаемая, – детская. Верхний полуэтаж был заселен новыми жильцами – не помню их теперь, ибо тогда не осознала. В четвертой из нижних комнат – гостевой – обосновалась горбатая корсетница, злая и профессионально-слащавая, и ее двояковыпуклый манекен на высокой точеной подставке.

На нашей половине царил унылый предотъездный хаос, ничего общего не имевший с тем живым и неувядаемо-разнообразным, порой веселым беспорядком, в котором мы, лишившиеся прислуг и не обретшие их навыков, «содержали квартиру» – а она нас.

Теперь вещи, еще недавно обладавшие качествами и недостатками веса, формы, объема, цвета, вещи-необходимости и вещи-прихоти, вещи-привычки и вещи-обуза, наследственные, благоприобретенные, дареные, вещи добротные, праховые, случайные, удобные, нелепые, уютные, вещи-неизбежность, окружавшие нас, – все они, покидаемые нами, вдруг как бы утратили предметность и ту обиходную теплоту, которой наделяла их живая связь с людьми, служение им.

Что до тех вещей, что и вещами-то не назовешь, настолько они – дух: все любимые книги, Сережин портрет работы коктебельской художницы Магды Нахман, бабушкина музыкальная шкатулка, бюст раненой амазонки – провозвестницы грядущих цветаевских трагедий на античные темы, венчальная икона – «дедушкино благословение», стереоскоп с сотнями московских и крымских двойных фотографий, на которых (остановись, мгновенье!) – юность моих родителей и все возрасты их друзей, вся предгрозовая беспечность канувших лет! – детские Маринины тетрадки с первыми ее стихами (там: «Ты лети, мой конь ретивый, чрез поля и чрез луга и, помахивая гривой, отнеси меня – туда!» – так нравившийся мне маленькой Маринин младенческий Пегас – еще жеребенок!), с размашистыми, угловатыми ее рисунками (девочка падает с лестницы, внизу которой – предательское ведро с помоями!), с наклеенными альбомными виньетками, глянцевитыми и выпуклыми, – то все это и многое еще или – часть всего, по собственному выбору, должна была взять к себе мамина сестра Ася, в ту пору находившаяся в отъезде.

Багаж наш – сундучок с рукописями, чемодан, портплед, все – за исключением овальной густоплетеной корзины с «хозяйством» – было упаковано, затянуто ремнями и лежало у дверей столовой.

Что мы везли с собой? Вот сохранившийся в одной из материнских тетрадей –

> «Список (драгоценностей за границу):
> Карандашница с портретом Тучкова IV
> Чабровская чернильница с барабанщиком
> Тарелка со львом
> Сережин подстаканник
> Алин портрет
> Швейная коробка
> Янтарное ожерелье



Тарелка, которую Марина Ивановна всюду возила с собой. Ей представлялось, что гривастый лев, изображенный на тарелке, напоминает Волошина

(Алиной рукой):

Мои Валенки
Маринины сапоги
Красный кофейник
Синюю кружку новую
Примус, иголки для примуса
Бархатного льва».

(Бархатный лев – слегка обгоревший на первой в моей жизни елке и, в качестве погорельца, самый любимый из игрушечных моих зверей, лакированная карандашница с портретом юного полководца 1812 года, тяжелая фаянсовая тарелка с золотисто-коричневым рисунком, изображающим крадущегося сквозь растительный орнамент гривастого «царя зверей с лицом Макса Волошина», серебряный подстаканник с Сережиными инициалами – Маринин свадебный подарок – и янтарное ожерелье: грубо граненные, архаические «колеса» цвета темного пива, нанизанные на вощеную суровую нитку, – в голодный год выменянное Мариной, вместо хлеба, где-то под Рязанью, – были с Мариной неразлучны, странствовали вместе с ней по Германии, Чехии, Франции, а в 1939 году были вновь привезены ею в Россию, где и пропали в войну. Фарфоровая же чернильница с барабанщиком была когда-то кому-то мимоходом подарена.)

Еще с нами ехал любимый Маринин плюшевый плед, последний подарок ее отца; и кустарные игрушки – в подарок Эренбургу; и первые советские детские книжки – среди них замечательный букварь с картинками, на букву «И» был стишок: «Ильич железною метлой сметает нечисть с мостовой» – и нарисован Ленин в дворницком фартуке с огромным помелом в руках, а из-под помела летят в канаву раскоряченные фигурки-инфузории: цари, генералы, капиталисты.

Одежды, обуви почти не осталось: все было сношено, распродано, роздано, поэтому носильных вещей везли совсем

мало, вот только мои новые (весной! за границу!) Валенки с большой буквы, так и внесенные в «список драгоценностей», да Маринины разноцветные, узорные казанские сапожки!

Я подкладывала дрова в печурку, доливала выкипавший суп, тыкала вилкой в мясо: конина была жесткой и все не разваривалась.

Чтобы развеселить Марину, такую в последнее время озабоченную и усталую, я решила сделать ей «сюрприз» – сунула в кастрюлю свою куколку-пищалку из красной, под цвет конины, резины, представляя себе, как мама выловит ее половником и как будет смешно…

Раздался стук в дверь; нет, не Марина! – пришли попрощаться Майя Кудашева, одна из недавних – и на всю жизнь! – волошинских питомиц и недолгосрочных Марининых приятельниц, вскоре уехавшая во Францию и впоследствии ставшая женой Ромена Роллана, и Маруся Гринева, вторая жена Асиного мужа Бориса Трухачева, со своей маленькой дочкой Ириной, приходившейся сестрой Асиному сыну, а мне – никем, к неизменному моему удивлению.

Стараясь развлечь посетительниц, я что-то рассказывала им, показывала книги, но Майя вскоре соскучилась и ушла, не дождавшись Марины. Наконец раздался ее стук – резкий, нетерпеливый – я бросилась открывать. Марина вошла стремительным шагом, сжатая, напряженная. «Ах, Аля, мне не до Май! – ответила она на мой “доклад”. – Поезд – в половине шестого. Здравствуйте, Маруся! Скорее обедать!»

Мы похлебали супа, охлажденного утренней кашей. Маруся говорила трогательные, проникновенные слова, разбивавшиеся о Маринину сосредоточенность, просила передать Сереженьке, что помнит его и любит, Марина отвечала отрывисто. Когда, доставая черпаком мясо, прихватила и мой «сюрприз», не рассмеялась, разглядев его, а гневно отбросила, сказав: «Какая глупость!» Шутка моя рассмешила одну лишь

Марусю, дочка же ее, сочувствуя вареной кукле, сперва нахмурилась, а потом, отодвинув тарелку, заревела во весь голос, обстоятельно и надолго.

Марина отправила меня к Скрябиным за жившим там Чабровым, велела привести его немедленно, и я помчалась наизусть знакомыми переулками – Борисоглебским и Николо-Песковским, через Собачью площадку, мимо фонтана с тихо журчавшими жгутиками струй, лившихся из плоских львиных морд, мимо сонных особнячков и круглых, еще почти не оперившихся деревьев, и все это, хоть и видимое моими глазами, было уже не мое.

У Скрябиных наскоро расцеловалась с Марой, еще вчера подругой, а сегодня – тоже по-странному не моей; Чабров, ждавший Марининого зова, был наготове, мы с ним тотчас отправились к нам. Гринева с Ириной уже ушли. Марина, укладывавшая «хозяйство» в корзину, просияла навстречу Чаброву, его достоверной готовности помочь.

(О нем Марина рассказывала в – недавнем тогда – мартовском письме Эренбургу: «Чабров – мой приятель: умный, острый, впивающийся в комический бок вещей... прекрасно понимающий стихи, очень причудливый, любящий всегда самое неожиданное и всегда до страсти! Друг покойного Скрябина.

Захожу к нему... он как раз топит печку, пьем кофе, взаимоиздеваемся над нашими отъездами (– Ну, как Ваш? – А Ваш? – как?), никогда не говорим всерьез... Но он – дворянин, умеющий при необходимости жить изнеженной жизнью, а я? кто я? – даже не богема.

У него памятное лицо: глаза как дыры, голодные и горячие, но не тем (мужским) – бесовским? жаром; отливающий лоб и оскал островитянина...»)

Я, налив нашему последнему гостю последний суп, почему-то взялась перемывать оставляемую посуду. Наскоро поев,

Чабров отправился за извозчиком. Скоро вернулся, сказал: «Все». Мы заторопились, одеваясь, проверяя в который раз – не забыть бы чего-то самого важного! – и, пытаясь сосредоточиться перед дорогой, по обряду присели, кто на что, погрузившись в секундное неподвижное молчание. «Ну – с богом!» – сказала Марина, и, схватившись за вещи, мы потащили их вниз.

Во дворе ждал извозчик – лошадь была в яблоках и поэтому выглядела нарядной, что меня обрадовало. Разместили в ногах багаж, уселись сами. Чабров должен был отправиться вслед на другом извозчике – пролетка вмещала только двух седоков.

«Ну, трогай!»

Когда проезжали белую церковку Бориса и Глеба, Марина сказала: «Перекрестись, Аля!» – и перекрестилась сама. Так и крестилась всю дорогу на каждую церковь, прощаясь с Москвой.

На Кудринской площади заметили время: четыре часа. «Аля! Не опоздаем?» – «Нет, Марина!»

Молчим, смотрим по сторонам, на такие привычные, а нынче неузнаваемые, утекающие, как во сне, улицы, улочки, переулки, бледно и ровно освещенные однообразной пасмурностью дня, на редких прохожих, на встречные повозки, на все, что – вот оно, рукой подать! и уже позади.

Третья Мещанская. «Аля, опаздываем!» – «Что Вы, Марина!»

Наконец Виндавский (теперь Рижский) вокзал, продолговатое, со множеством торжественных окон здание, кажущееся мне похожим на какой-нибудь подмосковный дворец, если убрать всех пассажиров. Носильщик подхватывает наш скромный багаж; подходим к коменданту, который, проверив Маринины документы, выдает пропуск.

Наша платформа – немноголюдна и как-то немногословна; ни шума, ни давки, хотя поезд уже подан.

Возле вагона, среди кучки провожающих – не нас! – знакомое лицо милой молодой барышни, секретарши Наркоминдела, помогавшей Марине во всех предотъездных формальностях и премудростях. Она улыбается нам, протискивается с нами, вслед за носильщиком, в купе, очень тесное и очень полированное, где уже сидят две женщины, возле одной из них, скромно одетой, гладкопричесанной, – костыли; вижу, что у нее ампутирована нога... Выходим на перрон. «А кто эта дама с костылями?» – спрашиваю я у секретарши. «Дама? Дама эта работает в ЧК. Ногу она потеряла на гражданской войне, а теперь отправляется на лечение за границу, там ей и ногу искусственную сделают, совсем как настоящую. Мужчине без ноги трудно, а женщине и совсем невозможно...»

Тут появляется сияющий Чабров, в руках у него продолговатый, красиво завернутый пакет, который он протягивает мне: «Это вам на дорогу, развернешь, когда поезд тронется!»

Взрослые разговаривают, я лазаю в вагон и из вагона, раздираемая тревогой – не уехать бы без мамы! или – не остаться бы, зазевавшись, на платформе тоже без мамы...

Первый звонок. Впрочем, это только так называется – звонок! – а на самом деле кто-то, мне невидимый, ударил в роковой колокол, и звук этот, отрывающий уезжающих от остающихся, на мгновение цепенящий, как огромный ледяной глоток, заставляет всех очнуться от длящести, длимости расставания, провозглашая его разлукой.

Последние поцелуи, объятия, напутствия, быстро утихомиривающаяся последняя суета у вагонных ступенек, и вот уже на перроне – только провожающие, а мы топчемся в узком коридорчике, в несколько рук дергаем оконные ремни, чтобы еще раз, выглянув наружу, что-то сказать, что-то услышать, что-то *успеть*...

Чабров, привстав на цыпочки, протягивает записку: «Только что узнал: в вашем вагоне едет Айседора Дункан!»

Третий звонок. Поезд трогается.

Разворачиваю чабровский пакет – там коробка конфет с изображенной на ней брюнеткой в нэповском стиле. Со словами «как трогательно» Марина у меня эту коробку выхватывает, прежде чем успеваю сунуть туда нос. «Отвезем папе!»

Так мы и уехали из Москвы: быстро, неприметно, словно вдруг сойдя на нет.

БЕРЛИН

Путь от Москвы до Берлина продлился более четырех суток, включая день, проведенный в Риге в ожидании берлинского поезда. В вагоне мы скоро узнали, что Айседора Дункан, которую посулил нам Чабров, никакая не Айседора, а всего лишь ее компаньонка, едущая ей вслед и сопровождающая багаж. Что до багажа прославленной танцовщицы, то он состоял из восьми увесистых сундуков, содержимое которых неизменно озадачивало таможенников всех национальностей: то была утварь уходящей России, не расписная, нарядная, и не древняя, музейная, а просто всяческий лом и рухлядь: треснутые долбленые корыта, рассохшиеся бадейки, комолые ухваты, дырявые лукошки, битые крынки и чугунки и прочее тому подобное, не подобное уже ничему; может быть – память о крестьянских истоках Есенина...

В Риге один из наших попутчиков, невысокий, очень скромный молодой человек, оказавшийся секретарем Чичерина, проводил нас в советское представительство, где нас, как и других «транзитных», охотно приютили от поезда до поезда, и поводил по первому нерусскому городу, мною увиденному. Удивительными показались резкие, сухопарые силуэты старинных домов, крытых задымленной черепицей; напряженная, нечеловеческая в своей одухотворенности готика соборов; грубоватое изящество и простодушный разнобой вывесок: всех этих ключей, кренделей, сапог со шпорами,

перчаток, пивных кружек и головных уборов из кованого железа, прилаженных по вертикали из-за узости и тесноты склеенных друг с другом лавчонок и магазинчиков; не менее, но иначе, удивляла массивность, обстоятельность современных зданий деловых кварталов, в чьей прозаичности и сплошном здравом смысле совершенно терялась, растворялась манерность, даже шаловливость стиля «модерн», в котором они были возведены.

Сады, скверы, парки зеленели вовсю – хорошо организованной, живописной, холеной зеленью...

Марине плохо смотрелось на все это; сдерживаемая озабоченность, состояние внутреннего озноба не покидали ее; сквозь строй домов, витрин, людей она проходила как сквозь сон, крепко держа меня за руку; ничто видимое не привлекало ее внимания; а ведь она любила – с издавна, с детских еще лет – многоярусный, готический ландшафт западных городов и, не менее, чем новым видам, радовалась узнаванию уже бывшего.

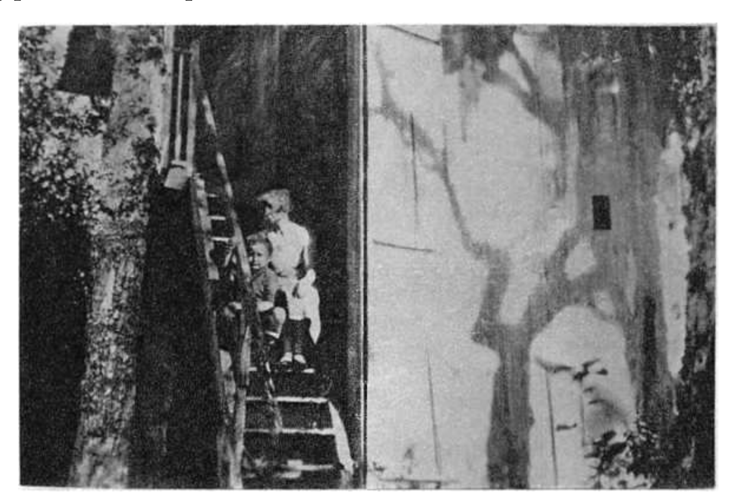
Пообедали мы в каком-то сиротливом полуподвальчике, чем-то едва мясным и сильно гороховым; Марина выпила чашку кофе...

Вечером, когда уже смеркалось, отправились на вокзал, взяли в камере хранения вещи, сели в поезд на Берлин – вагон был теперь не спальный, места – сидячие; именно тут Марина сомкнула глаза впервые за все путешествие, а то, как ни проснешься ночью, все видишь ее бессонный профиль на фоне черного окна, за которым, не отставая, катилась большая белая луна.

Утром за окнами вагона пошли перелистываться пейзажи Германии, такие же блестящие и причудливо-аккуратные, как на иллюстрациях к детским книжкам моей бабушки Марии Александровны, целый шкаф которых остался в моей комнате в Москве. Так же по-странному, по-старинному были

причудливы и опрятны наряды крестьян (которых хотелось назвать «поселянами»), работавших на своих хорошо разграфленных полях, огородах, садах, – и сами поля, фермы, деревни, городки, проплывавшие мимо нас и вновь возникавшие за поворотом.

Аккуратность! аккуратность – вот чем потрясали воображение города Германии после такой привычной глазам и сердцу великой неприбранности тогдашней Москвы, со всеми ее территориальными привольями и урбанистическими своевольями, со всей невыразимой гармоничностью ее архитектурных несообразностей.



Марина Ивановна с Муром. Лето 1929 г.

(Пятнадцать лет спустя, в 1937 году, возвращаясь на родину, я вновь переглядела – в обратном направлении! – те же, но совсем иные, мимолетные ландшафты и города Германии. Уже обесснеженные, но еще не раскрашенные весной, лишенные рельефа под низким, смутным небом, они не напоминали больше картинок из бабушкиных сказок. Все одушевленное, разноцветное, жилое и живое обернулось железом и жестью; исчезли игрушечные фигурки «поселян»,

замененные «солдатиками», отнюдь не оловянными, в траурной форме похоронных дел мастеров. На ратушах и отдельных зданиях, на маленьких станциях и больших вокзалах висели некими карантинными знаками, предупреждающими об эпидемии, флаги с черной свастикой на белом фоне. Что до «аккуратности», то она была доведена до того предела, за которым начинается безумие.)

Наконец поезд дотянулся до Берлина, постоял на трех его вокзалах – Александербурге, Зоо, Фридрихерсбурге, – на четвертом, Шарлоттенбурге, мы сошли; одетый в зеленое носильщик легко дотащил наши пожитки до извозчика.

День – 15 мая 1922 года – был солнечный; большой, благопристойный, строго-нарядный город разворачивал перед нами широкие улицы и массивные дома в массивном убранстве плюща, увивавшего стены и балконы.

Прагерплац с пансионом, в котором жили, вернее – ночевали Эренбурги, и с кафе «Прагердиле», в котором они проводили дни, оказалась маленькой уютной площадью, даже площадкой, вроде нашей московской Собачьей, только на чужеземный лад.

Случилось так, что, пока мы неуверенно разглядывали двери пансиона, они распахнулись и на пороге показался – в круглой шляпе с жесткой тульей – сам Эренбург с неизменной трубкой в зубах; едва не столкнувшись, они с Мариной огорошенно посмотрели друг на друга, рассмеялись, обнялись. «Ну, здравствуйте, Илья Григорьевич! Вот и мы...» – «Как же вы доехали? Все в порядке? Впрочем, расспросы будут потом, а теперь надо взять вещи!»

Поднявшись на лифте, мы вскоре оказались в большой, темноватой, заваленной книгами эренбурговской комнате, которую он нам тут же предоставил в полное распоряжение и которую мы занимали вплоть до его летнего отъезда в приморское местечко Бинг-ам-Рюген.

...Дружба Марины с Эренбургом была непродолжительной, как большинство ее дружб – личных, не эпистолярных, – но куда более *обоюдной*, чем многие иные. Тяготея к силе, Марина, тем не менее, нередко влеклась к слабости, как к некоему временному руслу собственных паводков и переизбытков.

Перенасыщая своими щедротами хилые души, она открывала в них собственные же клады, дивилась, радовалась им и восславляла их – но донышко было близко, всегда слишком близко; отношения пересыхали – оставались стихи, уже забывшие об источнике, их породившем...

Справедливости ради надо сказать, что некоторые из этих душ были хилыми лишь по сравнению с Марининой мощью; что, в *своем* (общепринятом) измерении, они оказывались порою не столь уж мелководными – но что до того было самой Марине с ее «безмерностью в мире мер»!

Дружба Марины с Эренбургом была дружбой двух сил – причем взаимонепроницаемых, или почти. Марине был чужд Эренбургов рационализм, наличествовавший даже в фантастике, публицистическая широкоохватность его творчества, уже определившаяся в 20-е годы, как ему – космическая камерность ее лирики, «простонародность» (просто – *народность!)* ее «Царь-Девицы», и вообще – рассийское, былинное, богатырское начало в ее поэзии, вплоть до самой рассийскости ее языка, к которой он оставался уважительно-глух всю свою жизнь.

В дальнейшем взаимная неподвлиянность (не говоря уж об обстоятельствах) разделила их, а в начале – только помогла дружбе стать именно дружбой. Отношение того, давнего, Эренбурга к той, давней, Цветаевой было поистине товарищеским, действенным, ничего не требующим взамен, исполненным настоящей заботливости и удивительной мягкости.

Я не оговорилась – ибо была такая пора в творческом и человеческом становлении Эренбурга, когда нарастающей непримиримости его приводилось оборачиваться мягкостью, ироничности – нежностью, несмотря на то, что перо его и тогда уже превращалось в ланцет, голос становился голосом трибуна, а мысль, отталкиваясь от частного, старалась охватить общечеловеческое...

В его воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», в той части их, которая касается Марины, от былой Эренбурговой нежности не осталось следа: вероятно, память о подобной «окраске» отношений скорее всего рассеивается временем.

Первого появления Эренбурга у нас в Борисоглебском переулке (году в 1917–18, судя по написанному им) – я не помню; знаю лишь, что в пятилетием возрасте я, естественно, не была еще знакома с любовной лирикой Блока и что в большой, нескладной, но уютной квартире нашей еще не наблюдалось того кораблекрушительного беспорядка, которым она поражала всех, в нее входивших, в начале 20-х годов.

Именно тогда Илья Григорьевич приехал из Крыма и пришел к Марине с известиями о Максе Волошине и его матери – моей крестной, и в эренбурговском стремительном доброжелательстве к нам обеим просвечивала еще и волошинская память, волошинская тревога о всей нашей цветаевско-эфроновской семье, которую он так (издавна!) любил и которая отвечала ему такой взаимностью.

В 1921 году, уезжая в заграничную командировку, Эренбург обещал Марине разыскать ее мужа, к тому времени оказавшегося в эмиграции, передать ему наши письма, фотографии, ее последние стихи.

В детских моих тетрадях остались записи февраля – марта 1921 года, озаглавленные «Золотое сердце Эренбурга»; вот несколько цитат из них: «Я больна, сижу в кровати, Марина готовит. Короткий и четкий стук в дверь. Кто-то входит.

“Здравствуйте, Марина Ивановна!” Марина здоровается и подает ему стул. – “Да... Вы *тут* живете? В другой комнате было *лучше*!” Я понимаю, что это Эренбург. “Ну, тут у вас странно! Столько ненужных вещей!”

Марина сидит за столом, смеется. “Илья Григорьевич, простите, я сейчас должна переписывать. Я как раз переписываю стихи для Вас”...

Эренбург предлагает почитать свой “портрет Марины”.

Она очень кротко слушала: “Маленький, узкий переулок, два больших дерева напротив подъезда, маленькая лесенка с шаткими перилами. Множество ненужных вещей, как у “тетушки” или “антиквара”. Она похожа на школьницу” и т. п. Потом он читал портрет Брюсова: “Низкая широкая комната с множеством картин, изображающих Сухаревку. Сам хозяин – неприветливый “русский американец”... все время разбирающий граммофон и разные машины”... Потом я показала Эренбургу мои рисунки. Он хвалил и странно спрашивал объяснения... Скоро он ушел»...

«Мы пошли [к Эренбургам] в слякоть и грязь, и лужи были настоящие. Хитрые перекрестные переулки вели к “Княжьему двору” [гостиница-общежитие, в которой жили Эренбурги по возвращении из Крыма]... Поднимаемся наверх, по гранитным ступеням, в комнату № 49. Стучим. – “Войдите”. Боже мой, Илья Григорьевич и столько людей! Целых восемь человек! Эренбург в очень веселом настроении и дает мне целую груду им нарисованных картинок. Я стою на коленях перед стулом и любуюсь. “Рай и Ад”. На границе Рая и Ада большой золотой престол. На нем сидит Бог. Перед ним ходят мужчины, женщины, дети и собаки. А в Аду в тазах с кипящей смолой сидят грешники и плачут. Черти с красными усами и зелеными глазами бегают с головешками. Потом есть картинка с другим Богом, который стоит с руками по бокам... Над его головой дама с громадными ногами

и с большой розой в шивороте... Третья картина названа “Извозчик и его лошадь”. Вокруг них имажинистские миры: летящие дома, стоящие птицы, все наоборот. А посередине стоит старик-извозчик со своей лошадью... Потом еще большая картинка: Дева Мария в очаровательном желтом платье с черными звездами... Тут же стоит журавль, поднявши свой клюв на луну, а в это время змея обвивается вокруг его ног...

Посмотрев, я начала наблюдать людей. Вот какая-то – со злым личиком, в белой кофточке, смотрит через плечо Эренбургу, водит скрипящим ногтем по картине и говорит, что сюда надо вставить кусочек красной с синим краски и будет замечательно. Вот на диване сидит женщина в буклях... и усердно пьет чай. Вот жена Эренбурга – она в “модном дамском платье”. У нее короткие черные волосы и тонкие сквозные пальцы с блестящими стеклянными ногтями... Эренбург подсел ко мне и спрашивает: “Ну как, Аля, понравились тебе мои картинки?” – “О да, Илья Григорьевич!” Он, подумав немного, достал богоматерь в золотом платье... схватив карандаш, начал писать: “Але – Божью Матерь золотое сердце. Илья Эренбург. ...Радуйся, Мария, упованье наше, радуйся, Мария, сердце потерявшая!” Я его поблагодарила и подала картинку Марине, она полюбовалась и положила ее в мою книжку “Детские годы Багрова-внука”, Аксакова... Кончив разговаривать с другими, Марина сказала, что надо уходить, но Эренбург остановил нас. Постояв с минуточку, он возвратился с маленькой записной книжечкой и прочел несколько стихов... Я, взобравшись к нему на колени, сказала: “Милый Илья Григорьевич, если вы увидите папу, передайте ему, что мы только и живем им, и передайте ему, пожалуйста, от нас приветствия и все хвалебные слова, которые только знаете...” Он посмотрел на меня повеселевшими глазами и сказал: “О, я сделаю это обязательно!..” И с грустной лучезарностью простился с нами».

...Приехав за границу, Эренбург разыскал Сережу. 1 июля 1921 года, в десять часов вечера Марина получила первое от него письмо. «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости...

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать – мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы...

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю – сердце замирает – страшно – ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен – не буду об этом...

Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать...

О себе писать трудно. Все годы, что не с Вами, прожиты, как во сне. Жизнь моя делится на "до" и "после", и "после" – страшный сон, рад бы проснуться, да нельзя...

Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть его у меня украли с вещами) – Вы будете *все* знать...

Меня ждет Ваше письмо – Илья Григорьевич не хотел мне его пересылать, не получив моего точного адреса. Буду ждать его с трепетом. Последнее письмо от Вас имел два года тому назад. После этого – ничего...

Сейчас комната, в которой живу, полна народу. Шумят, разговаривают... Как только получу ответ от Ильи Григорьевича с Вашим письмом – напишу подробно, а это хочу просто отправить сейчас же, чтобы Вы поскорее получили. Илья Григорьевич пишет, что Вы живете все там же. Мне приятно, что могу себе представить окружающую Вас обстановку.

...Что сказать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, и каждый приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании. Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем...

Надеюсь, что Илья Григорьевич вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете...

Простите, радость моя, за смятенность письма...

Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля – последнее и самое дорогое, что у меня есть.

Храни Вас Бог.

Ваш С.»

Приписка мне: «Родная моя девочка! Я получил письмо от И. Г., он пишет, что видел тебя, и передал мне те слова, что ты просила сказать мне от твоего имени. Спасибо, радость моя, – вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой. Я верю – мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем, чтобы больше никогда не расставаться...

Благословляю и целую тебя крепко.

Твой папа»

«С сегодняшнего дня – жизнь. Впервые живу» – записала Марина в тетради, и тут же: «Письмо к С. – Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Последние вести о Вас: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. – Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам...» (оборвано).

Чуть погодя – письмо к Ахматовой: «Моя Радость! Жизнь сложна. Рвусь, потому что знаю, что жив – 1 июля письмо, первое после двух лет молчания. Рвусь – и весь день

обслуживаю чужих. Не могу жить без трудностей – не оправдана. Чувство круговой поруки: я – здесь – другим, кто-то – там – ему... Чужие жизни, которые нужно устраивать, ибо другие – еще беспомощнее (я, по крайней мере, веселюсь!) – целый день чужая жизнь, где я, может быть, и не так уж необходима...

Пишу урывками – как награда. Стихи – роскошь. Вечное чувство, что не вправе. И – вопреки всему – благодаря всему – веселье, только не совсем такое простое, как кажется...»

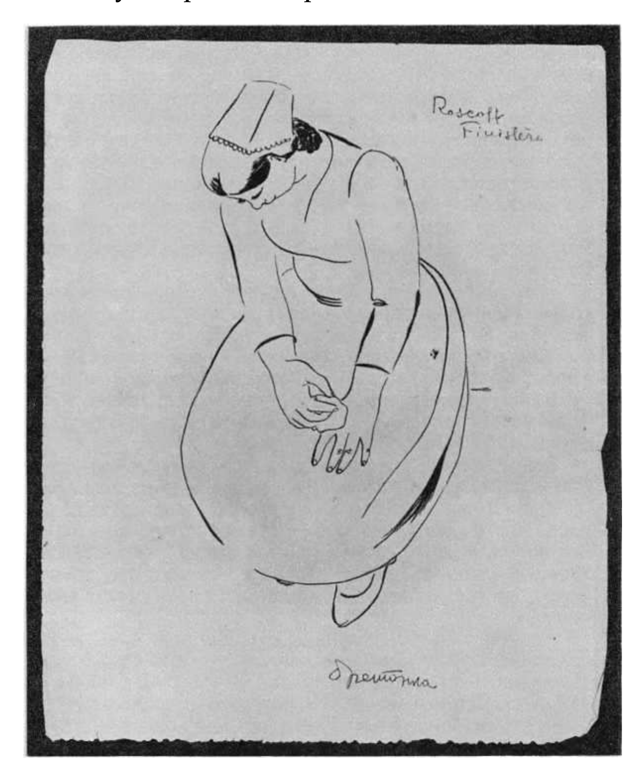
Кто же были эти «чужие»? Чаще всего – действительно чужие, мимохожие люди, случайно прибивавшиеся к Марининому порогу, ютившиеся у нас, как на полустанке, отогревавшиеся у нашей печурки, подкреплявшиеся (но не насыщавшиеся!) нашим хлебом и нашей кашей; некоторых, беспомощных до святости, «поставляла» Марине ее сестра Ася, жившая тогда в Крыму; некоторые прибивались сами; некоторых сама Марина, обладавшая безошибочным чутьем на (даже сокровенные) нужду физическую и беспризорность душевную, подбирала и подпирала плечом... Отдышавшись, чужие уходили, приставали к более надежным берегам; другие же, редчайшие одиночки, уходя – все равно оставались *своими,* пусть только в памяти.

Ну а стихи – стихи писались, несмотря ни на что и благодаря всему, будучи не «роскошью», и даже не насущностью, а – *неизбежностью.* Писались сквозь все препятствия и отвлечения – их Марина умела отстранять, раздвигать, как раздвигала посторонние предметы, нараставшие на рабочем ее столе, чтобы освободить место для локтей и тетради.

Со дня получения письма от Сережи, письма, определившего ее решение ехать к мужу, – и до дня отъезда Мариной было создано свыше ста стихотворений, поэма «Переулочки», план и первая глава поэмы «Молодец», главы первого варианта поэмы «Егорушка», целое действие – к сожалению,

утраченное – пьесы, условно названной «Давид», оставшейся незавершенной, множество дневниковых записей, не считая работы над увозимым с собой архивом, над рукописями, сдаваемыми в печать в Москве, и десятков и десятков писем, являвших собой в большинстве своем подлинные образцы цветаевской прозы.

По роковому стечению обстоятельств, Марина покидала Россию именно тогда, когда Россия, вместе с революцией ворвавшаяся в ее творчество, внедрилась в нее всей своей много- и разно-голосицей, всей народностью своих говоров, речений и просторечий, величальных песен, надгробных плачей, заговоров от сглазу и прочих ворожб.



В августе 1929 года Ариадна гостит у приятельницы в Бретони и там делает зарисовки с натуры

Воспитанная в традициях конца века, выросшая под надзором бонн, учившаяся в швейцарских пансионах, воспринявшая языки французский и немецкий наравне с родным, Марина, естественно, в совершенстве владела русским *литературным* языком, языком интеллигенции, на нем, в юности, и писала, зачастую оттачивая его на грациозный ростановский лад или придавая ему гётевскую торжественность; но все это были языковые «вершки», а не «корешки», корешки же, сама народная речь таилась, до поры до времени, опять-таки в *литературе*, услышанная, отраженная и донесенная другими – классиками и современниками.

«Горожанка» и «дачница» в детские свои и юношеские годы, Марина не соприкасалась с жизнью народа, с речью его, ни в деревне, которой она не знала, ни на фабричных окраинах, куда не ступала ее нога. Немногословно было «простонародье» – прислуги, сторожа, дворники, прачки, домовые портнихи – немногословно и почтительно; казалось, немногословна и почтительна была сама дореволюционная Москва...

Все изменилось в одно мгновение, в то самое, когда грянула «музыка революции», когда ранее не слышимое Мариной и невнятное ей обрело голос, силу которого она восприняла и вобрала в себя с тех пор и навсегда. (Пройдет время, и сама она, все та же и далеко уже не та Цветаева, в известном своем письме к Маяковскому провозгласит не только *силу*, но и *правду* России революционной.)

Именно тогда, когда улицы и площади Москвы заполнились невиданными, немыслимыми доселе хозяевами и зазвучали неслыханными доселе речами, Маринины тетради насытились записями разговоров, рассказов, реплик, подхваченных ею на лету, везде и всюду: в детских распределителях и театрах, на вокзалах, в трамваях и на толкучках, в учреждениях и на церковных папертях, на бульварах и в очередях.

Именно тогда, захваченная и растревоженная новыми для себя голосами, Марина прильнула к фольклорным источникам своих поэм, как к истокам этих голосов, и в Афанасьевских сборниках открыла для себя уже теперь не детские сказки, а принявшую их обличие зашифрованную летопись былых судеб и былых событий, вечных страстей и подвигов человеческих, летопись трагедий и надежд на избавительные чудеса...

Именно тогда постепенно ушло, вытеснилось из цветаевского творчества грациозное «шопеновское» начало, в последний раз расцветшее циклом пьес, ею самой впоследствии названным «Романтика»; расставаясь с Музой, как с юностью, Марина вручила свою участь поэта неподкупному своему, беспощадному, одинокому Гению.

Не Муза, не Муза, – не бренные узы
Родства, – не твои путы,
О Дружба! – Не женской рукой, – лютой!
Затянут на мне –
Узел...

В пансионе на Прагерплац жили – семьями и в одиночку – литераторы, издатели и окололитературные деятели всех мастей, недавно прибывшие из России, а кафе «Прагердиле» – перекресток, на котором встречались все, – являлось неким скромным провозвестником всех будущих Монпарнасов эмиграции; за его столиками, как ни в чем не бывало, «решались судьбы» мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира; заключались издательские договора; завязывались и развязывались деловые и личные отношения; вспыхивали ссоры и наступали перемирия – за чашкой послевоенного эрзац-кофе или за кружкой пива; Эренбург пил пиво, и я с ним наравне, вплоть до приезда моего отца, который, ужаснувшись, твердой рукой перевел меня на лимонад.

Марина скоро перезнакомилась со всеми, а подружилась, как всегда, с немногими и ненадолго – с художницей Любой Козинцевой, женой Эренбурга, с другой художницей, ученицей Билибина, Людмилой Чириковой (дочерью известного в свое время писателя), с молодым издателем Геликоном (ибо в «Прагердиле» издателей величали именами издательств, а не наоборот!).

О Геликоне и его «конторе» я записала тогда: «Контора его – для него – весь мир. Стол, который стоит у окна с толстым стеклом и на котором разложены все издания Геликона – чужих изданий на своем столе он не терпит; три шкафа с книгами; над ними – китайский божок. За стеной, в маленькой комнатке, стучат на машинках сквозная барышня-секретарь и иногда молодой человек разбойного вида – сам себя печатающий Эренбург.

Посещают Геликона самые разнообразные личности: какой-то старый господин с часами на обрывке собачьей цепи (золотая цепочка продана!), худые унылые вдовы писателей, приходящие в надежде на то, что Геликон будет выдавать им пособие за мужей; судорожно пляшущие на стуле литераторы, надеющиеся облагодетельствовать Геликона переводом своей же книги на испанский язык... Все, что никому понадобиться не может, приходит (на двух ногах) и притаскивается (в портфелях) к Геликону, он старается никого не обидеть, но все ругаются, что он мало платит.

Геликон всегда разрываем на две части – бытом и душой. Быт – это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться – души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не дает.

Когда Марина заходит в его контору, она – как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека

до себя, не опускаясь к нему. В Марининой дружбе нет баюканья и вталкиванья в люльку. Она *выталкивает* из люльки даже ребенка, с которым говорит, причем божественно уверена, что баюкает его – а от таких баюканий может и не поздоровиться. Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока – Северный полюс, и так же заманчива. От ее слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжелых дел есть просвет и что-то не повседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что все Маринино существо – это сдержанность и сжатые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка».

Должна сказать, что, прочтя в моем дневничке эту – и еще некоторые – характеристики «взрослых», Марина призадумалась, найдя их, для девочки неполных десяти лет, чересчур проницательными и к тому же фамильярными, без надлежащего соблюдения дистанции между младшим возрастом и старшим; призадумавшись же – немедленно водворила меня в детство, поручив заботам весьма необаятельной гувернантки, пасшей четырехлетнего сына Геликона, Женю. И стали мы с Женей пастись целыми днями в берлинских скверах и парках, а тетради мои покорно запестрели зарисовками Геликона-младшего, мальчика как мальчика.

Только добрый Эренбург иногда вновь перетягивал меня в мир взрослых, вернее – в свой собственный, читал отрывки из «Тринадцати трубок» и даже «подарил» ту из них, в которой бегемот съедает миссионера. (Меня, растолстевшую и подросшую, Эренбург прозвал «Бегемотом».) Порой мы бродили по улицам, любуясь на собак, особенно на тех, запряженных в тележки, которые развозили молоко. «Собачья жизнь у человека, – объяснял мне Эренбург, – это когда он не может завести себе собаку...»

Послевоенный Берлин, резко благоухавший апельсинами, шоколадом, хорошим табаком, выглядел сытым, комфортабельным, самодовольным, но – страдал от инфляции и жил на режиме удушающей экономии. Цены вздувались день ото дня. За табльдотом нашего пансиона нас кормили все уменьшавшимися порциями редиски, овсянки, лапши, впрочем, безупречно сервированными. Что до геликоновских гонораров, то они и впрямь были миниатюрны, как, впрочем, и тиражи, и форматы выпускаемых им изящных книжечек, и собрать сумму, необходимую на приезд Сережи (жившего в Праге на тощую студенческую стипендию) и на наш последующий отъезд в Чехословакию, было мудрено.

Когда Любовь Михайловна повела нас с Мариной в «КДВ», крупнейший тогда столичный универмаг, она обратила наше внимание на гигантскую пепельницу, стоявшую на особом столике в холле. На ней были аккуратно разложены недокуренные сигары, снабженные фирменными бланками с фамилиями... курильщиков. Оказывается, каждый покупатель, входивший в магазин с сигарой в зубах, оставлял ее в пепельнице, чтобы на обратном пути закурить ее же вновь... Маленькие, размером с визитную карточку, бланки и толстый карандаш на цепочке лежали тут же, а прикурить можно было от газового рожка, сэкономив собственную спичку...

Марина купила первые после неподъемной разлуки подарки Сереже: теплое белье, носки, шарф и, «для души», портсигар: «Теперь он, наверное, курит...» Мне, покачав головой на цену, – полосатое платье с матросским воротником; и, под категорическим нажимом Любови Михайловны, платье себе, совсем уж простенькое «бауэрнклайд»; крестьянский этот, ситцевый фасон с обтянутым лифом и сборчатой юбкой она любила и носила всю жизнь, каждое лето этой жизни.

И обувь себе купила грубую, надежную: горские полуботинки на толстой подошве, с прикрывающими шнуровку бахромчатыми кожаными языками...

А носили тогда лодочки на острых каблучках, ажурные чулки, кисею, батист, вуаль. Но с октября 1917 года Марина больше никогда не оглядывалась на моду: дорого, неразумно... и всегда выходит из моды!

...Изредка в Берлин наезжал, из ближнего Цоссена, Андрей Белый, сраженный разрывом с женой, Асей Тургеневой, потерянный, странный, глубоко несчастный, с безумными, запредельными глазами. Удар его беды Марина тотчас же приняла на себя, в себя, естественно и привычно впряглась в эту упряжку. Несмотря на то, что окружающие относились к нему сердечно, бережно, хоть и не без доли почтительного страха, одна лишь Марина оказалась в ту пору пристанищем его смятенной души... «Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна, – писал он ей в июньском письме того, 1922, года, – ...в эти последние, особенно тяжелые, страдные дни Вы *опять* прозвучали мне: ласковой, ласковой, удивительной нотой: доверия... Бывают ведь чудеса! И чудо, что иные люди на других веют благодатно-радостно: и – ни от чего... Знаете, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей... И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до груди была пустота... Я заходил в скверы, тупо сидел на лавочке и заходил в кафе и в пивные; и тупо сидел там без представления пространства и времени. Так до вечера. И когда я появился вечером – опять повеяло вдруг, неожиданно, от Вас: щебетом ласточек, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина – есть, и что ничто не погибло...»

Двенадцать лет спустя, в 1934 году, узнав из газет о кончине Андрея Белого, вернувшегося в Россию в 1923 году, Марина написала о нем воспоминания-реквием, которые назвала «Пленный дух». Там все сказано об их встречах – встречах двух пленных духов.

Еще видение – мгновенное и последнее в жизни – Есенина, сановно грядущего *мимо* столиков «Прагердиле», ради

теплого майского дня уже выставленных на тротуар и облепленных русскими собеседниками.

Есенин разодет, как манекен с витрины, все на нем с иголочки, вызывающе-новое, негнущееся, необмятое в руке – тросточка, на голове – котелок, нелепое «увенчание» дельцов и буржуа; глаза, самой небесной на свете голубизны, глядят высокомерно. Навстречу ему – хор веселых приветственных восклицаний, он же, не останавливаясь, бросает на ходу (торжественном и медленном) резкую и дерзкую фразу, приводящую всех сперва в замешательство, потом в негодование.

Но он уже ушел, завернул за угол, исчез.



Бретонь. Август. 1929 г.

Точная дата приезда моего отца в Берлин в памяти не сохранилась. Что-то произошло тогда: то ли запоздала телеграмма о его прибытии, то ли Марина куда-то отлучалась в час ее получения, только помню, что весть, со дня на день ожидавшаяся, застигла Марину врасплох, и мы с ней не просто поехали, а кинулись сломя голову встречать Сережу, торопясь, теряясь, путая направления. Кто-то предложил поехать с нами, и тоже было засуетился, но Марина от провожатых отказалась: Сережу она должна была встретить сама, без посторонних.

Когда мы, с дрожащими от волнения и спешки поджилками, ворвались на вокзал, он был безлюден и бесполезно-гулок, как собор по окончании мессы. Сережин поезд ушел – и ушел давно; и духу не осталось от пассажиров и встречающих. Остывая от бега и цепенея от ужаса, мы тщетно и тщательно обследовали перроны и залы ожидания, камеру хранения и ресторан – Марина в новом синем платье, я в новой матроске – такие нарядные! и такие несчастные, потерянные и растерянные, как только во сне бывает... Ни вежливые служащие, ни висевшие на глянцевитых стенах четкие расписания поездов и не менее отчетливые стрелки на циферблатах вокзальных часов не могли ничего объяснить нам и ни в чем обнадежить.

Мы вышли на белую от солнца, пустынную площадь, и солнечный свет, отраженный всеми ее плоскостями, больно ударил по глазам. Мы почувствовали палящую городскую жару, слабость в коленках и громадную пустоту внутри – от этой невстречи. Марина стала слепо и рассеянно нашаривать в сумке папиросы и бренчать спичками. Лицо ее потускнело. И тут мы услышали Сережин голос: «Марина! Мариночка!» Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий, худой человек, и я, уже зная, что это – папа, еще не узнавала его, потому что была совсем маленькой, когда мы

расстались, и помнила его другим, вернее, иным, и пока *тот* образ – моего младенческого восприятия – пытался совпасть с образом этого, движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие.

Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез.

С отцом, недолго погостившим в Берлине, я виделась мало; он проводил все время с Мариной, со мной же был молчаливо ласков; задумчиво, далеко уходя мыслями, гладил меня по голове, то «по шерсти», то «против шерсти».

Эренбурги приняли Сережу по-родному – по-праздничному радуясь Марининой с ним встрече, как общей елке на рождество, увешивая эту елку блестками доброжелательства и радужными игрушками проектов. Все должно было утрястись, устроиться, и не «как-то», а – хорошо, даже – превосходно.

Главное: живы и нашли друг друга!

В вечер Сережиного приезда пили шампанское – оно помогло не то что обрести «общий язык» всем разномастным сотрапезникам, собравшимся за сдвинутыми столиками пансиона, а найти некую общую тональность – хотя бы на этот вечер. Сережа, которому осенью должно было исполниться 29 лет, все еще выглядел мальчиком, только что перенесшим тяжелую болезнь, – так был он худ и большеглаз и – так еще сиротлив, несмотря на Марину, сидевшую рядом. Она же казалась взрослой – раз и навсегда! – вплоть до нитей ранней седины, уже резко мерцавшей в ее волосах.

Эренбурги вскоре уехали в курортное местечко Бинг-ам-Рюген, оба – писать: он – свои «Тринадцать трубок», она – свои этюды, мы же перебрались в маленькую гостиничку

на Траутенауштрассе, где вместо прежнего большого номера заняли два крохотных – зато с балконом. На «новоселье» Сережа подарил мне горшочек с розовыми бегониями, которые я по утрам щедро поливала, стараясь не орошать прохожих: с немцами шутки плохи!

Из данного кусочка жизни в «Траутенау-хауз» ярче всего запомнился пустяк – этот вот ежеутренний взгляд вниз и потом вокруг, на чистенькую и безликую солнечную улицу с ранними неторопливыми прохожими, и это вот ощущение приостановившейся мимолетности, *транзитности* окружающего и той неподвластности ему, которая и позволяла рассматривать его отвлеченно и независимо, без боли любования или отрицания.

Ощущение это, по-видимому, укреплялось рождавшимися там, в двух комнатках за моей спиной, и постепенно определявшимися родительскими планами на ближайшее будущее, их разговорами, исподволь доносившимися до меня. Оставаться в Берлине? В Германии, недавно отвоевавшейся и переживающей экономический кризис, нет и не предвидится ни университетов, ни работы для русских, ни школ для их детей; да, жизнь тут более налажена и «устроена», чем в Чехии, – но для кого? Сколько времени продержатся тут ненадежные русские издательства и сами издатели? Кто будет покупать их книги и газеты? Как жить? и – на что – жить? Значит – устраиваться в Чехии? Там – уже одна материальная достоверность: Сережина студенческая стипендия. Говорят, правительство Масарика будет давать, и, кажется, уже дает, пособия беженцам – деятелям науки, культуры, искусства. Доброе правительство? – Не совсем так: это – грошовые «отчисления» от вывезенной чешскими «легионерами», сражавшимися во время гражданской войны на стороне Антанты, части русского золотого запаса.

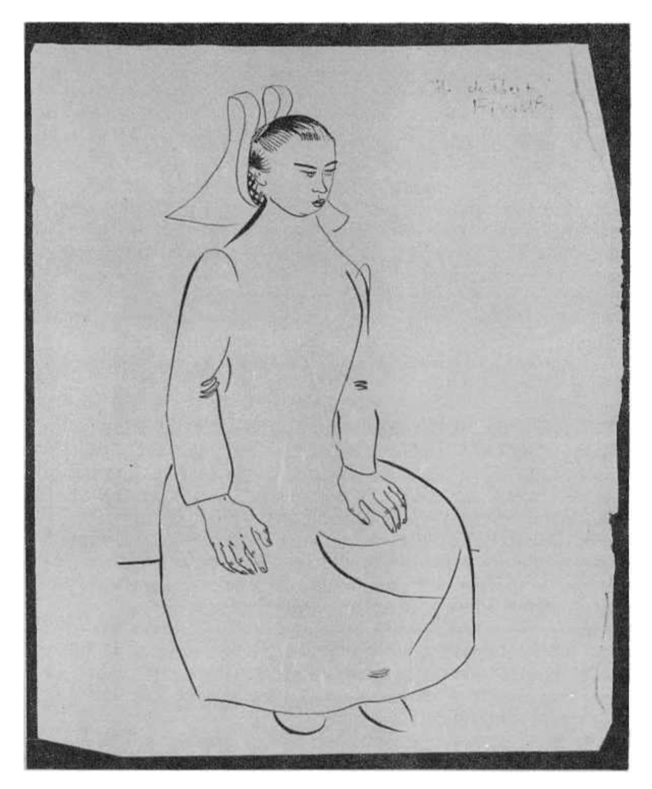
Итак, в Праге – Карлов университет (старейший в Европе!) – в который уже влились некоторые бывшие профессора,

равно как и бывшие студенты дореволюционной России. В Чехии уже организована русская гимназия-интернат для эмигрантских детей, среди которых – столько сирот! Правда, еще нет – и будут ли? – эмигрантские издательства, но уже существует один вместительный ежемесячный журнал с большим литературным отделом. Старая часть Праги – красота несказанная, готика, барокко, фантастика! Город – изумительный. Правда, жить в нем будет не по средствам. Не придется. Студенты-одиночки кое-как втиснуты в «Свободарну» – такое общежитие с каморками-ячейками, в каждой из которых – койка, самодельный столик, табуретка. Там – не пошагаешь ни вдоль, ни поперек с учебником в руках! Семейные расселились по пригородам, вернее, по прилегающим деревням. Да, настоящие деревни; нет, не такие, как у нас в России, – крыши крыты черепицей; но быт – быт деревенский; вода – из колодца; керосиновые лампы; само собой разумеется – ни тротуаров, ни мостовых. Но, если поселиться не слишком далеко от станции, до Праги добираться легко и просто: пригородные поезда ходят часто. Чехи к русским – доброжелательны, и вообще – все иное, чем здесь, без спеси и без табелей о рангах, более, я бы сказал, простодушно: славяне ведь, и язык близок нашему; кроме того – удивительно музыкальны! Музыкальны, как итальянцы... Природа? – места холмистые, даже гористые; леса – и такие, как у нас, и хвойные; и прелестная речка Бероунка, приток Влтавы; ну и поля, и луга. Просторно, не стиснуто, не застроено, широко видно вокруг...

И Маринино удалое: «Горы? холмы? музыка? – едем в Чехию!»

После отъезда Сережи – ему надо было усердно готовиться к началу учебного года, а привычка к зубрежке была утрачена, а голова и сердце были заняты другим, и все нарастало ощущение – вернее, ощущение оборачивалось осознанием – *неисчерпаемости* ошибки, совершенной в семнадцатом году

и оказавшейся первым звеном в цепи неисчислимых неизбежностей и безвыходностей, логически и трагически рождавшихся друг из друга и из самой ошибки; итак, после отъезда Сережи начали собираться и мы с Мариной и прощаться с Берлином, с которым, по сути дела, и не поздоровались. Пришла Марине пора нахлобучивать гасильники на вспыхнувшие было на этом перекрестке человеческие отношения: сам отъезд ставил им предел.



Бретонь. Август. 1929 г.

За проведенные в Берлине два с половиной месяца Марина не побывала ни в театрах, ни в концертах, ни в музеях – только в Зоологическом саду и в Луна-парке; первое – понятно, ибо все в нашей семье были зверопоклонниками.

А Луна-парк? при Марининой неприязни к «публичности» развлечений, да и к самим развлечениям разряда ярмарочных? Может быть, дело было в том, что помимо аттракционов, обычных для парков такого рода, там наличествовал и необычный: с немецкой дотошностью выполненный – в естественную величину – макет целого квартала средневекового германского города; это должно было привлечь Марину с ее неизменной тягой к былому, как *истоку,* обоснованию и объяснению настоящего и грядущего; а может быть, ей просто захотелось порадовать меня? Так или иначе, однажды, в конце жаркого июля, мы, под водительством Людмилы Евгеньевны Чириковой, отправились в Луна-парк – с самыми серьезными намерениями: все неподвижное осмотреть, на всем движущемся покататься.

Начали с карусели (розовой, белой, малиновой, как великанский свадебный торт), вертевшейся под сладчайшую же музыку; покружились на колесницах; потом перебрались на лошадок, сперва мерно покачивавшихся, но вскоре пустившихся в галоп, как в пляс. Гордо и грациозно сидела в позолоченном седле моя строгая мама, с замкнутым, каменным (потому, что кругом были люди), лицом, отнюдь не веселясь, а как бы выполняя некий торжественный обряд. Сойдя с карусели, она мне тихо заметила, что в амазонки я пока еще не гожусь, потому что ехала, как кислое тесто, к тому же разинув рот. Я приняла это к сведению, но рот, несомненно, так и продолжала разевать на все четыре стороны.

Не веселилась Марина и попав в комнату смеха, пристально, с несколько брезгливым любопытством разглядывая всех нас троих, по воле кривых зеркал превращавшихся то в Дон Кихотов, то в Санчо Панс, то в какие-то, стоящие на голове, самовары с пуговицами.

Тир ей понравился – как нравились вообще проявления ловкости, меткости – не только умственной, но и физической,

как нравились движения и действия, из которых была исключена приблизительность. Тиров было несколько, мужчины стреляли из луков, пистолетов, духовых ружей и даже каких-то арбалетов, поражая летающие, скользящие и кувыркающиеся цели, получали забавные призы, на которые я глядела с жаркой завистью.

Были жонглеры в палатках и фокусники в балаганчиках; борцы; гимнасты; были акробаты, с кошачьей упругостью ступавшие по проволоке, косо перерезавшей небо над аллеей, как стекло – алмазом; были какие-то усовершенствованные, сиявшие никелем, качели, на которых мы взлетали в воздух (качели Марина любила с тарусского детства!) – и еще какие-то тупорылые лодки, зигзагами сновавшие по неравномерно колеблющемуся кругу; были вафли с лимонадом и шарики мороженого в запотевшей вазочке – в кафе среди зелени.

Что до средневекового города, то весь он, новенький с приступочек до коньков крыш и весь состоявший из сплошных фасадов, оказался мертвой подделкой, несмотря на, а может быть, благодаря сверхизобилию правдоподобий в виде точильных колес, пивных бочек, коновязей, гончарных кругов и прислоненных к ним алебард, щедро и рассчитанно-живописно рассеянных вдоль улочки, вытекавшей из современности и в нее же впадавшей.

Когда взрослые отчаялись от развлечений, а я только-только начала ими насыщаться, мы прибрели в тот край парка, в котором ничего не показывали, никуда не зазывали, ни на чем и ни во что не играли, и сели на жесткую травку под соснами, у светлого озерца. Оглядевшись, Марина сказала Людмиле Евгеньевне: «По-моему, и в природе нет отдыха. Вот я думаю: когда буду умирать, у меня будет такое же чувство, как здесь, сейчас, на этом берегу; печали? – торжественности? – и весь грохот, и все кружения – позади?» – «Но ведь это и есть – отдых?..»

Посещение Луна-парка оказалось «последним аккордом» Марининого Берлина, последним взмахом над ним – с высоты качелей; меньше чем неделю спустя мы покидали его, очень ранним, едва пробудившимся утром, а 1 августа 1922 года уже выходили из поезда в Праге.

Маринин несостоявшийся Берлин. Не состоявшийся потому, что не полюбленный; не полюбленный потому, что после России – прусский, после революционной Москвы – буржуазный, не принятый ни глазами, ни душой: неприемлемый. В капитальности зданий, традиционном уюте кафе, разумности планировки, во всей (внешней) отлаженности и добротности города Марина учуяла одно: *казармы.*

Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень
Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль,
Копыта – как рукоплесканья.

Поздравствовалось – и слилось.
В оставленности светозарной,
Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилостивились, *казармы!*

Смилостивились *ли*? Да, пожалуй; спасибо казармам, когда, не снизойдя до того, чтобы заметить тебя, они тем самым предоставляют тебе возможность *пройти мимо.* Город – всегда взаимность.

Первая цветаевская стихотворная строка, написанная в Берлине, была:

Под булыжниками, под колесами...

Последнее берлинское четверостишие:

До убедительности, до
Убийственности – просто:
Две птицы вили мне гнездо:
Истина – и Сиротство.

С середины мая по конец июля Марина подготовила к печати свои сборники: «Психея», «Ремесло» и второе издание поэмы «Царь-Девица», вышедшие в Берлине в 1922–23 годах; написала около тридцати стихотворений; рассказ в эпистолярной форме «Флорентийские ночи»; и статью о творчестве Пастернака, озаглавленную «Световой ливень», вышедшую в 1922 году. Сборники «Разлука» и «Стихи к Блоку», подготовленные еще в Москве, были опубликованы – под наблюдением Эренбурга – ранней весной 1922 года, в Берлине, еще до приезда туда Цветаевой.

А кроме того, Марина перевела на немецкий язык стихотворение Маяковского для издававшегося Эренбургом на трех языках альманаха «Вещь»; перевела по горячему, впрочем, так никогда в ней и не остывшему, следу самого Маяковского, последней в России встречи с ним.

Встреча эта, судя по записи в тетради, произошла в один из канунных дней Марининого отъезда, ранним утром, на пустынной еще московской улице. Маяковский окликнул Марину, спросил, как дела. Она сказала, что уезжает к мужу, спросила, что передать загранице? «Что правда – здесь», – ответил он, усмехнувшись, пожал Марине руку и – зашагал дальше.

А она смотрела ему вслед и думала, что оглянись он и крикни: «Да полно вам, Цветаева, бросьте, не уезжайте!» – она осталась бы и, как зачарованная, зашагала бы за ним, с ним.

Эта Маринина мысль вдогонку Маяковскому может быть сочтена «поэтической вольностью», романтическим всплеском и полнейшей несбыточностью, но – и потаенной глубинной правдой. Ведь отъездом своим она перебарывала ту половину себя, что навсегда оставалась в России, с Россией. («Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь?»)

«Что правда – здесь». Эти слова Маяковского вошли в известный текст цветаевского приветствия ему, написанного

после его вечера в кафе Вольтер, в Париже, в 1928 году, и опубликованного в левой эмигрантской газете «Евразия» (одним из редакторов которой был мой отец), приветствия, позволившего Марине испытать чувство высокого и глубокого торжества – радости открытого рукопожатия – и причинившего ей немало неприятностей, если можно назвать всего лишь неприятностью то, что «отлученная» за «большевизм» редакцией милюковских «Последних Новостей», иногда печатавших ее, она надолго осталась без заработка, служившего главным источником существования всей нашей семьи.

Письмо, написанное по этому поводу Мариной Маяковскому, экспонировалось им на его выставке «20 лет работы» (которая была восстановлена и возобновлена в прошлом году, к 80-летию поэта) и воспроизведено в книге «Маяковский делает выставку» («Книга», Москва, 1973).

Ранней весной 1929 года Марина встретилась с Маяковским в последний раз. По просьбе коммунистов одного из окраинных районов Парижа он согласился выступить перед французской рабочей аудиторией, в маленьком («для свадеб и банкетов»!) полутемном зальце маленького рабочего кафе.

Вечер был скороспешным, без предварительной подготовки. Один из его организаторов (товарищ моего отца) пригласил моих родителей. Ободренная немноголюдием, отсутствием знакомых (любопытствующих глаз), Марина подошла к Маяковскому, познакомила его с мужем.

– Слушайте, Цветаева, – сказал Маяковский, – тут – сплошь французы. Переводить – будете? а то не поймут ни черта!

Марина согласилась, но не села на предложенный стул, – привыкла выступать стоя. Маяковский называл стихотворение, в двух словах излагал его содержание, она – переводила. Он – читал.

Потом были вопросы из зала и ответы в зал. Слушатели не столько поэзией интересовались, сколько жизнью и делами

рабочего класса в Советской России. В те годы им не часто приводилось беседовать с человеком оттуда. Попадались и вопросы провокационного характера; на них Маяковский отвечал с привычной резкостью и хлесткостью и тут задал Марине работы, поскольку некоторые наши словосочетания вообще не имеют адекватов на французском языке.

Эти общие черты – все, что донесла моя память из рассказов родителей – сквозь сорок пять лет расстояния! – о вечере, на котором сама не присутствовала, так как присматривала дома за маленьким братом. Сделанные же Мариной непосредственно после вечера записи не сохранились – они погибли во время войны вместе с той частью архива, которая была оставлена на хранение друзьям во Франции.

Сказать, что Марина любила и понимала творчество Маяковского, – вялая и плоская констатация сегодня, когда он давно стал мало что самим собой – поэтом, человеком, личностью, – но и частью нашего пейзажа: площадью, станцией метро, пароходом, собственным монументом. Когда любой школьник любит и понимает.

Но она поняла, полюбила и провозгласила его, непонятного и неприемлемого для многих умов и сердец, тогда, когда ему было так безмерно еще далеко до устойчивости и выверенности дара и славы, когда он был всего лишь одним из молодых, да ранних, за громогласностью которых трудно было услышать и распознать *поэзию*, до той поры изъяснявшуюся в иной, веками утвержденной, тональности; когда еще неясно было, чей творческий потолок и предел близок, а кто – безмерен; кто пойдет вперед и вверх, кто – по собственному кругу; кто вовсе собьется с голосу и с дистанции; когда все, что мы ныне знаем о прошлом, еще только смутно маячило впереди, пробивая себе русло – единственное среди многих возможных.

Она поняла и полюбила его во всей его тогдашней противопоказанности себе самой, его, ниспровергателя былых

истин, столь романтически превозносимых ею и о которых она сама вскоре – уже в 1922 году – скажет: «От вчерашних правд в доме – смрад и хлам...»

Всю жизнь Маяковский оставался для нее истиной неизменной; всю жизнь хранила она ему высокую верность собрата; понимала, что его отношение к ней, к творчеству ее, определяется по признаку ее принадлежности к эмиграции, и, при всей своей уязвимости, при всей убежденности в неправомерности такой оценки, – не обижалась на него – она, взвивавшаяся от куда меньших досад...

Маяковскому она посвятила большой стихотворный цикл в 1930 году и в 1932-м сказала о его творчестве в статье «Эпос и лирика современной России».

Первое свое стихотворение Маяковскому – «Превыше крестов и труб...», написанное в 1921 году, читала ему в Москве, вспоминала, что понравилось.

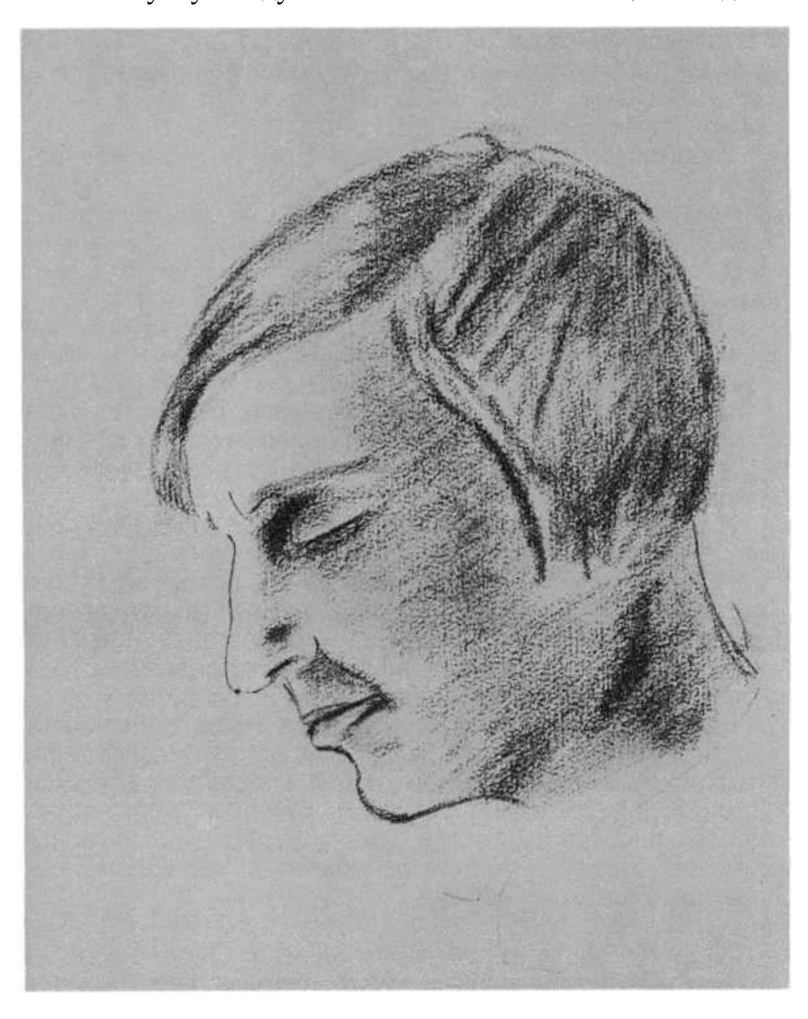
ПАСТЕРНАК

Среди многих обстоятельств и положений, постоянно мешавших Марине, заставлявших ее негодовать, разочаровываться и попросту страдать – особенно в эмиграции – наипервейшим препятствием был тот *речевой* барьер, та *языковая* преграда, которая отделяла ее от окружавших – близких или далеких, пишущих или только читающих – людей.

Сила ее дара, помноженная на неистовую жажду самовыражения и самоотдачи – в дружбе, в любви, в человеческом общении, с роковой неизменностью расшибалась о речевую или эпистолярную холодность – или скупость – или скудость – собеседника, об *инакость* его самого и его способности (желания) вести диалог на высоте Джомолунгмы.

«Держатели» обыкновенных чувств и мыслей быстро утомлялись от необходимости взгромождаться на ходули или вытягиваться на цыпочках, от несвойственности навязываемого

им Мариной напряжения, спрашиваемой с них ею *работы* ума и всех мускулов духа – если они ими вообще обладали.



М. И. Цветаева. Рисунок дочери. 1928 г.

Собеседников же творческого склада зачастую раздражала или отпугивала настойчивость, с которой Марина, внедряясь в их собственный строй, перестраивала и перекраивала их на свой особый, сильный и несвойственный им *лад*, при помощи

своего особого, сильного и несвойственного им языка, таланта, характера, самой сути своей.

Новые отношения с новыми людьми у Марины начинались зачастую с того, что, заметив (а не то и вообразив) искорку возможной общности, она начинала раздувать ее с такой ураганной силой, что искорке этой случалось угаснуть, не разгоревшись, или, в лучшем случае, тайно тлеть десятилетиями, чтобы лишь впоследствии затеплиться робкой заупокойной свечкой.

Разумеется, Марина была способна и на «просто отношения» – приятельские, добрососедские, иногда даже нейтральные – и искру возможной (а по тем, эмигрантским, временам и обстоятельствам, пожалуй, и *невозможной)* общности искала и пыталась найти далеко не в первом встречном.

Однако современное ей несоответствие отзыва – зову, отклика – оклику, уподоблявшее ее музыканту, играющему (за редчайшим исключением) для глухих, или тугоухих, или инакомыслящих, заставлявшее ее писать «для себя» или обращаться к еще не родившемуся собеседнику, мучило ее и подвигало на постоянные поиски души живой и родственной ей.

И чудо свершилось: 27 июня 1922 года почтальон принес на Траутенауштрассе, 9, еще одно письмо от Эренбурга – из Бинг-ам-Рюгена; «еще одно», потому что Илья Григорьевич и Марина писали друг другу часто, по два-три раза в неделю, он – продолжая и на расстоянии выполнять свои «опекунские обязанности» по отношению к ней, а она – «отчитываясь» в своих делах и замыслах.

На этот раз конверт оказался куда более тяжелым на вес, чем обычно. Марина, как всегда аккуратно, вскрыла его любимым разрезальным ножом в виде миниатюрной шпаги, в давние годы подаренным Сережей, достала несколько

листков сероватой бумаги, исписанных незнакомым, наклонным, летящим почерком, и Эренбургову сопроводительную записочку:

«Дорогая Марина, шлю Вам письмо от Пастернака. По его просьбе прочел это письмо и радуюсь за него. Радуюсь также и за Вас – Вы ведь знаете, как я воспринимаю Пастернака.

Жду очень Ваших стихов и писем!

Нежно Ваш
Эренбург».

«Воспринимаю»! – сказала Марина с усмешкой. – «Мы его любим – а он нас *воспринимает!*» – и принялась за чтение пастернаковского письма:

«14.VI.22. Москва.

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше – “Знаю, умру на заре! На которой из двух” – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на “Я расскажу тебе про великий обман”, я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на “Версты и версты и версты и черствый хлеб”, – случилось то же самое.

Вы – не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, и, надеюсь, понимаете, что́ это в наши дни означает, при *обилии* поэтов и поэтесс не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при *обилии* даже неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.

Простите, простите, простите!

Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны [Скрябиной], я не знал, с кем рядом иду?

Как могло случиться, что слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (и если Вы даже его не знаете, моего кумира, – он дошел до Вас через

побочные влиянья, и ему *вольно* в Вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как – России вольно в Рильке).

Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже "Версты", и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!! Итак – простите, простите!»

Письмо было большое, стройное в своей сбивчивости, написанное залпом, на одном восторженном дыхании – на том самом, которое было и Марининым дыханием, – написанное не собратом, а – братом по перу. Братом, не узнанным ею и оставленным там, откуда она только что уехала; брошенным ею и тянущим к ней руки; братом, которого она сама «месяц назад могла достать со ста шагов» и между которым и ею с тех пор бездна разверзлась и граница пролегла.

Марина ответила не сразу, дав пастернаковой вести «остыть в себе» (это – при обычной молниеносности ее эпистолярных рипостов!), и не так вглубь, как ей это было присуще; в своем ответе вспомнила обстоятельства их случайных московских встреч, сами встречи, даже слова, которыми оба они обменялись (Маринина память – цепкая, зоркая, долгая – была одной из граней ее дарования), призналась, что только «раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали», что книг его не видела, а прочла всего лишь пять-шесть его стихотворений, не более. К упоминанию о возможности скорого приезда Пастернака в Берлин отнеслась приветливо-сдержанно: «Напишите, как дела с отъездом? По-настоящему *ли* (во внешнем мире виз, анкет, миллиардов) – едете?.. Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас. *М. Ц.*»

Маринина сдержанность была от оглушенности этим голосом – почти что своим; от *немыслимости* именно этого

голоса среди прочих, вокруг нее звучавших; от насущной потребности удостовериться в неподдельности его, в своей подвластности или неподвластности ему; от необходимости дать ему срок – рассеяться, если он – наваждение («аминь, рассыпься!»), или угнездиться и укрепиться в ее душе, если он – правда.

В ее отъезде из Берлина накануне прибытия туда Пастернака было нечто схожее с бегством нимфы от Аполлона, нечто мифологическое и не от мира сего – при всей несомненной разумности решения и поступка – ибо в Чехию следовало ехать до наступления осени, чтобы устроиться и приспособиться в предстоящей деревне прежде, чем наступит зима, всегда трудная для вновь прибывших, даже в городских условиях.

А может быть, то был – не менее мифологический – бег с уже распознанным, уже достоверным сокровищем в руках, присвоение его, умыкание, нежелание разделять его со всеми в безвоздушном пространстве, окружающем столики «Прагердиле»; та боязнь посторонних глаз, сглазу, которые столь были присущи Марине с ее стремлением и приверженностью к *тайне* обладания сокровищем: будь оно книгой, куском природы, письмом – или душой человеческой... Ибо была Марина великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев...

Так или иначе, ее «жду Вас» оказалось абсолютной поэтической вольностью в 1922 году – и абсолютной человеческой правдой на долгие последующие годы.

Отношения, завязавшиеся между обоими поэтами, не имели и не имеют себе подобных – они уникальны.

Два человека – он и она! – равновозрастных, равномощных во врожденном и избранном (наперекор внушавшейся им музыке, наперекор изобразительности окружавших их искусств!) поэтическом призвании, равноязыких, живущих бок

о бок в одно и то же время, в одном и том же городе и в нем эпизодически встречающихся, обретают друг друга лишь в непоправимой разлуке, лишь в письмах и стихах, как в самом крепком из земных объятий!

Это была настоящая дружба, подлинное содружество и истинная любовь, и письма, вместившие их, являют собой не только подробную и настежь распахнутую историю отношений, дел, дней самих писавших, но и автопортреты их, без прикрас и искажений.

Не знаю, все ли письма Пастернака были привезены Мариной в Советский Союз в 1939 году (берегла – все́, все, включая обертки от присылавшихся им бандеролей), но привезенные – сохранились, без потерь и утечек, потому что ничьи посторонние руки, ничье любопытство, небрежность, корысть не коснулись их за три с половиной десятилетия.

Пастернак рассказал в своих воспоминаниях об утрате в годы войны части цветаевских писем. Однако с некоторых из них в свое время были сняты копии когдатошним приятелем Пастернака и Асеева, в раннюю свою пору поэтом, А. Крученых, который, без ведома Бориса Леонидовича, широко снабжал этими машинописными копиями разномастных коллекционеров; обросшие опечатками и изобилующие пропусками списки эти циркулируют до сих пор.

Кроме того, черновики и наброски многих писем сохранились в ее тетрадях – в ее архиве.

Переписка Марины Цветаевой с Борисом Пастернаком длилась с 1922 по 1935–36 годы, достигнув апогея в двадцатые годы, потом постепенно сходя на нет. Из разновременно предполагавшихся встреч не состоялась ни одна; встретились – негаданно и неудачно – в июне 1935-го, когда Борис Леонидович приехал в Париж на Международный конгресс защиты культуры от фашизма; приехал он уже после

открытия конгресса, больной, в глубокой депрессии, вызванной событиями и переменами в личной жизни, по самую маковку погруженный в эти события, среди которых, как почуялось Марине, места для нее не оставалось. Его отчужденность и околдованность *не ею* потрясли и глубочайше ранили ее, тем более, что ее *заочность* с Пастернаком была единственным ее оплотом и убежищем от *реальных* неудач и обид последних лет эмиграции.

В дальнейшем, по возвращении Марины в СССР, она видалась с Борисом Леонидовичем достаточно часто, он много и усердно помогал ей и поддерживал ее, но с заоблачностью их дружбы было покончено: однажды сойдя с такой высоты, вторично подняться на нее невозможно, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку.

Влияние на творчество Цветаевой ее переписки с Пастернаком было столь же значительным, сколь своеобычным, ибо влияние это выражалось не в степени присвоения, поглощения одной личностью – другой, не в той или иной мере «ассимиляции», нет, выявлялось оно в определившейся нацеленности Марининой творческой самоотдачи – самоотдачи, обретшей конкретного адресата.

Не говоря о двух прозаических вещах – «Световой ливень» и «Эпос и лирика современной России», из которых вторая относится в равной степени и к Маяковскому, – стихотворений, посвященных Мариной Пастернаку или непосредственно им вдохновленных, не так уж много: не меньше, пожалуй, посвятила она их Ахматовой, или Блоку, или Иксу, или Игреку, посвятила, не надеясь на то, что голос ее достигнет их слуха. Но зато все, что было создано ею в двадцатые годы и в начале тридцатых, в пору ее творческой зрелости и щедрости, кем бы и чем бы ни вдохновлялось это созданное, – все это, от сердца к сердцу, было направлено, нацелено на Пастернака, фокусировано на него, обращено к нему, как молитва.

В нем она обрела ту *слуховую прорву,* которая единственно вмещала ее с той же ненасытимостью, с какой она творила, жила, чувствовала.

Пастернак любил ее, понимал, никогда не судил, хвалил – и возведенная циклопической кладкой стена его хвалы ограждала ее от несовместимости с окружающим, от неуместности в окружающем... Марине же похвала была необходима, иначе она зачахла бы от авитаминоза недолюбленности, недопонятости или взорвалась бы от своей несоразмерности аршину, на который мерила ее читающая и критикующая эмиграция. (Не о нескольких близких и верных речь, разумеется.)

Усугубившаяся в тот период усложненность ее поэтического языка (нынче, в семидесятые годы, внятного и «массовому» читателю, но труднодоступного «избранному» читателю двадцатых годов) тоже отчасти объясняется Марининой направленностью на Пастернака: речь, понятная двоим, зашифрованная для прочих! Ибо для освоивших четыре правила арифметики до поры до времени остается зашифрованной высшая математика...

Вот что пишет Марине о поэзии в одном из своих писем 1922 года Пастернак периода «высшей математики» своего собственного творчества:

«Я знаю – Вы с неменьшей страстью, чем я, любите – скажем для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею.

Я больше всего на свете (и, может быть, это – единственная моя любовь) – люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье *естественно* принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвижение это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться: вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту.

Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представить себе устье именно в этом ее изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет и, следовательно, какова ее сущность и сейчас...»

И, переходя от дельт, потоков и устьев поэзии к ее берлинским частностям, к ее тотчас же за рубежом возникшей раздробленности и определившемуся мелководью, добавляет:

«Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречу с Вами и с Белым.

Однако, разочарование на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, без которого фикции бы не было. Последовательности этой я не встретил даже в Белом...»

Марина находилась уже в Чехии, и надежды на немедленную встречу с Борисом Леонидовичем – просто сняться с места и поехать налегке и накоротко в Берлин – у нее не было; из-за того, что некому было «нажать на инстанции» для получения визы; из-за того, что подобная поездка была не по карману, а главное, – не по чувству ответственности перед близкими за содержимое этого тощего кармана! (Все в Чехии оказалось не по карману, кроме окружающей пражские пригороды, действительно прелестной природы...)

Но это была внешняя, так сказать бытовая, сторона невозможности. Марине, с ее энергией и волей к борьбе, может

быть, удалось бы преодолеть эту невозможность, будь она убеждена в необходимости встречи, в своей внутренней готовности к ней. Если бы втайне не страшилась ее.



Марина Ивановна на прогулке, по-видимому в Медоне.
1928 г. Ариадна Сергеевна сделала на своем рисунке шуточную надпись:
«Мама гуляить»

И с тревожной верой, с тревожным восторгом Марина принимает предложение Пастернака, романтическое и несбыточное, встретиться в Веймаре, под сенью обожаемого обоими Гете, – в мае 1925 года. «...А теперь о Веймаре: Пастернак, не шутите! Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (– не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой... – шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас – нет, не о Вас – о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, – ах, Пастернак, ведь ноги *миллиарды* верст пройдут, пока мы встретимся!

...Два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг – по безумному! – начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно: – буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни...»

Из двух назначенных лет проходит год – огромный год «жизни, как она есть» – во всей ее растворяющейся повседневности и календарности, со всеми ее заботами, досадами, радостями, дождями, радугами, бессонницами, недоразумениями, новыми знакомствами, старыми спорами, шумящими примусами, – огромный год творчества в потоке жизни и наперекор ему – год переписки с Пастернаком, год нарастания этой титанической, поэтической страсти, страсти «поверх барьеров»...

«14.6.1924 Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина... За что я ненавижу их [письма]. Ах, Марина, они невнимательны к главному. Того, что *утомляет,* утомительной *долготы* любованья они не передают. А это – самое поразительное.

Сквозь обиход пропускается ток, словно как сквозь воду. И все поляризуется... И когда сжимается сердце, – о, эта

сжатость сердца, Марина!.. И насколько *наша* она, эта сжатость, – ведь она насквозь *стилистическая!*

Это – электричество, как *основной стиль* вселенной, стиль творенья на минуту проносится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну... ассимилировать, *уподобить!*

И вот она, заряженная с самого рождения и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (таланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции, перебиваемая риторическим треском самостоятельных маховых движений (неутомляющих мыслей, порывов, "любящих" писем, вторичных поз) – вот она заряжается вновь, насвежо, и опять мир превращается в поляризованную баню, где на одном конце – питающий приток... времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминаний и полаганий, – на другом – *бесконечно-малая,* как оттиск пальца в сердце, когда оно покалывает, щемящая прелесть искры, *ушедшей в воду...*

...Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Вообще – Вы – возмутительно большой поэт. Говоря о щемяще-малой, неуловимо электризующей прелести, об искре, о любви – я говорил об этом. Я точно это знаю.

Но в одном слове этого не выразить, выражать при помощи многих – мерзость.

Вот скверное стихотворение 1915 года из "Барьеров":

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий
С белым пеплом баллад на челе,
С заскорузлой от музыки коркой
На *поденной* душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

О, письмо, письмо, добалтывайся! Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя:

Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Такс руки это душе, ничего нет легче!..

Вы видите, как часто я зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О, как меня на *подлинник* тянет! Как хочется жизни с Вами! И, прежде всего, той ее части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем. Пора, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, и стихи писать наверное разучился.

Между прочим я Ваши тут читал. “Цветаеву, Цветаеву!” – кричала аудитория, требуя продолжения...

...А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со *знающей* силой, т. е. то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в *жизни* же не встречал никогда... И вот опять письмо ничего не говорит. А может быть даже оно Ваши стихи рассказывает своими словами. – Какие они превосходные!..»

«...Я буду терпелива, – пишет Марина, – и свидания буду ждать, как смерти. Отсюда мое:

Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют –

Буду ждать тебя (пальцы в жгут –
Так Монархини ждет наложник),
Терпеливо, как рифму ждут,
Терпеливо, как руки гложут,

Буду ждать тебя...

...Нужно быть терпеливым, великодушным, пожалуй – старше возраста. Только старик (тот, кому ничего не нужно) умеет взять, принять все, т. е. дать другому возможность быть, приняв – избыток...

Ваше признание меня, поэта, до меня доходит – я же не открещиваюсь. Вы – поэт, Вы видите – *будущее.* Хвалу сегодняшнему дню (делу) я отношу за счет завтрашнего. Раз Вы видите – это *есть,* следовательно – будет.

Ничья хвала и ничье признанье мне не нужны, кроме Вашего. О, не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т. е. не могут еще быть *только* чувствами.

...Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. В первый раз в жизни не *чары,* а знание. Вы в мире доказаны помимо меня.

О, не превышение прав и не упокоение в себе! Кроме Элизиума духа есть еще чешский лес, с тростинками, с хворостинками, с шерстинками птиц и зайцев, – лбом в Элизиум, ногами на чешской земле. Поэтому покойно только мое главенствующее. А ногам – для того, чтобы идти к Вам – нужна рука, протянутая навстречу. Хочу Ваших писем: протянутой Вашей руки...

Что до “жизни с Вами”... –

– Исконная и полная неспособность “жить с человеком”, живя им: *жить* им, живя с *ним.*

Как жить с *душой* – в *квартире?* В лесу может быть – да. В вагоне может быть – да (но уже под сомнением, ибо – I класс, II класс, III класс, причем третий класс вовсе не лучше первого, как и первый класс – третьего, а хуже всех – второй класс. Ужасен – разряд).

Жить (сосуществовать) “с ним”, живя “им” – могу только во сне. И – чудно. Совершенно так же, как в своей тетради...

...Думаю, что из упорства никогда не скажу вам *того слова.* Из упорства. Из суеверия. (Самого *пустого,* ибо вмещает все,

самого страшного, после которого все начинается, то есть – кончается.) Его можно произносить по пустякам, когда оно заведомо – гипербола. Мне – Вам – нет.

...На моей горе растет можжевельник. Каждый раз, сойдя, я о нем забываю, каждый раз, всходя, я его пугаюсь: человек! потом радуюсь: куст! Задумываюсь о Вас и, когда прихожу в себя – его нет, позади, миновала. Я его еще ни разу близко не видела. И думаю, что это – Вы...»

В 1924 г. Пастернак сообщает Марине о рождении сына, – и она поздравляет – первенец! «Первенец – всегда *единственный,* сколько бы братьев у него ни было!» – и радуется его имени, длящему имя матери: Евгения, Евгений! – несмотря на то, что *действенно* не любила имен с окончанием на «ий», находя их недостаточно мужскими, мужественными. За исключением имени Георгий (мужественного, потому что Победоносец!) – каковым и нарекла собственного сына, родившегося в 1925 году.

«Борис, родной! Не знаю, дошло ли до Вас мое письмо, давнишнее... Длительность молчания между нами равна только длительности отзвука, вернее – все перерывы наполнены отзвуком. Каждого Вашего письма (*всегда* последнего!) хватает ровно до следующего. При частой переписке получилось бы нечто вроде сплошного сердечного перебоя. Сила удара равна длительности его действия – есть ли такой закон в физике? Если нет – все равно есть...

Борис, если не долетело – повторю вкратце: в феврале я жду сына... Я Вам его посвящаю, как древние посвящали своих детей – божеству...»

Но именем «божества» сына она не нарекла.

«Назовя мальчика Борисом, я бы этим самым ввела Бориса Пастернака в семью, сделала бы его чем-то общим, приручила бы его, – и утеряла бы для себя... Тонкое, но резко-ощутимое чувство»... Кроме того: «Имя Борис не сделает

его ни поэтом, ни Пастернаком!» – записывает она вскоре после рождения ребенка в своей тетради, в которой растет поэма «Крысолов». И – самому Пастернаку, в письме от 14 февраля 1925-го:

«Дорогой Борис!

1-го февраля, в воскресенье, в полдень, родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев во мне и десять дней на свете, но желание Сережи (*не* требованье!) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение.

Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некоторая внутренняя неловкость: Вас (любовь!) вводить в семью, приручать дикого зверя: любовь! обезвреживать барса...

Отнимать *его* у своих, а Вас – своим – отдавать. Делать Вас общим достоянием.... Что-то *дикое* (т. е. ручное) – вроде племянника и дяди...

...Это не безумие, а самый точный расчет (NB! Так говорят *все* сумасшедшие!)...»

Чтобы показать, как тема детей вплелась в заоблачную симфонию этой переписки, тема, отчасти обусловившая несбыточность мечтанной встречи (встреч, ибо одна несбыточность оборачивалась другой, и все Пастернаковы замыслы – в том числе и замысел совместной с Мариной работы над переводом «Фауста», – опять же в Веймаре, но годы спустя – оказывались неосуществимыми), – приведу отрывок письма Бориса Леонидовича о его – двухлетнем! – сыне. Письмо – уже на «ты» (1926 год) – и этому (столь заочному!) «ты» Марина долго сопротивлялась, боясь низвести отношения до уровня обыденности...

«Ради бога, не посылай ничего сыну. Я до глубины души тронут тем, как ты об этом пишешь... Ты как-то спросила, отчего я о нем не пишу. Оттого, что он на руках у всего дома; оттого, что у него не такая няня, какой бы я желал, и это все может исковеркать ему язык; оттого, что мать [художница]

целые дни во ВХУТЕМАСе, с утра до вечера... оттого, что я ей ничего не могу сказать, потому что знаю, что и я бы ходил во ВХУТЕМАС и никакая семья бы меня не остановила; оттого, что всеобщая любовь делает мальчика эгоистом и баловником, и умаляет его трогательность и подлинность в моих глазах, иногда видящих его иначе; оттого, что моя любовь к нему испещрена примечаниями; оттого, что это мое сочинение пишется чужими руками, и я не в силах этого переделать, потому что, чем шире разъезжается эта нескладица, тем больше приходится мне зарабатывать, тем меньше, значит, я ей принадлежу... Вот отчего я не люблю говорить о нем.

Он настолько похож на мою детскую карточку, что, когда ее случайно нашли при разборке папиного архива, то выдали за снимок с него.

Может быть, он не так будет безобразен, как я, может быть – только по-другому. Но все это, все это придется когда-нибудь переделать...»

Однако возможно, что опасения Пастернака за чистоту языка двухлетнего младенца, за его наружность и боязнь пагубного влияния всеобщей любви на его характер были вызваны в немалой степени тем обстоятельством, что данное письмо было написано «...с этой невозможной зубной болью. Это у меня в третий раз за последнее время. В разгаре работы, при повышении нервной деятельности, разболевается правая половина нижней челюсти. Когда недавно флюс был, это другое, это – слева. А тут все симптомы до точности повторяются. Боль – благороднее зубной и – невыносимей. Что за наказанье? Что мне делать?!»...

О, как Марина отзывалась – всем своим язычески-материнским нутром – на эти сугубо *земные* приметы Пастернака, на вдруг взрывавшие поэтическую ткань его писем *просто* зубную боль, *просто* физическую усталость или рассерженность неурядицами! Она и мифологию любила за способность

богов и героев оскользаться и ушибаться по-земному – среди нечеловеческих подвигов и деяний: и не только любила, но и в творчестве своем постоянно обращалась к ее аллюзиям и коллизиям...

Но Борис Леонидович в письмах своих удивительно умел перемахивать через способные вызвать жалость или сочувствие к нему житейские неполадки, чтобы не отягощать ими корреспондента – а также не вызывать на себя встречный их поток. С Мариной он любил говорить иначе и об ином. Вот как он пишет ей о прочтенной им «Поэме Конца»:

«*26.3.26.* ...Я четвертый месяц сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами, – качу к кому-нибудь подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, микельанджеловской раскинутости и толстовской глухоты, которая называется Поэма Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинания...

С каким волнением ее читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс подсказан. "Преувеличенно – то есть". "Но в час, когда поезд подан – вручающий". "Коммерческими тайнами и бальным порошком". "Значит не надо, Значит не надо"...

Тут живое, со слуха, что все эти дни при мне, как "мое с неба свалившееся счастье", "родная", "удивительная", "Марина", или любой другой безотчетный звук, какой, засуча рукава, ты можешь достать с моего дна...

Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина! Но о Поэме больше ни слова, а то придется бросить тебя, бросить работу, бросить своих и, сев ко всем вам спиною, без конца писать об искусстве... о никем никогда по-настоящему не обсужденном откровении объективности,

о даре тождественности с миром, потому что в самый центр этих высот бьет твой прицел, как всякое истинное творение.

Только небольшое замечание об одном выраженье. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон. Слова “артист” и “объективность” могли быть оставлены тобой... я же их захватил с собой.

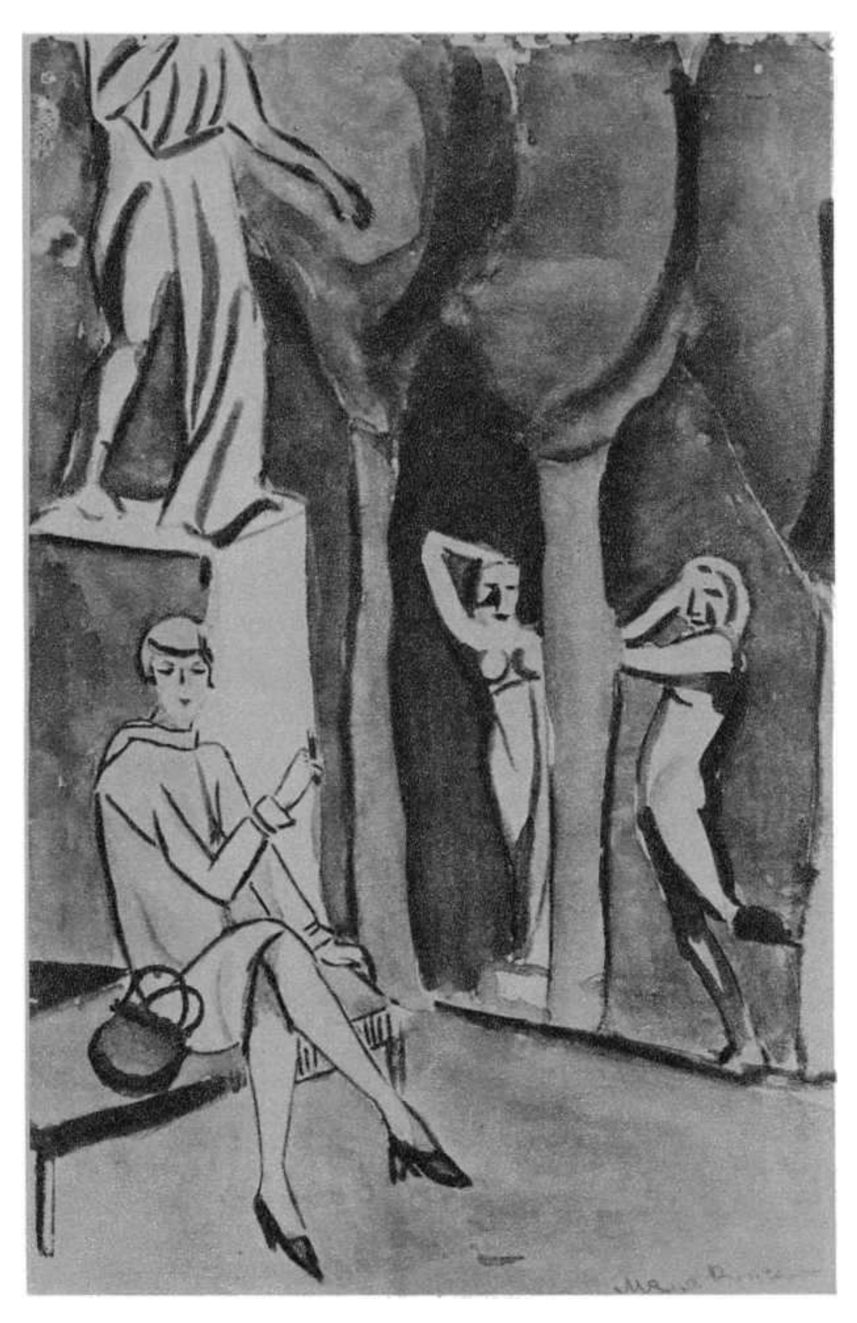
...Ты объективна, ты главным образом талантлива – *гениальна.* Последнее слово зачеркни, пожалуйста. В личном употреблении это галерочное, парикмахерское слово. Когда я с ним сталкивался, мне становилось не по себе, как, вероятно, и тебе. Его когда-нибудь о тебе скажут – или не скажут. Все равно, не отрицательная гадательная такса, а положительная загадочность слова висит всегда над тобой воздушной крышей, под которую, год за годом, ты выводишь свою физику.

Важно то, чем ты занимаешься. Важно то, что ты строишь мир, *венчающийся загадкой гениальности.*

В твои дни, при тебе, эта крыша растворена небом, живой синевой над городом, где ты живешь, или который, за писаньем физики, воображаешь. В другие времена по этому покрытию будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загаданной гениальностью других столетий.

...Ты пишешь о своем недохождении при первой читке, о круговом молчании, воцаряющемся за ней. Мой опыт в этом отношении страдает если не той же, то очень близкой правильностью. Только самые ранние и сырые вещи, лет пятнадцать назад (т. е. буквально первые и самые начальные), доходили (но и до полутора только человек) – немедленно.

Вскоре же я стал считать двухлетний промежуток между вещью и ее дохождением за мгновенье, за неделимую единицу, потому что только в редких случаях опаздывали на эти два года, чаще же на три и больше...»



М. И. Цветаева в Версале. Рисунок А. Эфрон. 1928 г.

Всего два-три, ну, скажем, три-четыре года между созданием трудночитаемой вещи и ее дохождением до читателя! То есть – почти параллельный, почти синхронный рост пишущего и читающего! Нет, о подобных сроках Марина не могла и мечтать. Она вообще не могла мечтать ни о каких прижизненных сроках дохождения там, на чужой стороне, потому что *ее* читатель (не читатель – исключение, а читатель как естественно-массовое явление) в эмиграции отсутствовал, его просто не существовало, и неоткуда было ему взяться по тем временам и условиям. Он, захвативший с собой сотрадиционных ему писателей и поэтов, равно как и сотрадиционных им критиков, не тяготел к новизне, не будучи к ней причастен ни сном, ни духом, ни трудом, ни умом, и был к ней в лучшем, в наимилосерднейшем для этой новизны случае равнодушен и глух, как пень.

Марина, писавшая Пастернаку: «Ничья хвала и ничье признанье мне не нужны, кроме Вашего», – утверждала это зажмурившись; кому, как не ей, было знать, что поэты пишут не для поэтов, и даже не для Поэта с большой буквы, каким был для нее Пастернак; и что скульптуры ваяют не для скульпторов; и музыканты творят не для музыкантов; что все подлинное творится для множества людей, ради их жажды к творимому, как к насущному.

Кому, как не ей, было знать, сколь не вечен *единственный* читатель, даже если он поэт, тем более, если он поэт... Ведь она сама бывала столь непостоянна в своих высоких верностях!

Пока же они оба стремились друг к другу, рвались к несбыточной встрече, обменивались рукописями только что написанного, книгами, журнальными публикациями; перехлестываясь через письма, они делались достоянием многих; Пастернак, «обобществления» которого страшилось Маринино воображение, вскоре стал заочным членом нашей семьи,

тем самым «диким и ручным племянником и дядей»; другом близких Марининых и Сережиных друзей; поэтом, читаемым и любимым той горсткой людей, чьи лица и души уже поворачивались к новой России. Первым изданием, опубликовавшим в начале 20-х годов на чужбине стихи *советских* поэтов (само собой разумеется, и Пастернака), был пражский студенческий журнал на русском языке «Своими путями», редактировавшийся моим отцом...

В 1924 году Пастернак опубликовал несколько цветаевских стихотворений «чешского периода» в альманахах «Русский современник» и «Московские поэты»; остальные же ее произведения, доходившие, из рук Пастернака и Эренбурга, главным образом, до советских поэтов, встречали у многих из них то признание и понимание, каких ей не случалось встречать и не привелось дождаться от эмигрантских «собратьев». Вот, к примеру, отрывок из письма Семена Кирсанова, написанного им в августе 1926 года своему другу Эмилю Фурманову:

«...Помнишь, мы читали М. Цветаеву? Так вот: Пастернак получил из Праги ее две вещи – "Поэма Конца" и "Крысолов". По мнению Асеева, Пастернака, моему и других – это лучшее, что написано за лет пять. "Поэма Конца" нечто совершенно гениальное, прости за восторженность! "Крысолов" – верх возможного мастерства. Если мне удастся переписать их – я тебе пошлю отрывки...»

В 1927 году на вопрос Пастернака, не страдает ли Марина от своей – в эмиграции – безвестности, от неправомерности этой безвестности и непризнанности, она отвечает:

«...Ты взволновался о *славе.* [О том, что] теряю свой "час славы". Есть ли в этом горечь? Досада, пожалуй. И вот почему: когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех.

И вот, мое глубокое убеждение, что – печатайся я в России, меня бы все поняли. Да, да, все – из-за моей *основной* простоты;

потому что каждый бы нашел *свое,* потому что я – *много,* множественное. И меня бы эта любовь – несла. Просто – в России сейчас есть пустующее место, по праву – мое...»

Объясняя, почему она считает себя более «доходчивой» до российского читателя, чем Пастернак, Марина пишет: «Ты читателя в себя вводишь, я – вывожу, раскрепощаю. Я – одна секунда в жизни читателя, толчок. Дальше – его дело, действие. Ты видимое превращаешь в невидимое (явное делаешь тайным), я – невидимое в видимое (тайное – явным).

Но, чтобы вернуться к славе – моих книг в России нет, и поэтому поэта – нет.

...Мой отрыв от жизни становится все непоправимее. Я "переселилась", унося с собой все страсти, всю нерастрату – не тенью, обессиленной жизнью, а живою – *из живых...*»

Этой беде, этому отрыву «из живых» Пастернак помочь не мог – да и кто мог, да и что – могло? Оторвавшись от России, не влившись в эмиграцию, Марина постепенно становилась как бы неким островом, отделившимся от родного материка – течением Истории и собственной судьбы. Становилась одинокой, как остров, со всеми его (своими!) неразведанными сокровищами...

Пастернак остро и болезненно ощущал эту отторгнутость Марины, неумолимую последовательность, с которой обрывались связующие ее с Россией нити живых человеческих отношений, и поэтому, узнав об отъезде за границу – по приглашению Горького – Анастасии Ивановны Цветаевой (которую хорошо знал), – обрадовался предстоящему празднику свидания сестер. «Конечно, ты уже списалась с Асей и поражена этой сбывшейся несбыточностью не меньше моего... Известие это привез брат, да и то не сам говорил с ней по телефону, а соседи передали... Тот факт, что она не известила меня о поездке заблаговременно, при вероятной суматохе последних сборов, не стоит упоминания. Я что-нибудь

может быть передал бы! Все равно, ей есть что рассказать и передать, если только избыточная, переливающаяся через край полноподробность встречи с тобой не вытеснит памяти о всех Мерзляковских и Волхонках...» (А. И. Цветаева жила в то время в Мерзляковском переулке, а Борис Леонидович – на Волхонке.)

Он нетерпеливо ждал возвращения Аси, встречал ее на вокзале, жадно, с печалью и все же надеждой слушал ее рассказы...

«Дорогая Марина! Валит снег, я простужен, хмурое, хмурое утро. Хорошо, верно, сейчас проплыть на аэроплане над Москвой, вмешаться в этот поход хлопьев и их глазами увидать, что они делают с городом, с утром и с человеком у окна...

Вот главные нервные пути моего влеченья к тебе, способные затмить более непосредственные: мне нужно «соблазнить» тебя в пользу более светлой и менее отреченной судьбы, нежели твоя нынешняя, и я это так чувствую, точно именно это, а не что-нибудь другое, составляет мою грудь и плечо...

По словам Аси, она старалась рассказывать обо мне в наивозможно худшем духе (чтобы уберечь тебя от неизбежного разочарования?). Она либо клеплет на себя, либо поступила как надо, либо же... а, да мне все равно. Замечательно, что о тебе она рассказывала так, что я с трудом удерживался от слез: очевидно, на мой счет у ней нет опасений...

Она дала мне свои экземпляры твоих «С моря» и «Новогоднего», Екатерина Павловна [Пешкова] скоро должна привезти мои.

Что сказать, Марина! Непередаваемо хорошо! Так, как это, я читал когда-то Блока; так, как читаю это, писал когда-то лучшее свое. Страшно сердечно и грустно и прозрачно. Выражение, растущее и развивающееся, как всегда у тебя, живет совпаденьем значительности и страсти, познания и волнения...

Прежде и больше всего я, конечно, люблю тебя, что может быть ясно ребенку. Но я не был бы собой теперешним, если бы оставался у этого сумасшедшего родника, а не шел вниз вдоль его течения, по всем последовательностям, которые лепит время.

Время, твоя величина и моя тяга.

И вот – планы, планы. Тебе кажется естественным положение, в котором ты находишься, мне – нет.

Выправить эту ошибку судьбы, по нашим дням, еще Геркулесово дело. Но оно и единственное, других я не знаю.

В письме к Горькому, между прочим, эту целенаправленность я выразил так: «Если бы Вы меня спросили, что я теперь собираюсь *писать,* я ответил бы: *все, что угодно,* что может вырвать это огромное дарование (т. е. тебя) из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России».

Но годы шли, а планы, непретворимые в действие, расплывались и рассеивались, а судьба оставалась ложной и невыносимой, а дети и заботы росли, а письма – начиная с 1931 года, приходили все реже.

«Стихи устали», – говорила я, маленькая, Марине, когда ей не писалось. Наступило время, когда «устали» Пастернаковы письма. Почувствовав это по неуловимому сперва изменению их тональности, Марина перестала вызывать их на себя; выдерживала чрезмерно долгие «контрольные» паузы между получением их и ответом; в ответе же не усмиряла накапливавшейся горечи.

В 1935 году, ровно через десять лет после несбывшейся «встречи в Веймаре», состоялось их беглое и бедное свидание в Париже, за кулисами Всемирного конгресса деятелей культуры.

В октябре 1935 года Пастернак писал в ответ на не сохранившееся в цветаевском архиве письмо: «Дорогая Марина!

Я жив еще, живу, хочу жить – и – надо. Ты не можешь себе представить, как тогда, и долго еще потом, мне было плохо. “Это” продолжалось около пяти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков двенадцать лет, я проехал, не повидав их; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостили Роллан с Майей, несмотря на их настояния; что, имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой, неузнаваемой, никакой, непроглядной.

Тогда бы только и смогли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, упущенное, уступленное, проплывшее мимо.

Может быть, это затянулось по моей вине. Больше еще, чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпеньем... Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.

Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город с дачи и моим возвращением к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок...

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, всегда смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определения, все безошибочно, но всего замечательнее “Искусство при свете совести” и “У Старого Пимена”; отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа так сказать, вызваны природою предмета, и жар, и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы.



Марина Ивановна и Мур. Кламар. 1934 г.

В “Матери и музыке” такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама замечаешь (диезы и бемоли) идет не по существу. Но твоих образов и черточек и тут целая пропасть...

Летом мне переслали твое письмо... Я не мог тебе ответить вовремя, потому что был болен. Помнишь ли ты свою фразу

про абсолюты? В ней все преувеличено. А состояние мое, которому ты была свидетельницей, преуменьшено. Но такое непонимание – оно естественно – я встретил и со стороны родителей: они моим неприездом потрясены и перестали писать мне.

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это только перерыв в моей жизни...

Но, допустим, – а вдруг я поправлюсь и все вернется? И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу?..

Когда же вы приедете?

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, – после твоего летнего письма?

Твой Б.»

Движение под откос этого письма, его опущенность в остуженность по сравнению с огнем и подъемом прошлых лет поразили, ранили Марину не меньше, чем отдельные, к ней относящиеся фразы, такие, как «ты... и все остальное... проплывшее мимо», чем незатронутость последними ею написанными вещами, прочитанными Пастернаком – впервые – с запозданием, чем беглость упоминания о невстрече его с родителями.

Признававшая только *экспрессии,* никаких *депрессий* Марина не понимала, болезнями (не в пример зубной боли!) не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе. Тут же последовал не ответ, а – отповедь, в которой Пастернак, по тогдашнему своему состоянию, вероятно, менее всего нуждался! (Отрывки из нее были опубликованы в подборке цветаевских писем журналом «Новый мир» № 4 – 1969 г.) Отповедь эта – один из ярчайших и яростнейших

цветаевских эпистолярных автопортретов, горькая и жаркая проповедь жизнеутверждающего и действенного начала – основы ее основ.

...Если обоим поэтам не пришлось встретиться в жизни так, как в письмах и рукописях, то проститься – довелось.

Борис Леонидович – вместе с юным тогда поэтом Виктором Боковым – провожал Марину в эвакуацию (от которой тщетно пытался ее отговорить) – в июле 1941 г., с Северного речного вокзала Москвы.

А вот что, десятилетие спустя, в октябре 1951 года, писал мне Пастернак о годах своей высокой дружбы с Мариной: «...В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. Я для вас писал "Девятьсот пятый год" и для мамы – "Лейтенанта Шмидта". Больше в жизни это уже никогда не повторялось...»

ЧЕХИЯ

Ни отъезда из Берлина, ни приезда в Прагу, ни встречи с Сережей на пражском вокзале, ни нашего пристанища самых первых дней (вероятно, то была одна из «кабинок» Сережиного общежития «Свободарна») – я не помню; даже тончайшей путеводной ниточки к ним не осталось в памяти, словно прямо с тех берлинских качелей мы с Мариной, закрыв глаза, перемахнули в чешскую деревню с неуютным собачьим названием «Мокропсы». Мало того, что Мокропсы, так еще и *Дольние!*

Началось, правда, с Мокропсов Горних – там мы сутки перебились под ненадежным кровом двух милых барышень-студенток, Сережиных знакомых – Маруси и Вали, – пока Сережа с Мариной искали в окрестностях подходящее жилье.

Кров был ненадежным, ибо хата (вся внутри в занавесках, вышивках, покрывалах и подзорах) принадлежала ведьмистой хозяйке, при которой нельзя было ни чайника вскипятить, и вообще, ни встать, ни сесть, ни дух перевесть, тем более нам, посторонним.

Правда, гауптвахтенность хаты смягчалась милотой и миловидностью барышень-сестер, а вызывалась, по-видимому, их же притягательным воздействием на мужскую половину мокропсинского студенчества; потенциальные женихи и несомненные «кавалеры» с настороженной непринужденностью все прохаживались вдоль забора, а бабка все ворчала, словом – как у Гоголя.

Кругом, куда ни глянь, расстилалось изумительное лето, зеленый простор, окаймленный лиловыми еловыми холмами, пересеченный речкой. Все окрестные деревеньки, каждый отдельный домик, выглядывали из густой оторочки кудрявых плодовых садов; в палисадниках цвели георгины, а на каждой калитке красовалась дощечка с надписью: «Позор на пса!», что означало всего лишь – «осторожно, собака!».

По неопытности я обрадовалась было огромному количеству гусей – непременному украшению сельского пейзажа Чехии тех лет, – но они, увы, оказались племенем воинственным, быстрым в атаке и щипливым; мне частенько доставалось от них, если не успевала схватить хворостину... Особенно злы они бывали, когда расхаживали «голышом», заживо ощипанные на перины. Пух на груди у них, впрочем, вновь к зиме отрастал. Но, как бы там ни было, хороши были эти белые, шипящие, по земле шарящие змеиными шеями белоснежные гусиные облака, рассеянные по обочинам проселков, обсаженных высокими, гладкоствольными сливами.

Поселились мы по ту сторону речки Бероунки, переправляться через которую приходилось на пароме, у высокого железнодорожного моста; тихая, мирная вода угрожающе

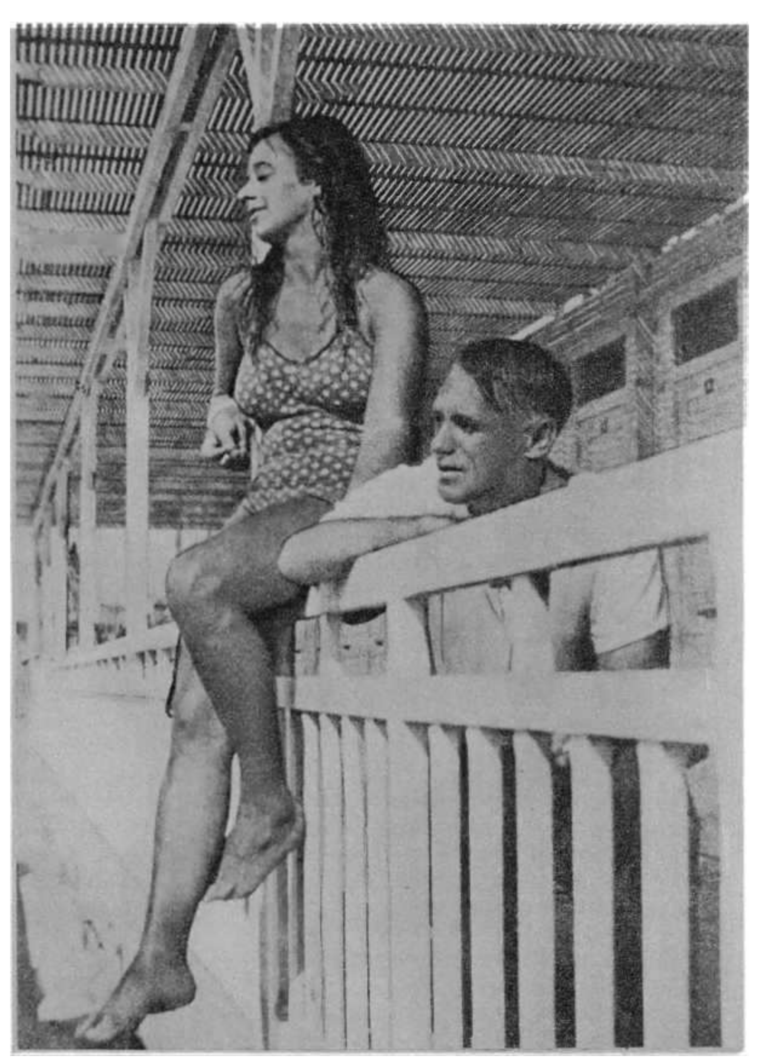
гудела под его пролетами. Тут холмы расступались, деревушка лежала как на ладони, потому и называлась Дольней. За покупками приходилось ходить в другие деревни; меня только радовало таскать кошелки – помогать маме.

«Протокольная» запись в моем дневнике рассказывает о нашем быте в первые месяцы по приезде в Чехию:

«Домик, в котором мы живем, расположен в долине. В нем три комнаты, из которых одну занимаем мы. Двор маленький, огород средний, собака Леве и куры. Домик выкрашен в желтый с белым цвет, крыша – розовая, черепичная. Живет здесь семь человек, из которых четверо детей. Не так далеко от нас – большое село Вшеноры. Там две лавки, есть трехэтажные дома и железнодорожная станция. День таков: встаем часов в восемь, Марина готовит завтрак, а я убираю все постели, два стола, оба подоконника и подметаю пол хозяйским веником. Потом иду за молоком, выношу помои и приношу воду из близкого колодца. После завтрака мою посуду, а Марина ставит варить обед и садится писать. Я тоже пишу свои четыре странички. После обеда иду гулять, иногда Марина берет меня с собой на прогулку. Вечером читаю и рисую и рано ложусь спать. Иногда кто-нибудь приходит в гости, иногда Марина куда-нибудь ходит.

Сережа обыкновенно четыре дня живет в Праге, в "Свободарне", занимается очень много. На остальные дни приезжает сюда. Утром ни за что не хочет есть, сердится на то, что мама дает ему какао вместо чаю и заставляет мазать хлеб маслом, и ему одному варит яйца, а ему это необходимо, потому что он очень худой и усталый. После завтрака он садится на свою серую кровать и обкладывается книгами или ходит взад и вперед по комнате и учит наизусть записанное в тетрадке. После обеда отказывается гулять, и напрасно Марина ему говорит: "Идем, Сереженька, ну в лес, ну во Вшеноры, ну на скалы!" – "Ну пойдем, папа! Ну пожалуйста!" – "Мариночка,

я не могу, мне нужно еще порядочно подготовиться к экзаменам. Начинается осенний ряд экзаменов, а провалиться я не хочу". – "Ну, неужели не можете?" – "Нет, Мариночка!" – "Ну хоть полежите тогда, хоть немного!" – "Хорошо, хорошо, полежу".



С. Я. Эфрон с дочерью. Начало тридцатых годов

И мы с Мариной уходим – во Вшеноры, в лавку, или на наши любимые пять или шесть скал.

Настает день Сережиного отъезда, и мы тогда встаем в шесть часов, Марина варит какао и жарит Сереже гренки с яйцами, Сережа бреется, одевается, я накрываю на стол и безумно тороплюсь, так что руки дрожат. Подаю сахар и соль и все нужное. Наконец завтракаем, очень быстро, если папа уезжает с поездом $7^{\underline{20}}$. Ну вот. Достаем Сереже его маленький чужой чемоданчик, кладу туда бритву, мыло, зубную пасту, зубную щетку, полотенце, носовые платки, тетради и достаю его непромокаемое пальто.

Идем провожать нашего папу. Марина что-то забывает дома и возвращается обратно, а мы с Сережей прячемся в канаву с нападавшими сливами. Слышим топот каблуков, мамин шаг. Тогда мы рычим и мяукаем, и Марина восклицает: “Фу! Вы сидели, как двое страшных бродяг – или нищих!” Прибавляем шагу, почти бежим сокращенной дорогой. Вот мост, вот и вокзал. Сережа берет билет, и мы садимся на скамейку. Вдруг: у-у-фью! – мимо нас мчится рыхлик в четыре вагона: Прага – Париж. Рыхлик – по-чешски скорый поезд. Грохот. Это он въезжает на мост.

Потом: дон-дон-дон... это Сережин. Вот. – “До свидания, Мариночка! Мы увидимся в пятницу!” – “До свидания, папа! Приезжайте скорей!” – “До свидания, Аля! До свидания, Мариночка!”

И поезд трогается».

Думаю, что из всех вокзалов, с которых когда-либо куда-либо отбывала, на которые когда-либо прибывала (или встречала, или провожала) Марина, больше всего ей в душу запал этот, Вшенорский: чистенькая, безлюдная пригородная станция, с прилаженными под навесом цветочницами, из которых свешивались настурции; два фонаря по краям платформы; семафор; рельсы.

Марина часто ездила в Прагу. В ожидании поезда, у этих фонарей она вела свой мысленный разговор с Пастернаком. Мысли мчали ее в пролетавшем мимо рыхлике к изголовью больного Рильке или в недосягаемую даль столь близкого по расстоянию Веймара.

По этой платформе вышагивались ее поэмы. По этим рельсам накатывала на нее даль. Россия.

Покамест день не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю...

...Из сырости – и стай...
Еще вестями шалыми
Лжет вороная сталь –
Еще Москва за шпалами!

И еще:

...Точно жизнь мою угнали
По стальной версте –
В сиром мороке – две дали...
(Поклонись Москве!)

Детская дневниковая запись – о внешних приметах Марининых дней в первой из чешских деревень (за три с небольшим года, вплоть до отъезда во Францию, мы жили в Дольних и Горних Мокропсах, Новых Дворах, Иловищах, Вшенорах, одну зиму – 1923/24 – Марина с Сережей – в Праге, а я – в гимназии-интернате в Моравской Тшебове).

Внутренние же приметы: первая «чешская» тетрадь Марины начата 6 августа 1922 года, а первое стихотворение в ней:

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но бог вошел... –

помечено 5 августа, то есть родилось еще вне тетради, до тетради, в разгар переезда, поисков жилья, устройства в нем,

знакомства с новыми людьми, обстоятельствами, условиями – то есть в *бытовой* суматохе и суете, из которой *такие* стихи не рождаются. (Эпиграф этой тетради, впоследствии открывающий последний прижизненный сборник «После России», вышедший в Париже в 1928 году, – слова Тредиаковского:

«От сего, что поэт есть творитель, – не наследует, что он лживец: ложь есть слово против разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь *могла и долженствовала* быть».)

Итак, тетрадь начиналась с «Сивиллы», сама же Сивилла, как и все цветаевские образы, шла издавна и издалека, далеко вперед, преображаясь и конкретизируясь в пути – от полудетского, вопрошающего: «О, для чего я выросла большая? Спасенья нет!», от «Слово странное – старуха! Смысл неясен, звук угрюм...» до кристаллизации темы прорицательницы, «выбывшей из живых», «с веком порвавшей родство» окаменевшего вместилища божественного, бессмертного дара и духа.

С основными своими темами Марина не расставалась всю свою творческую жизнь, и они, переходя из одной ипостаси в другую, как бы кустились, давая все новые ответвления от ее ствола и корней.

Так, по первоначальному плану, цикл «Сивилла», осуществившийся в трех стихотворениях, должен был состоять из девяти; предполагавшееся содержание пятого и шестого: «Сивилла, не помнящая (себя)» и «Сивилла, не помнящая (других)» естественно перелилось – из мифологической Греции в сказочную Россию – во вторую часть поэмы «Молодец», превратившись в зачарованное беспамятство Маруси, героини поэмы. (Работа над «Молодцем», продолжающим линию «русских» цветаевских поэм, была начата в Москве, накануне отъезда, а завершена в Горних Мокропсах, в течение двух, не перебитых ни одним стихотворением, последних месяцев 1922 года.)



Ариадна Эфрон. Париж. Середина тридцатых годов

Попутно тема Сивиллы родила – или вместила в себя – близлежащие: уходящей молодости, седых волос («значит, бог в мои двери – раз дом сгорел!», где бог – все тот же неизменный Феб, бог бессмертного вдохновения и призвания,

сжигающий смертное свое обиталище – плоть «прорицательницы»). Отблеск Сивиллиного «костра под треножником» лег – все в одной и той же тетради – и на цикл «Деревья», и на многие иные стихотворения.

Что до самого Молодца, обряженного в кумачовую рубаху, действующего в окружении русской сказочной завораживающей жути, то не разночтение ли он и не инако ли толкование незримого, но главенствующего героя «Сивиллы», не спешившийся ли герой поэмы «На красном коне», отнимающий у любящей и любимой все дорогое, но бренное – вплоть до жизни! – во имя неумирающего, вечного? Даже концы обеих поэм, уносящие, возносящие героиню в синюю, полыхающую твердь поэзии, – родственны:

...Доколе меня
Не умчит в лазурь
На красном коне –
Мой Гений!

(«На красном коне»)

...Зной – в зной,
Хлынь – в хлынь!
До-мой,
В огнь синь.

(«Молодец»)

Всегда поражавшее меня свойство Марининых лирических тетрадей (в их числе и этой, первой чешской, переплетенной в полосатый коленкор, с Сережиной дарственной надписью): сквозь их страницы просвечивают творчески преображенные календарные листки давно прошедших лет с их ничем не примечательными повседневностями, та растворившаяся в небытии реальность, обыденность, которая столь часто служила причиной возникновения столь отвлеченных от обыденности произведений.

Листкам календаря уцелевших повседневностей могут уподобиться некоторые записи моих детских дневников; по ним легко прослеживаются непосредственные первопричины иных цветаевских стихотворений, вернее то, как случайность первопричин выводила на поверхность листа Маринину мысль, непрестанно подспудно работавшую в ней. Вот, к примеру, обыкновенное описание обыкновенной прогулки: «Мы с Мариной – на реке. По воде идут неизвестно куда полуволны, полурябь. Приближаемся к пенным порожкам, проходим под мостом, где гремит эхо. Сырая тропинка между ив, как коридор... Тихо и осторожно, с камня на камень, подбираемся к какому-то дереву, которое Марина заранее уже любит. Вот оно близится, и через две минуты мы сидим на пригорке под ним, на его перекрученных иссохших седых корнях. Я хочу поговорить с Мариной, но она говорит: "Помолчи, дай послушать воду!" Слушая, мама выкурила две папиросы, полюбовалась на реку, записала отрывки стихов в маленькую тетрадку, а на обратном пути мы собирали ежевику и видели пустую змеиную шкурку...»

А стихи, напетые в тот день Марине «полуволнами, полурябью» маленькой уютной Бероунки, это: «Но тесна вдвоем даже радость утр», с их заклинающим рефреном: «Над источником слушай-слушай, Адам, что́ проточные жилы рек – берегам... Берегись!..»

Вот запись о «развлекательной» нашей поездке в Прагу, в гости к Сереже, с посещением театра (смотрели «Сверчок на печи» Диккенса), а до «Сверчка» гуляли в окрестностях «Свободарны» по унылому заводскому району (без готики и барокко!), пили кофе с рогаликами и «пивными» сырками в рабочей каварне (кофейной), говорили, шутили, смеялись, заходили в магазины, пытаясь купить необходимую в нашем хозяйстве сковороду, не зная, как она по-чешски называется, а после «Сверчка» ночевали в свободной кабинке Сережиного

общежития и уехали рано, чтобы дать Сереже доготовиться к экзаменам, вот-вот начинавшимся, – все просто и мило, мило и просто, разве что «Сверчок» чуть празднично приподнял поверхность данных полутора дней... Но что впитала в себя из этой милоты и простоты Маринина тетрадь?

Весь набиравший силу разбег цикла «Деревья» остановлен в ней на лету вклинившейся темой «Заводских», антитемой, по сути, «Деревьев»: «Стоят в чернорабочей хмури закопченные корпуса...» и «У последней, последней из всех застав...»

Да, вот чем схватила Марину за душу «Злата Прага»: рабочей своей окраиной, заводскими трубами и корпусами, изматывающей жалобой фабричного гудка, и – угаданными так, словно своими глазами увиденными, на собственные плечи взваленными, судьбами «сирых и малых, злых – и правых во зле!». А всего-то и было, что прошлась, казалось бы, беспечально, взад-вперед по этим улицам, не более чем угрюмым на вид...

Сама *фабричная суть* окраин капиталистических городов оказалась Марине внове; старая Москва была небогата фабриками и не ими славилась. Только Запад явил Марине несовместимость взаимосвязей городских пейзажей – и не только пейзажей... Ибо в эти же дни она пишет свою «Хвалу богатым» – сомнительный мадригал, посвященный с вершин всего богатства собственной нищеты великой нищете и тщете богатства: «...и за то, что в учетах, в скуках, в позолотах, в зевотах, в ватах, вот меня – наглеца, не купят – утверждаю: *люблю* богатых!..»

Сквозь идущее в том же «окраинном» потоке стихотворение: «Спаси господи – дым!» просвечивают и реальность нашего переезда – из одной деревни и хаты в другую, и – воспоминание о пражской «заставе»: именно так вот городская беднота перебирается с квартиры на квартиру, вернее:

из трущобы в трущобу. Сколько будущих наших смен места жительства в парижских пригородах предвосхищает это стихотворение!

А о наших деревенских, чешских переездах пусть расскажут все те же выписки из детского дневника...

«ПЕРЕЕЗД НА ЧЕРДАК

Вот приходит к нам хозяйка и за ней целый хвост детей и муж. Великолепный рыжий пес "пан Греко" лежит на наших вещах, раскинув лапы. Хозяйка в ужасе: "Кто допустил того пса до покоев?" Я-то знаю, кто, я вывожу собаку. Мы укладываем все вещи в тачку и очень рады, что ее повезет хозяин, и что не самим перетаскивать в руках. Я надеваю пальто, кладу во все карманы всякие отребья, чтобы и это не досталось хозяевам, прощаемся со всеми и уходим. Хозяин везет тачку, а мы торжественно плетемся рядом: Марина с лампой ["С той же лампою – вплоть! – лампой нищенств, студенчеств, окраин..."] и спиртом для примуса, а я с керосином и кофейником. Идем, идем, наконец заворачиваем в уличку, где страшная грязь. Доходим до лавки, на которой написано имя хозяйки, "Марианна Саскова", поворачиваем к черному ходу, Марина идет в лавку разменять деньги за перевоз, и наш новый хозяин вместе со старым помогает тащить вещи наверх. Комната прекрасная. Косое окно, довольно темно. Два стола, две кровати, три стула. Есть даже помойное ведро.

...Теперь мы тут живем. Марина впускает в наше косое окно и солнце и луну. Возле этого окна она всегда сидит и пишет, если не стоит возле примуса, разогревая, варя. В окно видны самые разноцветные деревья, и темно-зеленые, и красноватые, и коричневые. Они растут на горе. Еще на горе живут две хозяйские кошки, черная и серая. Их совсем невозможно поймать...»

Это – конец сентября. А в первых числах ноября – опять переезжаем. «Накануне мы с Мариной, по дороге в лес, прошли мимо уютного домика с желтой окраской, зеленой калиточкой. Я говорю маме: – Ах, как бы я хотела быть маленькой [мне – десять лет!], жить у дедушки с бабушкой вот в этом домике! А на другой день, вечером, приезжает папа и зовет Марину смотреть комнату. Когда они возвратились, я вдосталь наслышалась рассказов о новой комнате: низенькая, с тремя оконцами, изразцовой печкой и т. д.

На другой день, 2 ноября, начали перебираться. Первыми пошли мы с папой. Папа надел через плечо ремень и прицепил портплед и громадный набитый разным скарбом чемодан. Я же несла корзинку со всей маминой, папиной и своей обувью. Шли мы очень долго, а когда наконец пришли, то я увидела, что это был тот самый желтенький домик с зеленой калиткой. Во дворе стояла конура, из которой выбежала белая, очень изящная собачонка, бешено залаявшая на нас и закувыркавшаяся от злобы, что не может нас достать. Старушка хозяйка оказалась глухая и поэтому долго не открывала. Когда мы вошли в комнату, то я увидела, что она правда очень низенькая, и что направо от входа стоит изразцовая печь с духовкой и множеством заслонок, слева – два небольших окна с зелеными рамами, а третье, совсем маленькое, возле печки. Стол, скамейка длинная, две кровати, одна изголовьем к окну. Хорошо, что домик совсем рядом с лесом, близко будет ходить за хворостом. Сережа напрасно пытается договориться с хозяйкой о сене или соломе, чтобы набить матрасы: она не слышит и не понимает и предлагает купить у нее картошку или лук. Выкладываем наши пожитки и возвращаемся. Марина сажает Сережу отдыхать и читать "Войну и мир", а мы опять набиваем саквояж и корзину и идем вдвоем с мамой. Льет дождь, по дорогам текут ручьи грязной, глинистой воды. В одном месте идем в воде

по щиколотку. Наконец добираемся до нового жилья, опять выкладываем вещи и идем обратно той же склизкой дорогой, все время увязая в грязи. Возвращаемся на наш, уже почти совсем опустевший, чердак. Сережа разогрел суп и поджарил картошку. Обедаем все вместе, очень быстро, потому что Сереже надо ехать на лекции. В следующий раз встретимся с ним уже на новом месте...



Марина Ивановна с дочерью и сыном на Средиземноморском побережье. 1935 г.

Попрощавшись с папой, еще два раза относим с Мариной остатки вещей – в спинном мешке и в моей корзине, а в последний раз в корзине и в ведре, в которое Марина вкладывает кофейник с кофеем, жестянку с крупой, бутылку керосина и всякие тряпки, чтобы ничто не пролилось. В правой руке мама несет ведро, в левой лампу. А я несу корзину с посудой то в одной руке, то в другой. Очень стараемся не поскользнуться, чтобы ничего не разбить, особенно лампу.

Наконец, приходим насовсем. Собачонка, которую зовут Румыга, уже начала к нам привыкать – только лает, но больше не кувыркается. Раскладываемся, пристраиваем всю посуду на возвышение у печки, а кастрюли и кружки вешаем на специальные гвозди под полкой, украшенной вырезанными из бумаги фестонами.

Вечереет. Марина из-за переезда разрешает мне не заниматься арифметикой, а почитать "Ревизора". А сама садится за свою тетрадь, и мы обе едим яблоки, сколько хотим...»

Так мы и зимовали в этой комнате с зелеными рамами и низким небеленым потолком – у глухой старушки с собакой Румыгой. Зимовали хорошо, тесно, дружно, пусть и трудно. Трудности мне стали видны впоследствии, девочкой я их просто не понимала, может быть, потому, что легкой жизни и не знала; то, что на мою долю приходилась часть домашней работы, считала не только естественным – радостным; то, что у меня было всего два платья, не вынуждало меня мечтать о третьем – а оно было бы кстати хотя бы потому, что случалось мне и виснуть на заборах, и цепляться за сучья, и потом, заливаясь слезами, зашивать, с великой тщательностью, прорехи; то, что редки были подарки и гостинцы, только повышало их волшебную ценность в моих глазах.

Главное же: мужественная бедность Марины и Сережи, достоинство, выдержка и зачастую юмор, с которыми они боролись со всеми повседневными тяготами, поддерживая и ободряя друг друга, вызывали у меня такое *жаркое* чувство любви к ним и *соратничества* с ними, что уже это само по себе было счастьем. Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы вместе, у стола, освобожденного от еды и посуды, весело протертого мокрой тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом и круглым жестяным щитком – рефлектором; Сережа читал

нам вслух привозимые им из Праги книги; Марина и я, слушая, штопали, чинили, латали. С тех пор и навсегда весь Гоголь, Диккенсовы «Домби и сын» и «Крошка Доррит» слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином и вытопленной хворостом печкой.

Книг было мало; своих – раз-две и обчелся, и каждая, заполученная и прочитанная, оказывалась событием.

Однажды Сережа достал «Детство» Горького, необычайное, не схожее ни с чьим, ранее читанным и сопережитым детством, и Марина, которой случалось чутко задремывать с иголкой в руке под наизусть знакомую ей гоголевскую чертовщину или Диккенсову трогательность, – эту книгу слушала по-особому, иногда прерывая чтение краткими восклицаниями одобрения.

Случалось Сереже читать и по-французски, по программе изучавшегося им в университете языка, – какие-то отрывки, рассказики, которые он тут же на ощупь переводил на русский. Марина жестко, как деревенский костоправ – вывихи, ставила ему произношение и подсказывала значение непонятных слов.

Однажды и она стала в тупик перед словом «défroque» (хлам, ветошь), неожиданно и как-то некстати возникшим среди гладкого и даже сладкого текста; пришлось обратиться к словарю, старого издания, многоглагольному, но беспомощному. «Де – дед – дес – деф...» – бормотал папа, водя пальцем по мелким строчкам, «...деф... вот! Défroque – пожитки мертвого монаха. Гм... Странно! При чем тут монахи? Тут про барышню, про молодого человека, про весну... Странно!» – «И – выразительно! – подхватила мама. – Какая в этом печаль, отринутость, нищета... Что может быть *нищее* мертвого монаха? Кстати: какие у монаха, да еще мертвого, могут быть *пожитки?* Спал на голых досках, хлебал из монастырской миски, похоронен в собственной рясе...

Власянице». – «Ну, может быть, *ложка* осталась? – неуверенно предположил папа, уже смеясь глазами. – Кипарисовая, с крестиком?» – «Ложка! *Ложка* – не пожитки. Пожитки – это всякая дребедень, барахло, вот как у нас. Да, но при чем, все же, монах?» – «*Мертвый!* Мертвый монах! – с жаром ввязалась я. – Наверное, в нем все и дело. Остальное – для отвода глаз. Может быть, он упырь и оборотень и теперь прикидывается молодым человеком? Как у Жуковского? Как у Вас, Марина, в "Молодце"?» Тут уж и Марина засмеялась, и «в этот вечер больше не читали», по крайней мере по-французски.

...Счастьем была наша семейная сказка – импровизация, которую Марина и Сережа рассказывали мне перед сном, когда я себя хорошо вела, что случалось не каждый день. Это была длинная звериная повесть с приключениями и продолжением; начало ее терялось в юности моих родителей и в моем самом раннем, почти младенческом, детстве; Сережа замечательно изображал Льва и Обезьяну, Марина – Кошку и Рысь.

Изначальные Звери множились на подсобных; их странствия, проделки, побеги из неволи, преследования и спасения начинались всегда с центральной – Вацлавской – площади Праги, чтобы оттуда растечься по тридевятым царствам и тридесятым государствам. Лев был благороден, Рысь – непоследовательна и коварна, остальные действующие лица обладали иными свойствами; все они попадали в удивительные переплеты, из которых выручали друг друга – иначе бы мне не заснуть...

Издавна и нежно повелось – Марина звала Сережу Львом, Лёве, он ее – Рысью, Рысихой; сказочные эти клички вошли в домашний, семейный наш обиход, привычно подменяя подлинные имена, и так – до самого конца жизни. Маринины тетради испещрены Сережиными «львиными» рисунками;

уходя, а чаще всего – убегая («утапатывая», как говорил Лев из сказки) – в университет ли, по бесчисленным ли делам, Сережа набрасывал силуэт Льва: благодарного, пообедавшего, с толстым пузом, или – привычно-тощего, вскакивающего в последний вагон уходящего поезда; Льва, плачущего крупными слезами или смеющегося во всю пасть – чтобы Марина, раскрыв тетрадь, улыбнулась ему вслед, принимаясь за работу...

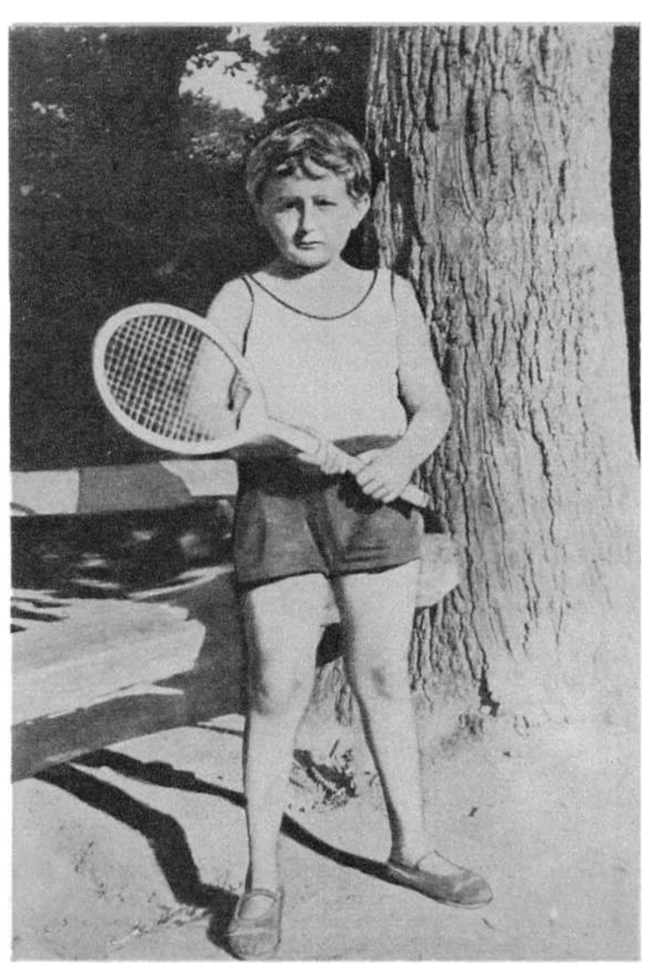
Марина же часто подписывала свои письма к Сереже и ко мне заглавной буквой «Р» и рисовала – в виде росчерка – длиннохвостую дикую кошку или только ухо ее, с кисточкой, – чуткое ухо Рыси...

А вот Маринин «Рысиный» автограф в моей тетради, посреди моей, развалистым, небрежным почерком размахнувшейся, «Характеристики Ноздрева»: «Пьяница, неглуп, сжил со света жену, сживает и кормилицу, и потом еще какую-нибудь...»

«Сегодня, 26 сентября по старому стилю, в день моего тридцатилетия, в 7 ½ ч. вечера ты, обманом не желавшая писать и разозленная моей прозорливостью, – в ответ на мое предложение нарисовать тебе рысь ответила: "Тьфу на Ваших рысей!" (Повторила дважды.)»

Тут, между моей ленью, маминой прозорливостью и предложением нарисовать мне рысь – высшую, так сказать, награду за прилежание, которым я вообще не отличалась, – небольшой логический разрыв. Видно, мне влетело от этой самой прозорливости, и я обиделась (табельный, все-таки, был день!) – Марина спохватилась, захотела меня утешить, а я обозлилась и заупрямилась... Так или иначе, мы быстро помирились, потому что – вот она (все же), Рысь, изображенная мамой, Рысь в роли голубя-миротворца, хоть и с угрожающей кисточкой на ушах, и в позе готовности к очередному (прозорливому) прыжку... И дальше, опять же среди Ноздрева,

мое утихомиривающееся ворчанье: «Милая Рысь, так как сегодня твое рожденье, поздравляю тебя и забываю все твои обиды. Хоть ты теперь и старая тридцатилетняя Рысь, но сидишь еще крепко на спине... Я тебе подарила коробку спичек, свою картинку льва в пустыне, грушу, три тетрадки и три папиросы, а Вы говорите, что я плохо пишу. Мне жаль, что в день рожденья Рысь в Вас проснулась донельзя...»



Мур. Середина тридцатых годов

С Рысью можно было быть на ты, с Мариной – только на Вы.

...И еще было счастье – настолько ведомое каждому человеку, что не стоило бы о нем и заикаться, если бы не во многом утраченная нами ныне особость его «компонентов», – счастье детских праздников! *Заслуженности* их, ибо они – понятие не только календарное...

Счастье елки, которое начинаешь выстраивать ангельским поведением и титаническим трудолюбием – не без срывов, увы, – грозящих обвалом всего сверкающего здания!

Счастье украшений, сделанных собственными руками из бережно накопленных в большой картонке под кроватью аптечных баночек и конфетных оберточек, обрезков и картинок, яичных скорлупок и спичечных коробок, собранных в лесу шишек и букетиков сухой рябины – что ни игрушка, то изобретение, овеществленная *идея*... Цветная бумага, привезенная папой, ножницы, сваренный в жестянке мучной клейстер, картонная «палитра» с матовыми пуговками акварели, проволока, катушка ниток... Чтобы дорваться до этих богатств, первоисточника будущих елочных сокровищ, чтобы иметь право всласть изобретать, резать, клеить, раскрашивать, надо хорошо, на совесть – и быстро! – справиться со всеми дневными задачами и обязанностями. И тогда – вот твой заслуженный край стола, твой заслуженный – наравне со взрослыми – досуг, заслуженное чудо творимого тобой и тобой приближаемого праздника.

Наверное, они были ужасны, мои косолапые картонные тигры в каторжную полоску, тряпичные деды-Морозы, кривые звезды, спичечные ангелы, скорлупочные клоуны, мельницы и санки из коробков; наверное, аляповаты были хлопушки, а бумажные цепи достойны Бонивара – но какие фабричные игрушки с их безупречной формой и стандартным глянцем могут сравниться с детскими самодельными,

в которые столько *души* вложено, столько старания и – творческого восторга! Только звезды небесные им сродни!

Как они, украшения эти, оживали в теплом мерцании свеч, отъединяясь от нас, уже не властных над ними, как горделиво и кротко царствовали на зеленых, пробудившихся от морозной скованности, сильных, топорщащихся ветках...

...А еще было волшебство «не наших» праздников, чешских, деревенских. На «святого Николая» в лавках пана Балоуна во Вшенорах и пани Сасковой в Мокропсах продавались пряники – фигурки святого, от маленьких, подешевле, до здоровенных, которые лишь самим лавочникам могли оказаться по карману. Каждый пряник был щедро разукрашен цветной глазурью, ею были выписаны по ржаному его полю складки одеянья, епитрахиль с крестами и посох. Прилепленный сахаром бумажный печатный лик в благостных морщинах взирал на покупателя с выражением всепрощения. Оно оказывалось кстати: налюбовавшись печеным чудотворцем, малолетние дикари и еретики пожирали его до крошки, из почтения начиная с ног...

На святках в убогих витринах сельских лавок располагались игрушечные вертепы с деревянными, бороздчатыми и угловатыми богородицами, Иосифами, младенцами в яслях с настоящей соломой, волхвами, волами и ослами; над ними дрожала большая хвостатая звезда из серебряной канители; дети прибегали издалека полюбоваться на эти кустарные чудеса, да и взрослые останавливались умиленно. Деревня дышала сложным, пряным, сытным запахом деревенского праздника – ваночек (от слова ваноце, рождество) – продолговатых хитросплетенных булок с миндалем и изюмом, только что вынутых из духовок; жарящихся гусей, лука, шафрана, ванили.

Откуда-то из-за синих гор появлялись кукольники, давали представления в зальце «мэрии». Театр умещался на столе;

вел спектакль Кашпарек, чешский Петрушка, длинноносый человечек с неподвижной улыбкой полумесяцем, в полосатом колпачке с кисточкой. Представление начиналось с загадки, задаваемой Кашпареком детям, – об украденной страшным черным орлом маленькой звездочке, находившейся в плену у похитителя добрых три сотни лет... «А потом пришли охотники, пиф-паф, от орла только перья полетели! Он выпустил пленницу из когтей, и вот она вновь сияет на небосклоне... что же это за звездочка, дорогие мои мальчики и девочки?» – «Ческословенско! Чехословакия!» – вопят маленькие зрители и бьют в ладоши. (В ту пору обретенной в 1918 году чехами независимости их от Габсбургов сравнялось всего 4–5 лет.) «Правильно, дорогие мои. Весьма справедливо, уважаемые! А сейчас мы покажем вам древнюю легенду о знаменитом докторе Фаусте, которую артисты наши исполняют на этой сцене не одну сотню лет!»

И правда, легенда оказывается догётевской, и очень старинными – куклы в парчовых и бархатных нарядах, приводимые в гибкое движение – вплоть до точеных пальчиков – сотнями незримых нитей.

Ремесло, вернее – высокое искусство бродячих кукольников, передавалось из поколения в поколение, вместе с дивными, готически-удлиненными фигурками марионеток, костюмами, декорациями, реквизитом; вместе со взыскательной любовью к делу и ласковым уважением к зрителю; вместе с традиционным, в большинстве своем народным, репертуаром; вместе с керосиновым и свечным освещением...

Об этих своих счастьях позволяю себе упоминать (отстраняя многие иные, ибо не об этом речь) только потому, что они, несомненно, были островками радости и для моих родителей, передышками на пути теснивших трудностей и нараставших тревог. Но детские радости лежат на поверхности событий; радуясь чужим святкам, просторам, чужому

гостеприимству, дети эмигрантов до поры до времени не сознают своей *национальной* непричастности всему этому – и многому другому; своего национального сиротства и неравноправия. Им, живущим сегодняшним днем и часом, пока еще чужда забота о грядущем и чувство ответственности за него. Они верят в сами собой приходящие, не заработанные и не выстраданные чудеса; так, пока Сережа ломал себе голову над тем, как выправить и направить пополам сломанную жизнь, пока Марина уходила в творчество, как в схиму, я всего-навсего мечтала о том, как найду «кошелек с двумя миллионами», один из которых отдам родителям, а второй распределю между «бедными русскими студентами», маминой сестрой Асей и Максом Волошиным... «и еще 500 крон Людмиле Чириковой на книги. Мы зажили бы хорошо, ездили бы куда захочется третьим классом (!), у нас чаще мыли бы полы и часто стирали. Однажды, начав подметать, я нашла бы возле своей кровати клетку с кроликами, с двумя красноглазыми кроликами...». Мечты миллионера!

В конце августа 1923-го родители отвезли меня в Моравску Тшебову, маленький, пограничный с Германией городок, где находилась русская гимназия-интернат для детей беженцев. Сережа подготовил меня по арифметике, к которой я была идиотически неспособна, Марина попыталась подогнать грамматические основы под беглое мое писанье и чтенье взахлеб; еще я выучила латинский алфавит и длинную молитву «Верую» – короткие знала и до того.

Марине не хотелось меня отпускать: по старинке она считала, что девочкам образование ни к чему, и – боялась разлуки. И на разлуке, и на образовании настоял отец. Кроме того, в гимназии работали в качестве воспитателей недавние однополчане отца, супруги Богенгардты. Он – высокий, рыжий, с щеголеватой выправкой, офицер еще царской армии,

она – крупная, громоздкая, с волосами, собранными на затылке в тугой кукиш, с явно черневшими над верхней губой усиками – сестра милосердия, мать-командирша.



Ариадна с собакой. Середина тридцатых годов

На фронте она выходила его после тяжелых ранений, отлучила от водки, отвела от самоубийства, стала его женой. И, чтобы жизнь получила оправдание и смысл, оба посвятили ее детям-сиротам. (Много лет спустя, в середине тридцатых годов, на парижской стоянке такси я вдруг увидела в одной из машин рыжую бороду, напомнившую мне детство. – Богенгардт! – Рассеявшаяся было дружба возобновилась. Мы с родителями ездили в богенгардтовский дальний пригород из своего, в маленький домик, в котором вокруг постаревшей, еще более раздавшейся, но не сдававшейся Ольги Николаевны толпились и копошились приемыши – которое уж поколение! Трудно, почти невозможно было обеспечивать их существование ненадежным заработком шофера, но любовь к обездоленным детям – великая чудотворица. Это были люди большого сердца.) У них остановились Марина и Сережа на недолгое время моих приемных экзаменов – потом родители расстались со мною до Рождества.

2 сентября 1923 года они переехали из деревни в Прагу.

Единственной усвоенной мною в Тшебове наукой оказалась наука общежития. По остальным я успевала, пока хватало домашней подготовки; вскоре, оставаясь первой по русскому языку, стала – среди сорока одноклассников – последней по арифметике.

Судьбы детей, «заключенных» в продолговатые белые бараки интернатского городка и отгороженных от окружающего глухой кирпичной стеной, были однообразно-причудливы и бесконечно печальны. После отбоя в дортуарах девочки рассказывали о себе, о близких, которых многие уже потеряли. При свете ночника возникали неведомые мне русские города и городишки, дома, квартиры, именья, семьи – потом ухабистые пути бегства, кромешные трущобы сказочного Константинополя и его притоны, в которых «танцевала» или «пела» мама – или старшая сестра...

После подъема все были дети как дети; учились, играли, плакали, шалили, дразнились, мирились. И когда однажды в тшебовское захолустье прибыл, в поисках наших «сенсационных» автобиографий, корреспондент какой-то французской газеты, многие из младших не сумели их написать, настолько «неинтересным» казалось им пережитое. Ну а некоторые начали просто фантазировать на заданный сюжет. Так, один милый мой маленький товарищ начал свое жизнеописание словами: «Когда я родился, мне было пять лет», а закончил фразой: «Там меня съел лев, там меня и похоронили».

Директора звали Адрианом Петровичем; его именины отмечались торжественно и благолепно. Ужасный наш батюшка, полковой священник в грохочущих сапогах, грубиян и человеконенавистник, укрощенно служил молебен. Потом к директору подходили ученики – по одному от класса – и вручали ему приветственные адреса, красиво написанные на ватмановских листах, с заголовками и бордюрами в русском стиле. Я тоже нарисовала какие-то ужасные – со страха испортить бумагу – фиоритуры и написала поздравление в стихах. Хоть и сочинялось оно от лица первого класса, начало его получилось несколько «личным»: «Как это слышать мне отрадно, Вы – Адриан, я – Ариадна». Забыла, что следовало за этой чушью, а жаль, наверное, было забавно... Директор прослезился, рывком приподнял меня так, что я пересчитала носом пуговицы его жилета, прижал к груди и воскликнул: «Не знаю, как пишет мать, но дочь – прямо Пушкин!»

Долго и незаслуженно дразнили меня после этого Пушкиным.

Приехав на несколько рождественских дней в Моравску Тшебову, родители сняли комнату в квартире, тихой и темной от заставленности полированной, в готических башенках, мебелью и завешенности плюшевыми с бомбошками занавесками и скатертями.

– Тебе нравится? – спросила Марина, только что выведшая меня из интернатской зоны.

– Очень! – от всей души ответила я.

– И напрасно. От всего этого задохнуться можно. Все – подделка под что-то, и – под соседей. Добропорядочный трафарет. Немецкое мещанство. Пойдем-ка погуляем, пока папа у Богенгардтов!



Одна из иллюстраций Ариадны Эфрон к поэме М. Цветаевой «Крысолов». Париж. Конец двадцатых годов



К поэме «Крысолов». Рисунок А. Эфрон. Париж. Конец двадцатых годов

Мы вышли. Было снежно и ясно. Посреди площади молчал фонтан пышного барокко. Отступя от него стояли,

прижавшись к небольшой, но импозантной ратуше, как бы почтительно взяв ее под руки, дома, украшенные лепниной и подсахаренные снежком. После четырех месяцев безвыходного интерната городок показался мне раем. Я вертела головой, стараясь разглядеть все сразу и Марину, болтала о девочках, об уроках, о том, что хорошо кормят и хлеб даже остается; крепко держала Марину за руку, как маленькая. Она слушала, не перебивая и как бы грустно, и как бы издалека; изредка задавала короткие вопросы – вычесываю ли волосы частым гребнем? понимаю ли задачи с купцами, с поездами, с бассейнами? С кем дружу? Почему? А Чарскую – читаю? («Нет, конечно! Вы же не велели!»)

Да, она приглядывалась ко мне со стороны, вела счет моим словам и словечкам с чужих голосов, моим новым повадкам, всем инородностям, развязностям, вульгарностям, беглостям, пустяковостям, облепившим мой кораблик, впервые пущенный в самостоятельное плаванье. Да, я, дитя ее души, опора ее души, я, подлинностью своей заменявшая ей Сережу все годы его отсутствия; я, одаренная редчайшим из дарований – способностью любить ее так, как ей нужно было быть любимой; я, отроду понимавшая то, что знать не положено, знавшая то, чему не была обучена, слышавшая, как трава растет и как зреют в небе звезды, угадывавшая материнскую боль у самого ее истока; я, заполнявшая свои тетради ею – я, которою она исписывала свои («Были мы – помни об этом в будущем, верно лихом! я – твоим первым поэтом, ты – моим лучшим стихом»...) – я становилась *обыкновенной девочкой.*

Дальше, во время прогулки уже с Сережей:

– Да, конечно. Если бы тут родился Гёте. Если бы жил, как в Веймаре. Или, хотя бы, остановился проездом. Тогда город обрел бы смысл – духовный смысл! – на века, вместе с этой вот ратушей, с этим фонтаном.

Что Гёте без Веймара? – Все, т. е. *весь* Гёте, с Вильгельмом Мейстером, Фаустом, даже Германом и Доротеей. А – Веймар без Гёте? Германский городок для – ну, обитателей, обывателей...

– То есть, город не написанных героев? – предполагает Сережа.

– *Обыватель* – не герой! – отрезает Марина. – Веймар без Гёте – город Гаммельн; знаете? из легенды о Крысолове. Город, ждущий Крысолова – на свою голову. *Заслуживший* его всем своим практическим, бездуховным бытием; своим провозглашением мещанства, как единственно возможной, единственно разумной формы бытия...

Так – исподволь – задумывался, затевался «Крысолов».

Маринина черновая тетрадь, вторая в Чехии – «Начата 10 нового мая 1923-го в День Вознесения, в Чехии, в Горних Мокропсах, – ровно в полдень. (Бьет на колокольне.)».

Первая строка: «Время, я не поспеваю». Вторая – «Мера, я не умещаюсь». Варианты «Беженской мостовой»: «Беженская мостовая: Целый ад, разверстый под Опрометями господ... Время! я не поспеваю!» И, следом, развитием темы *времени* – варианты стихотворения «Прокрасться»: «А может, лучшая потеха – Скрыть, *будучи?* Перстами Баха Органных не тревожить эхо? Прокрасться, не оставив праха На урну!» И вновь – Сивилла, во времени – остановившаяся, но время же – грядущее! – прорицающая. Греция; Спарта:

«Здесь никто не сдается в плен, Здесь от века еще не пели, И не жаловались; взамен Пасторалей и акварелей: Травок, лужиц, овечек, дев – Спарты мужественный рельеф». И – «Спарта жаркая: круть и сушь! Спарта спертая: скоком конским Здесь закон по уступам душ. Каждый взращивает лисенка Под полою...».

И еще и еще греческие, италийские, мифологические вспышки и сполохи, разбросанные по стихотворениям отсветы столь далекого классического костра!.. «Над ужаленною

Федрой Взвился занавес, как гриф...», «Глазами заспанных Ариадн – Обманутых...», «Женою Лота насыпью застывшие столбы...», «Волчицы римской Взгляд, в выкормыше зрящей – Рим!», «Час Души – как час струны Давидовой сквозь сны Сауловы...», «Так Поликсена, узрев Ахилла Там, на валу...» И вновь и вновь: темы времени – Вечности и времени – «Минуты ми́нущей»; всплески российской тоски; библейские вариации – и все пронизывающая Сивиллина, сибиллическая тема Рока...

Все это, нагнетаясь, накручиваясь, нарастая, требует выхода, осуществления и осмысления в просторе большого произведения, требует единого костяка крупной вещи, ее ограничительных, но раскрепощающих и организующих законов.

В черновую тетрадь начинает – исподволь пока еще – внедряться Трагедия – среди колонн стихов, их нервных вертикалей – большими плоскостями прозы: предварительных планов пьесы «Ариадна»; «биографических» сведений о ее героях; их характеристик; готовится ложе античной трагедии для современного и вечного потока страстей и бед человеческих.

Стихи (у Марины всегда – монологи, всегда – безответные!), облеченные в плоть героев, наконец-то смогут обрести право на *диалог...*

Сквозь стихотворения и отдельные строки, строфы, написанные уже в осенней Праге, после переезда туда из деревни, просвечивает город, именно этот, неповторимый...

«Как бы дым твоих не горек Труб, глотать его – все нега! Потому что ночью – город – Опрокинутое небо... – Аллеи последняя алость... – По набережным, где седые деревья... – Фонари, горящие газом Леденеющим... – Улицы не виноваты в ужасах Нашей души... – Прага, каменная поэма...» – и,

наконец, встает во весь свой ночной рост «Пражским рыцарем»: – «Бледнолицый Страж над плеском века, Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку...»

И от Рыцаря, от того моста над той Влтавой, ощупью черновиков, сквозь ожившую уже ткань первой картины «Ариадны» (*мимо* и наперекор ее путеводной нити, ведшей из лабиринта к свету), – к лабиринту великого отчаянья поэм «Конца» и «Горы», неотвратимо назревающих в недрах души и глубинах тетради.

Скоро они, поэмы эти, прорвут все плотины прочих творческих замыслов, подобно тому как чувство, их (поэмы) породившее, перемахнет через оплоты задуманного, положенного, возможного.

«Есть чувства, – писала Марина в те дни, – настолько серьезные, настоящие, большие, что не боятся ни стыда, ни кривотолков. Они *знают,* что они – только тень грядущих достоверностей».

Такими достоверностями и стали поэмы «Конца» и «Горы».

Разрыв между их героями произошел, судя по Марининой записи, 12 декабря 1923 года. Это не был обрыв «вообще отношений», начавшихся задолго до пражской осени 1923-го и длившихся до самого отъезда Марины в Советский Союз, а для героя Поэм длящихся и по сей день, ибо он через всю свою жизнь, многотрудную и мужественную, пронес высокую, верную, самоотрешенную память о коротком и горестном счастье, осенившем его.

Я не взялась бы говорить о герое Поэм – не мое это дело и вообще ничье, ибо все, имевшее быть сказанным и обнародованным о нем и об их героине, сказано в Поэмах Мариной и ею же обнародовано – если бы не «кривотолки», те самые, «которых не боятся чувства», но от которых страдают люди, а вместе с ними – и истина.

Далеко не все Маринины корреспонденты и собеседники, мимолетные «друзья» и просто знакомые оказались впоследствии на высоте ее доверия или хотя бы на уровне элементарной воспитанности (как ее ни прививали им в детстве), публикуя на страницах зарубежной печати «воспоминания» о Цветаевой и ее близких, касаясь обстоятельств их жизни и поворотов их судьбы. Речь не о тех «воспоминателях», кого память подводит на старости лет – с кем не бывает! – и не о тех, кому недостает сердца или глубины – на нет и суда нет! – речь о небескорыстных сенсационерах, о недоброжелателях-обывателях, сводящих – всегда на расстоянии безнаказанности – посмертные или прижизненные личные или политические счеты; о дельцах от окололитературы, плодящих домыслы и вымыслы, калечащих факты в своих якобы «исследованиях творчества и биографии».

Герой Поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость – с ироничностью, отзывчивость – с небрежностью, увлеченность (увлекаемость) – с легкомыслием, юношеский эгоизм – с самоотверженностью, мягкость – со вспыльчивостью, и обаяние это «среди русской пражской грубобесцеремонной и праздноболтающей толпы» (определение, принадлежащее перу прекрасного человека – В. Ф. Булгакова, последнего секретаря Л. Н. Толстого и искреннего друга нашей семьи) – казалось не от века сего, что-то в обаянии этом было от недавно еще пленявшего Маринино воображение XVIII столетия – праздничное, беспечное, лукавое и вместе с тем, и прежде всего – рыцарственное...

Обаятельна была и внешность его, и повадки, и остроумие, легкость реплик и быстрота решений, обаятельна и сама тогдашняя молодость его, даже – мальчишество...

Обаяние лежало на поверхности – рукой подать! – хоть и шло изнутри, где все было куда более значительным,

грустным и взрослым, даже – трагическим, ибо и эта жизнь, подобно жизни моих родителей, не хотела и не могла привиться к чужеродности эмиграции.

И – не привилась.

Герой Марининых поэм, коммунист, мужественный участник французского Сопротивления, выправил начальную и печальную нескладицу своей жизни, посвятив ее зрелые годы борьбе за *правое дело,* борьбе за мир, против фашизма.

Что еще сказать? Он, сквозь годы войн, германские лагеря уничтожения сберегший Маринины письма и автографы Поэм, прислал их в Россию, в цветаевский архив – с человеком, которого счел *верным,* т. е. неспособным нарушить тайны сугубо личной переписки, чтя память писавшей и волю адресата.

Он долго ждал этой верной оказии...

Вот передо мной его фотографии: лицо юноши; лицо бойца республиканской Испании; и – снимок прошлого, 1973, года; сколько лет прошло! сколько – эпох! «Но глаза – глаза твои я вижу: те же...»

Нет, годы не властны над обаянием; не властны они и над благородной памятью сердца; и над мужеством.

Еще скажу, что Сережа любил его, как брата.

Я только что упомянула последнего секретаря Льва Толстого и биографа его – Валентина Федоровича Булгакова. В те годы он был одним из организаторов и председателем «Союза русских писателей» в Чехии и вместе с проф. С. В. Завадским (председателем «Комитета по улучшению быта русских писателей в Чехословакии») и Мариной был избран в состав редакционной коллегии затевавшегося в Праге и ее предместьях альманаха «Ковчег».

Название это было предложено Мариной («семь пар чистых и семижды семь пар нечистых» – и все оказавшиеся литераторами, прибившимися в утлом суденышке к берегам Влтавы!).



Ариадна с Муром и своим приятелем Олегом Туржанским. Середина тридцатых годов

Альманах затевался долго, сколачивался трудно – буквально годами, – и у Валентина Федоровича было предостаточно времени, чтобы сблизиться – сперва на почве совместной работы, потом на правах приятельских – с Мариной и с Сережей (Сережа, автор небольшой книги рассказов «Детство», вышедшей в Москве до революции, стал членом правления «Союза русских писателей»).

Валентин Федорович диссонировал с окружавшей его средой не меньше, чем сама Марина, но – иначе, *наоборот* ей: в эмигрантском ковчеге она была несомненным *змием,* а он – несомненным голубем, исповедовавшим закон «смиренномудрия, терпения и любви» по Ефрему Сирину и отчасти по Л. Н. Толстому. И внешность его была «голубиная», благолепная, и жил он со своей маленькой семьей в простым глазом видимых благолепии, чистоте и вегетарианстве, в кажущемся душевном благополучии, и все это, вместе взятое, вызывало у некоторых из окружающих – навоевавшихся, намаявшихся и маяться продолжавших – ироническую ухмылку наряду с бесспорным уважением. «Толстовство! Вегетарианство! Непротивление злу!» Как говорится, «мне бы ваши заботы»! И охотно нагружали его заботами своими собственными.

Однако некоторая «пастельность» облика Валентина Федоровича скрывала душу отнюдь не вегетарианствующую, ум острый, проницательный, широкоохватный, далеко не догматического склада, что, в частности, и позволило ему сблизиться с моими родителями, понять и полюбить их.

Особо стоит упомянуть о его, по тем, полувековой давности, временам, исключительной восприимчивости к Марининому творчеству «сложного периода», невнятному огромному большинству ее зарубежных современников. Вспоминая о совместной работе над «Ковчегом», Булгаков пишет: «Сама Марина Ивановна дала для сборника большую «Поэму Конца». Этой не помогла бы никакая анонимность. Необыкновенно сжатый, своеобразно-четкий, образный и звучный, чтоб не сказать *щелкающий,* стих Марины Цветаевой можно узнать за тысячу верст, даже и без надписи: “се – лев, а не собака”... Нас, редакторов сборника, *очень ругали* потом за помещение в нем “Поэмы Конца”, но я все же и тогда был, и теперь [1960 год] остаюсь при мнении, что поэма эта, как и все,

что писала вдохновенная Марина, вещь – замечательная. Но только в данном случае надо иметь уши, чтобы слышать».

У Валентина Федоровича были и глаза, чтобы видеть: набросанный им портрет Марины энергичен и точен: «...Глаза были большие, острые и смелые, “соколиные”... ни кровинки в лице, ни румянца. Так странно и... жалко! Головка посажена на шее гордо, и так же гордо, и быстро, и энергично обращалась – направо, налево. Походка и все движения Марины Ивановны вообще были быстры и решительны... Плачущей и даже только унывающей я ее никогда не видал. Подчас она все же грустила, жаловалась на судьбу, например – на разлуку с Россией, на переобременение хозяйством и домашними делами, отвлекающими от литературной работы, но жалобы и сетования ее, – вообще редкие, – никогда не звучали жалобно и жалко; напротив, всегда гордо, и я бы даже сказал – вызывающе: вызывающе – по отношению к судьбе и к людям.

Среди не просто бедной, а буквально нищенской обстановки своей квартиры Марина Ивановна, с ее бледным лицом и гордо поднятой головой, передвигалась, как королева: спокойная и уверенная в себе...»

В последующие годы, когда большинство эмигрантов перебазировалось в другие страны – в основном во Францию, Валентин Федорович, с женой и двумя дочерьми, остался в Чехословакии. Много сил и труда вложил он там в создание Русского культурно-исторического музея, для которого собирал «доброхотные даяния» – материалы, рукописи, произведения искусства, вывезенные из России или создававшиеся русскими за рубежом. Средств на приобретение этих ценностей никто не отпускал, ибо ценностями они тогда не почитались...

От Марины Валентин Федорович получил типографские оттиски и рукописные списки многих ее произведений

и – легкую бамбуковую ручку, которой она писала около десяти лет. Еще она передала ему, сняв с пальца, любимое свое серебряное кольцо-печатку, когда-то украшенное вырезанным на нем корабликом – столь памятное всем, знавшим Марину, и с ней неразлучное. Тогда – году в 1936–37, когда Булгаков приезжал в Париж за материалами для своего музея и в последний раз встретился с моими родителями, старинное кольцо состарилось окончательно. Изящный рисунок парусника и надпись, обрамлявшая его «тебь моя симпатит», – стерлись, ободок истончился почти до прозрачности. – Много поработала рука, носившая этот перстень!



А. С. Эфрон. Париж. Середина тридцатых годов

Булгаковский музей просуществовал недолго. Вскоре гитлеровское нашествие на Чехословакию изменило «мирный ход вещей» и судьбы членов булгаковской семьи, ставших участниками героического чешского Сопротивления. От непротивления злу к сопротивлению ему пролег жизненный путь Валентина Федоровича и его близких.

«Когда я был освобожден советскими войсками из фашистского концлагеря и добрался до Музея, – рассказывал он мне впоследствии, – советские солдаты грузили на машину остатки разграбленного немцами: переполовиненные папки, кипы растрепанных книг, связки разрозненных бумаг. То, что хотя бы это отправлялось в Россию и уцелеет, меня несколько утешило; но все остальное, очевидно пропавшее безвозвратно!.. Что на свете беспомощнее и уязвимее творений ума и рук человеческих! – Вид опустевших комнат, опустошенных шкафов, разбитых витрин был так нестерпимо печален, что я не смог удержаться от слез – впервые за все время испытаний.

Я стал шарить по полу, перебирать хлам и мусор, обрывки и осколки. И вдруг в углу, за дверью, в пыли – ручка Марины Ивановны! ее кольцо!

Это – было – чудо».

После войны Булгаковы вернулись в СССР – в Ясную Поляну, где Валентин Федорович жил и работал до конца своих дней. Маринину ручку, ее кольцо он привез с собой и долго и верно хранил, как память о ней, о своем музее, о том чуде... Потом, почувствовав груз прожитых и пережитых лет, поняв свою недолговечность на земле, передал эти реликвии мне, разыскав меня через Эренбурга.

Теперь тот же груз давит и на мои плечи, поэтому ручку, которой были написаны поэмы «Конца» и «Горы», «Крысолов», «Ариадна», «Федра», и кольцо с руки, написавшей

не только их, но многое, многое другое, я, в свою очередь, передала в ЦГАЛИ, где, в конце концов, обрели надежное пристанище и вывезенные когда-то в Россию из булгаковского музея рукописные остатки хранившихся там материалов.

У вещей, как и у книг, как и у людей! – своя судьба.

Маринина пражская осень 1923 и зима 1923/24 годов, насыщенные работой, встречами, знакомствами (дружбами, неприязнями, так часто впоследствии менявшимися местами!), – прогулки по вечерней и ночной (утрами – писала) Праге, постепенное вживание в этот город, который так – из всех – полюбился ей; ее увлеченность пражской легендой о Големе; зачарованность статуей Рыцаря на мосту, его тайным с собою сходством – профиль, волосы, осанка – как бы встреча с памятником, воздвигнутым тебе задолго до твоего рождения, с овеществленным провидением, предвосхищением тебя – идущей мимо...

Вживание в город, только что написала я, – и тут же осеклась: неправда! Вот этого-то как раз и не было: была как бы примерка города к себе и себя – к городу, с чувством: вот тут бы я *хотела жить, могла* бы жить, если бы...

Если бы – что?

По всем своим городам и пригородам (не об оставленной России говорю) – Марина прошла *инкогнито,* твеновским нищим принцем, не узнанная и не признанная ни Берлином, ни Прагой, ни Парижем (у которых она в моде сейчас...).

Если бы она *была* (а не слыла!) эмигранткой, то как-нибудь, авось да небось, притулилась бы на чужбине, среди «своих».

Если бы она была просто женой своего мужа и матерью своих детей, то не все ли равно, в конце концов, – где, лишь бы вместе?

Если бы она была «поэтом-трансплантатом», как иные прочие, то богемные кафе богемных кварталов послужили бы ей убежищем...

Если бы Она не была собой!

Но собой она была всегда.

Цельность ее характера, целостность ее человеческой личности была замешена на противоречиях; ей была присуща *двоякость* (но отнюдь не двойственность) восприятия и самовыражения; чувств (из жарчайшей глубины души) и – взгляда *на* (чувства же, людей, события), взгляда до такой степени со стороны, что – как бы с иной планеты.

Поразительная памятливость была в ней равна способности к забвению; детская изменчивость равнялась высокой верности, замкнутость – доверчивости, распахнутости; в радость каждой встречи сама закладывала зерно разлуки; и в золе каждой разлуки готова была раздуть уголек для нового костра. Такое бескорыстие в любви – и такая ревность к пеплу сгоревшего... Такое «диссонирующее» равновесие бездн и вершин, такое взаимопритяжение миров и антимиров в ее внутренней вселенной...

И еще: способность постигать сегодняшний день главным образом через и сквозь прошедший (день, век, тысячелетие), всем болевым опытом былого поверяя гадательное грядущее...

В Праге Марина познакомилась – и увлеченно, хоть и непрочно, подружилась с писателем Алексеем Ремизовым и его женой Серафимой Павловной, ученым-палеонтологом. Серафима Павловна была женщиной, что называется, видной, высокого роста, уже и тогда страдавшей чрезмерной полнотой, и он – маленький, худенький, в больших очках с выпуклыми стеклами, преувеличивавших тревожность его близорукого взгляда, – издалека мог показаться ее несмелым подростком-сыном.

Любили они друг друга очень, всегда были неразлучны – вплоть до ее смерти, всегда, всюду и во всем вместе. Она была

его оплотом, поводырем, его надежностью, и с жизнью ее до встречи с ним он сроднился больше, чем со своею собственной: детству и юности своей жены он посвятил не одно произведение.

Ремизов был великим знатоком и ревнителем древнерусской литературы и истории, славянский язык стал для него языком настолько живым и родным, что и письма друзьям он писал уставом и полууставом, виртуозно украшая их буквицами, «финиками» и росчерками, и речь свою уснащал древнецерковными оборотами, и шутил и скоморошествовал, как во время оно, и творчество свое насыщал притчами, древними актами и седой стариной до того, что от затейливой вязи этой начинало мельтешить в глазах.

Через некоторое время зарябило в глазах и зазвенело в ушах и у Марины; узорчатая, лукавая ремизовская мелкопись, почуялось ей, не только не выводила на простор, но, наоборот, *уводила* от любой попытки простора – по замкнутому до головокружения кругу старины.

Но почуялось это только впоследствии, во Франции, где Ремизов – покуда Серафима Павловна преподавала свою палеонтологию студентам и вела дом – постепенно превращался в собственного своего полусказочного героя, в некую помесь юродствующего инока-летописца с лесной шишигой, окружал себя игрушками с чертовщинкой, которые изобретал и мастерил сам из сучков, пробок, катушек, рыбьих костей и прочей ерунды. Что в этом было наигрышем, что – розыгрышем, что – правдой, что – причудливой скорлупкой, в которой скрывался он от жизни, что – самой жизнью, вряд ли заслуживавшей этого – полноценного – названия?

...Пока же Марина только радовалась его своеобычности и тому, что он никогда не говорил о политике, так же, как Серафима Павловна – о палеонтологии.

Еще Марина сблизилась с несколькими, по-разному милыми ей людьми в редакции журнала «Воля России», журнала, в котором были опубликованы многие ее произведения – стихотворения, поэмы, пьесы, проза, в том числе и «трудные», и «сложные». Редколлегию не пугала Маринина внеполитичность, политическое направление журнала Марину не интересовало, широта же его литературного гостеприимства поддерживала и радовала. За все годы эмиграции это был единственный печатный орган, представлявший, в течение всего своего многолетнего существования, свои страницы Марининому творчеству – с уважением к нему, а не «из милости», и (почти) безоговорочно; насколько помню, только цветаевская статья – апология советской детской литературы («О новой русской детской книжке») была помещена в журнале с «оговоркой» редакции, в дискуссионном порядке.

Один из редакторов журнала, плотный, подвижный, шумный, ярко-черноглазый Владимир Иванович Лебедев, из курчавой разбойничьей бороды которого то и дело вылетали, взрываясь и перегоняя друг друга, гневные фразы, раскаты смеха, вопросы – только в лоб, ответы – без обиняков, а зачастую – просто озорные бестактности, познакомил нашу семью со своей; жена его, Маргарита Николаевна, тишиной своей и гармоничностью являла полную противоположность мужу, которого как бы утихомиривала и уравновешивала и сущностью своей, и внешностью. Правильные, твердые черты ее лица смягчались той неуловимой бархатистостью женственности, зримо передавать которую лучше всего умели мастера итальянского Возрождения в ликах их строгих и кротких Мадонн. Но *эта* Мадонна – из обрусевшей баронской семьи – в юности была бесстрашной революционеркой, участвовала в Кронштадтском, Свеаборгском и Севастопольском восстаниях, подвергалась полицейским репрессиям...

в 1908 году она эмигрировала в Швейцарию, где окончила медицинский факультет. В эмиграции вышла замуж за Владимира Ивановича, своего товарища по борьбе; в Женеве родилась их первая дочь, рано умершая, потом вторая, Ирина (ставшая моей подругой с первого – детского! – взгляда и на всю жизнь).



Ариадна Эфрон на берегу Сены, напротив «Notre Dame». Париж. Середина тридцатых годов

Поначалу и безапелляционная громогласность Владимира Ивановича, и неисчерпаемая тишина Маргариты Николаевны насторожили Марину, сгоряча она приняла их за крайние проявления ненавидимого *ею душевного комфорта,* а налаженный, размеренный уклад и обиход лебедевского дома – по контрасту к общеэмигрантским и собственным своим бытовым неустройствам – за «богатство», невыносимое ей, невзирая на «Хвалу богатым».

Но богатство этих людей заключалось отнюдь не в материальной обеспеченности, а до душевного благополучия им было так же далеко, как и самой Марине. В чем она скоро убедилась, и разубедиться в *человеческом качестве* этих друзей ей не пришлось никогда.

Дружб у Марины было много, но все они, по крайней мере те, что на моей памяти, оказывались с помарками, помехами, оговорками, разминовениями, взаимными или односторонними разочарованиями, превозмогаемыми или непоправимыми обидами.

Кроме дружбы с Лебедевыми – единственной по высоте, глубине, простоте, верности и протяженности.

В их доме никогда не уставали от Марининых бед, нужды, неурядиц, никогда не отстранялись от ее неподъемного таланта и неподъемного характера, *всегда* радовались ей. Это был единственный дом, от которого Марине был доверен ключ – не какой-нибудь там аллегорический, нет, тот самый железный, которым и в отсутствие хозяев можно открыть дверь их квартиры, войти, расположиться, как у себя – лучше, просторнее, спокойнее, чем у себя, – отдохнуть – от себя же.

Дружба эта не только длилась без спадов, путь ее шел в гору и достиг наивысшей, дозволенной жизнью, точки в самые тяжелые, самые затравленные эмиграцией годы, непосредственно предшествовавшие Марининому возвращению на родину.

«Были и не застали. Зайдем к 7 ½ ч. Свидание с Кубкой (поэтом) налажено». – Записка Ходасевичу, тогда приехавшему с Горьким в Прагу, и с которым, из-за «большевизма» (Горького!), никто из русских не общался.

За этими строчками в тетради 1938 года, в которую Марина, готовясь к отъезду в СССР, перебеливала выписки из оставляемой ею за границей части своего архива (погибшей в войну), – история ее мимолетной пражской встречи с поэтом В. Ф. Ходасевичем – и невстречи с Горьким.

Горький, направлявшийся на лечение в Мариенбад, приехал в Прагу в конце ноября 1923 года; в прибывшей с ним небольшой группе близких и друзей был и Ходасевич, знакомый с Мариной в дореволюционные еще годы. По адресу, переданному ему Пастернаком (который, как и Марина, высоко ценил творчество Ходасевича), – В. Ф. послал ей письмо с просьбой о встрече и о содействии ему в знакомстве с чешскими литераторами и поэтами.

Подумывавший о том, чтобы обосноваться в Праге – но отнюдь не на правах «рядового», т. е. бедствующего, эмигранта, – Ходасевич искал связей, которые помогли бы ему обрести устойчивое и независимое положение среди коренной интеллигенции страны, о которой он мало что знал...

С присущей ей быстротой Марина откликнулась на зов, хотя собственные ее связи с чехами нельзя было причислить к солидным. Она обратилась к милой ей женщине, петербургским своим воспитанием и образованием сыздавна связанной с Россией, – Анне Антоновне Тесковой, общественной деятельнице прогрессивных взглядов, председательнице культурно-благотворительной «Чешско-русской едноты». Однако русская, сиречь белоэмигрантская часть «Едноты» воспротивилась проекту устройства вечера, на котором Ходасевич выступил бы с чтением своих стихотворений. «Раз с Горьким приехал – значит, сам большевик», – твердили твердолобые...

Чешская же, основная, сторона мялась и жалась, понимая, что в первую очередь следовало бы организовать вечер самого Горького, или – в его честь, но как быть с эмигрантской стороной? Горький-то уедет, а раздор в собственных рядах – останется.

Пока длилась возня, путаница и словопрения на двух языках, Марина с Сережей наладили свидание Ходасевича с чешским поэтом и литератором Франтишком Кубкой. Встреча эта оказалась беспоследственной – не понравился Ходасевич Кубке, не «показался»...

А Марине – понравился; может быть из духа противоречия; может быть из духа высокого собратства, осенившего их в тот вечер – за чашкой кофе в кафе гостиницы Беранек.

В дальнейшем, уже во Франции, они не ладили, более того – враждовали, и только в последние годы Марининого пребывания на Западе нашли общий язык, родной им обоим язык поэзии...

Марина рассказывала, что тогда, в Праге, Ходасевич не просто предлагал познакомить ее с Горьким, которого очень любил, но – рвался сделать это, благо до Горького, остановившегося в той же гостинице, было буквально рукой подать. Марина, однако, отказалась – по тому же сложному чувству внутреннего запрета, которое когда-то заставило ее раствориться в толпе, окружившей Блока на последнем его выступлении в Москве, запрета, не позволившего *просто* подойти, *просто* познакомиться. («Гордость и робость – родные сестры...» – писала она в стихотворении 1921 года.)

А *тут* еще – граница ее эмиграции, пролегшая между ней и Горьким. Как с *этим* навязываться?

Через несколько дней Горький отбыл в Мариенбад вместе со своими спутниками, Марина же «занесла на скрижали» еще одну, горькую ей, невстречу.

Два письма Цветаевой к Горькому (благодарность ему за приглашение ее сестры Анастасии Ивановны погостить у него

в Сорренто) известны, они были опубликованы по сохранившимся черновикам 1927 года в четвертом номере журнала «Новый мир» за 1969 год.



С. Я. Эфрон с Ариадной и дочерью писателя Зайцева Наташей. Париж. Середина тридцатых годов

Но вот история еще одного Марининого письма и горьковского ответа на него (сами письма не уцелели).

В самом конце двадцатых годов или в начале тридцатых, во Франции, с одним из наших знакомых произошел удивительный случай. Знакомый этот, по призванию и образованию – музыковед, был эрудированным знатоком, любителем и потребителем искусства во всех его ипостасях («...если бы ты видел “морду” – широкую, умную, бритую, барскую – лицо “Воскресенья” из “Человека, который был Четвергом” [повесть Честертона] – с которой NN просил у меня твой адрес!» – писала о нем Марина Пастернаку в 1927 году) – и обладателем приятного голоса; силу, красоту и диапазон его выявил случай.

В тот день наш знакомый гулял – вернее, по характеру своему, фланировал по запущенной, дичающей части Версальского парка, любовался расстилавшейся вдали «регулярной» его частью и пел любимые арии из любимых опер, во всю мощь, так, как поется только на просторе, когда сам никому не мешаешь и тебе – никто.

Как в старинной сказке – или современном музыкальном фильме, – из зарослей на голос вышел некто, оказавшийся, по законам жанра, то ли знаменитым по тем временам антрепренером, то ли самим директором самой Миланской оперы; подошел, представился, изумился, узнав, что приманивший его голос – голос-чудо, голос-сокровище – принадлежит отнюдь не профессионалу. После нескольких встреч, нескольких придирчивых прослушиваний (впрочем, и придираться-то было не к чему: голос, богом данный и от природы поставленный, нуждался лишь в небольшой шлифовке) итальянец предложил эмигранту приехать в Милан для «доработки» голоса у педагога вокалиста, после чего гарантировал дебют в «Ла Скала» и карьеру трансконтинентального масштаба.

Все слагаемые чуда были налицо, за исключением суммы денег, потребной на доангажементный период – поездку в Милан, проживание там, оплату занятий с вокалистом.

Забе́гали, в поисках средств, немногочисленные близкие и друзья – безрезультатно забегали: кризис и безработица отменили заработки, опустошили кошельки и карманы. На хлеб не хватает, а тут – блажь, голос какой-то...

Тогда Марина написала Горькому.

Алексей Максимович отозвался – быстро, деловито, весело; прислал для будущего певца чек на пять тысяч франков (сумму немалую) с просьбой не разглашать имени дающего; выразил надежду на то, что – зазвучит голос и достигнет России; поблагодарил Марину за оказанное ему, Горькому, доверие: он рад помочь таланту, ибо талант – это отлично! ибо человеческим талантом сама жизнь жива! Письмо было написано уважительным к читающему, отчетливейшим горьковским почерком, черными чернилами на небольшом, аккуратном листке плотной белой бумаги...

...Увы, наш знакомый так и не стал певцом. Непреоборимый нервный спазм, хватавший его за глотку на публичных выступлениях (и ничем не проявлявший себя на занятиях, репетициях и просмотрах), сорвал в Миланской опере сенсационный дебют – и все на свете ангажементы.

Единственным голосом, действительно прозвучавшим в этой несбывшейся сказке, оказался тихий, глуховатый и такой сердечный голос самого Алексея Максимовича...

На летние каникулы 1924 года я приехала – из Моравской Тшебовы – самостоятельно, посаженная в поезд Богенгардтами и встреченная на пражском вокзале папой. Привезла с собой зубную щетку, тощий и поглупевший дневник, переэкзаменовку по арифметике и (наследственное!) затемнение в легком. Последнее окончательно утвердило Марину в убеждении, что среднее образование девочкам не на пользу, а некоторым избранным натурам даже и во вред.

И вновь наша семья перебралась за город, и возобновилось наше кочевье по знакомым деревням – Иловищам, Мокропсам, Вшенорам.



Последний снимок Ариадны с отцом. Кисловодск, декабрь 1937 г. Сергей Яковлевич лечился в санатории, и дочь приезжала к нему на несколько дней

Как всегда, Марина много работала, но больше, чем всегда, – по контрасту с Прагой, – уставала и раздражалась от быта и вечных его нескладиц и несуразностей; тосковала о твердой почве под ногами – после недавнего асфальта

особенно тяготила грязь, в которую под дождями превращались деревенские тропки и дорожки. Один из отдаленных уголков очередной деревни, в который мы забрались, так и был прозван знакомыми: «эфроновские грязи».

Стараясь, по своему разумению, «помочь родителям», я решила экономить обувь: уходя в лес за ягодами и грибами, прятала сандалии под мостиком за околицей; обувалась на обратном пути. Подобно многим прочим моим разумным затеям, экономия вышла боком: однажды грянула гроза, пыльная канавка под мостиком превратилась в русло внезапно возникшего потока, умчавшего злополучные сандалии в Бероунку, а может быть и в самое Влтаву. Как ни скулила я на берегу, сандалии не вернулись. Пришлось покупать новые. Было мне на орехи.

Как думается теперь, эмигрантское деревенское житье-бытье еще хранило в себе черты тогда недавнего для многих дачного дореволюционного обихода. Ходили друг к другу в гости: званые или – как снег на голову; справляли бесконечные именины; устраивали неторопливые совместные прогулки, пикники; любительские спектакли, вечеринки, детские праздники и литературные чтения.

Во Вшенорах, наискосок от лавки пана Балоуна стояла красивая «Вилла Боженка», большая, вместительная дача; ее снимали пополам многодетная семья писателя Е. Н. Чирикова (все его дети были взрослые) – и вдова Леонида Андреева, Анна Ильинична, с Ниной, молодой, красивой дочерью от первого ее брака, и с тремя детьми-подростками от брака с Андреевым: Верой, Саввой и Валентином.

Странная это была женщина – гнетущая какая-то; невзирая на всю ее легкость на подъем, быстроту и непосредственность реакций, движений, решений, суждений; несмотря на яркую внешность, жаркую черноокость и кажущуюся простоту. Покойного мужа любила она без памяти – продолжала

любить даже с вызовом, как бы стремясь защитить его, за него поспорить и отстоять… от кого?

За границу она вывезла не только рукописный его архив, но и пуды его попутных увлечений; сделанные им снимки, написанные им картины, какие-то мудреные инструменты, приборы и приспособления, – и все это хранила, охраняла – ревниво и ревностно.

Марину она равно и привлекала и отшатывала; ею можно было любоваться, а вот любить, пожалуй, невозможно; что-то *нечеловеческое* в ней было. Или – казалось.

Детям ее с ней было нелегко.

В большой – громадной – всеми громадными окнами глядевшей в сад комнате Анны Ильиничны иногда собирались литературные «посиделки» – одни читали, другие слушали. В одну из памятных андреевских дат она устроила чтение неопубликованной, никому тогда не известной пьесы мужа – «Самсон в оковах».

Читать должен был зорко ею высмотренный и ею же на слух проверенный актер А. Брэй, одаренный, острого ума человек, рыжий, как лис, и хромой, как Байрон; рукопись пьесы была ему вручена заблаговременно, чтобы он успел всерьез подготовиться…

Как сейчас вижу: единственное световое пятно – лампа с классическим зеленым абажуром на столе; у стола – кресло для чтеца; подпирая стенки, как на Петровских ассамблеях, – слушатели в умильно-напряженных позах. В полумраке нехорошим темным огнем горят великолепные глаза (очи!) Анны Ильиничны.

Брэя нет как нет. Опаздывает? или забыл? И вообще – что-то будет? Наконец, когда всем уже решительно невтерпеж и хочется чесаться и даже кусаться, – влетает, наигранно-непринужденно, изящно раскланиваясь и извиняясь на ходу – чтец. Коллективный вздох облегчения.

Брэй садится в кресло, откашливается, наливает воду из графина, пьет, снова откашливается, бережно достает из потрепанного портфеля рукопись, оглаживает ее, пристраивается поудобнее – Анна Ильинична следит за ним пристальным тигриным взглядом – и – нарастающий, бархатно-громкий, *актерский* голос:

– Леонид Андреев. Самсон в окопах.

На чириковской половине жилось добродушно, естественно, без гнета, хотя, как в каждой большой и очень дружной семье, были и трения, и неполадки, и страдания. И тоска.

Тоска жила в комнатке Евгения Николаевича, воплощенная и воплощаемая им – нет, не в рукописях: в деревянных модельках волжских пароходов, которые он сооружал на верстаке у окошка, глядевшего в самую гущу сада. Комната была населена пароходами – маленькими и чуть побольше, баржами – коломенками, тихвинками, шитиками, гусянками; челнами и косны́ми... Тесно было волжанину во Вшенорах, мелководно на Бероунке!

Дружить со всей чириковской семьей Марине было несподручно – очень уж велика и разновозрастна была семья! Появлялись у нас в розницу то Людмила (вскоре уехавшая), то Валентина, то – старики. В честь Евгения Николаевича Марина даже пироги пекла, что было ей совсем не свойственно; Чириков, смеясь, называл их «цыганскими пирогами на кофейной гуще» и ел с аппетитом, жена его, Валентина Георгиевна, вежливо спрашивала – «как вы это готовите?» – и недоверчиво отщипывала кусочек...

...Добрая память детских лет хранит только добро, детские глаза выбирают из окружающего красоту, детские уши чутки к «интересному», смешному, забавному. *Моя* Чехия была порой моего детства, порой моего – на всю жизнь – простора, и весело вспоминается мне.

А как было у взрослых? Каково было им?

Ранней весной 1924 года мой отец пишет сестре в Москву:

«...В Праге мне плохо. Живу здесь, как под колпаком. Из русских знаю очень многих, но мало к кому тянет. А вообще к *людям* очень тянет. И в Россию страшно как тянет.

Как скоро, думаешь, можно мне будет вернуться? Не в смысле безопасности, а в смысле моральной возможности? Я готов ждать еще два года. Боюсь, дальше сил не хватит...»

Осенью того же года, ей же: «Самое тяжелое в моих письмах к тебе, это – необходимость писать о своей жизни. А она так мне мерзка, что рука каждый раз останавливается "на этом самом месте"... Если бы рухнула стена, нас с тобой разделяющая! Господи!

Но не писать о себе значит ничего не писать...

Эту зиму я не переезжаю в город. Живем в ложбине, окруженной горами и лесом. Из окна вид на уже покрасневший холм и на небо, синее по-южному. Стоит бабье лето. По ночам уже морозит, днем жара. Каждый день езжу на занятия в город, который отсюда в двадцати верстах.

С ужасом ожидаю наступления зимы.

Двадцать пятый год сулит трудности. Разрываюсь между университетом и необходимостью немедленного заработка. Возможно, что заработка ради придется перебраться в Париж – там хоть какие-то шансы на работу, здесь – никаких. Нас, русских, слишком много. Значит, бросать университет. Меня это не очень огорчает, ибо – не все ли равно? Но, знай я это раньше, иначе бы построил свою жизнь.

...Я сейчас занят редактированием небольшого журнала, литературно-критического. [Студенческий журнал "Своими путями"]. Мне бы очень хотелось получить что-нибудь из России – о театре, о последних прозаиках и поэтах, о научной жизни.

Если власти ничего не будут иметь против, попроси тех, кто мог бы дать материал в этих областях, прислать его

по моему адресу. Очень хотелось бы иметь статьи – или хотя бы заметки о Студии [Вахтангова], Камерном театре, Мейерхольде. С радостью редакция приняла бы и стихи и прозу...

Поговори с Максом [Волошиным], с Антокольским – может, они дадут что-нибудь? Сообщи мне немедленно, могу ли я чего-либо ждать?

...Мне никто не пишет. У меня чувство, что все москвичи меня забыли. Я знаю, что меж нами лежат годы, разделяющие больше, чем тысячи и тысячи верст. Знаю, что сам виноват. Но все же – больно.

Пиши, Лиленька! Твои письма – единственная реальная связь и с Россией, и с прошлым, а может быть – и с будущим...»

Рассеянное по Марининым тетрадям – среди черноты черновиков и белизны беловиков, записей о переездах:

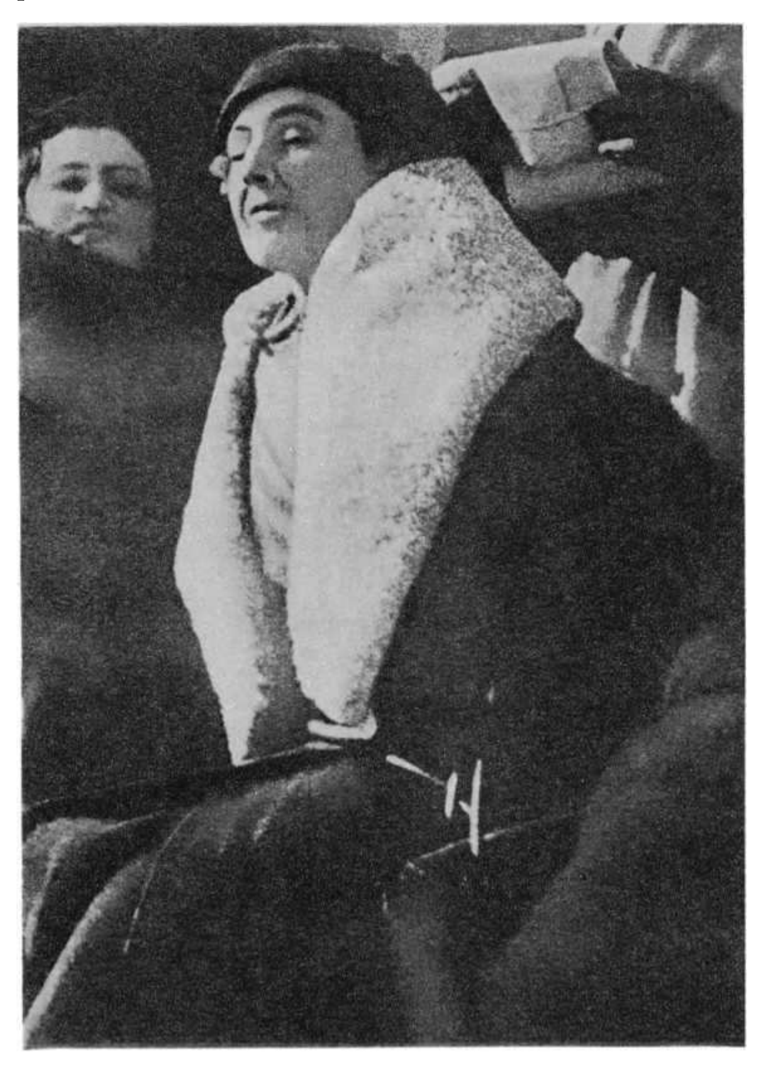
Июнь 1924 года в Иловищах (там, по остывшим следам, дописывается «Поэма Конца»: «А *конец* во мне – *куда* раньше! Начав, как вздох, дописывала как долг!»).

Июль в Дольних Мокропсах («переехали из Иловищ в Д. Мокропсы в разваленный домик с огромной русской печью, кривыми потолками, кривыми стенами и кривым полом, – во дворе огромной (бывшей) экономии. Огромный сарай – который хозяйка мечтает сдать каким-нибудь русским "штудентам", сад с каменной загородкой над самым полотном железной дороги. – Поезда.

III картину "Ариадны" начинаю 21 июля 1924 года. Дай Бог – и дайте боги!»).

Август – другое жилье в тех же Мокропсах («паром через реку. Крохотный каменный дом; стены в полтора аршина толщины. Неустанно пишу "Тезея" ["Ариадну"]. Много отдельных строк, пока отстраняемых...»).

Сентябрь (и до самого конца пребывания в Чехии) – Вшеноры («Переезд во Вшеноры – везет деревенский сумасшедший, которого мы по дороге опаиваем пивом и одуряем папиросой (! *не* курящего! – а три дня до этого вязание, из которого ничего не вышло...»).



М. И. Цветаева. Голицыно. Зима 1939/40 гг.

Строки: «Все важнее, все нужнее, все непреложнее – меня!»

«Уметь умереть, пока не поздно».

«Этой жизни – местность и тесность».

«Рваный платок на худом плече».

«Не иметь права терять (нищета). Ничто не твое. Ни копейки».

«Душа не может быть *заполнена* никем и ничем, ибо она не сосуд, а – содержимое».

«Призраки вызываются нашей тоской. Иначе они не смеют. Дотоскуйтесь до отчаяния, и они станут полновластными хозяевами ваших дней...»

«Слезы: непроливающиеся, в счет не идущие».

«Как билась в своем плену
От скрученности и скрюченности...
И к имени моему
М а р и н а – прибавьте: мученица».

Редко, потаенно прорывается иное: восходящее, боящееся сглазу; оно едва приметно; вот разве что вязание, только что бегло упомянутое.

Марина вяжет шаль, хотя ничего еще не видно; при ее подтянутости – все еще незаметно. Она вяжет, переупрямливая свою неспособность к рукоделию. Вяжет, и свяжет, и не одну, вколдовываясь в тысячелетиями проверенную, творящую, успокоительную занятость женских рук, оправдывающую *досуг* мысли, возможность тайного, глухонемого диалога с незримым, но уже сущим.

Тетради – другое: тетради – сплошной *недосуг,* сплошь труд и долг, сплошь мысль – изреченная, вдохновение – втиснутое в непреложную форму, чувство – названное; тетрадь – гласность, если не нынешняя, так грядущая. Уже рассекреченность.

И в тетрадях этих месяцев – стихи, письма, замыслы – и «Тезей», «Тезей» («Ариадна») – со всеми ответвлениями,

взблесками Федры и неосуществившейся Елены, со всеми вариациями темы *Рока.* В тетради – все, как всегда, только:

Женщина, что у тебя под шалью?
– Будущее! –

и еще, начатое и суеверно отложенное, в четыре незавершенных строфы, стихотворение:

...Над колыбелью твоею нищей
Многое, многое с Бога взыщем...

Восходит и сбывается то, о чем Марина писала Сереже в том, с Эренбургом из Москвы посланном письме: «Не горюйте о нашей Ирине. Вы ее совсем не знали, подумайте, что *это Вам приснилось,* не вините в бессердечье, я просто не хочу Вашей боли, – всю беру на себя! – У нас будет сын, я знаю, что это будет...»

Только потом, когда «тайное становится явным», она начинает об этом говорить вслух, к этому зримо готовиться, советоваться с врачами, собирать, по знакомым, «приданое» – вещи уже подрастающих детей. И в тетрадях появляются *открытые* записи. Вот одна из них – характерная и характерная: «...У Али восхитительная деликатность – называть моего будущего сына: “Ваш сын”, а не – “мой брат”, этим указывая его принадлежность, его – местоположение в жизни, обезоруживая, предвосхищая и предотвращая мою материнскую ревность...»

И наконец – ликующие строки, даже страницы чистейшей радости, светлейшей благодарности, просто – счастья:

«Сын мой Георгий родился 1 февраля 1925 года, в воскресенье, в полдень, в снежный вихрь. В самую секунду его рождения на полу возле кровати разгорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени... Спас жизнь ему и мне Г. И. Альтшуллер, ныне, 12-го, держащий свой последний

экзамен. Доктор Григорий Исаакович Альтшуллер, тогда студент-медик пражского университета, сын врача, лечившего Л. Н. Толстого.

Накануне, 31 января, мы с Алей были у зубного врача в Ржевницах. Народу – полная приемная, ждать не хотелось, пошли гулять и добрели почти до Карлова Тына. Пошли обратно в Ржевницы, потом, не дожидаясь поезда, рекой и лугами – во Вшеноры.

Вечером были с Сережей у А. И. Андреевой, смотрели старинные иконы (цветные фотографии), вернувшись домой, около 2 часов еще читала в постели Диккенса: Давид Копперфильд.

Мальчик дал о себе знать в 8 ½ утра. Сначала я не поняла – не поверила – вскоре убедилась, и на все увещевания "все сделать, чтобы ехать в Прагу" не соглашалась... Началась безумная гонка Сережи по Вшенорам и Мокропсам. Вскоре комната моя переполнилась женщинами и стала неузнаваемой. Чириковская няня вымыла пол, все лишнее (т. е. всю комнату!) вынесли, облекли меня в андреевскую ночную рубашку, кровать – выдвинули на середину, пол вокруг залили спиртом. (Он-то и вспыхнул – в *нужную* секунду!) Движение отчасти меня отвлекало...

В 10 ч. 30 мин. прибыл Г. И. Альтшуллер, а в 12 ч. родился Георгий...

Да, что – мальчик, узнала от В. Г. Чириковой, присутствовавшей при рождении. – "Мальчик – и хорошенький!"

...Говорят, держала себя хорошо. Во всяком случае – ни одного крика. (Все женщины: – Да вы кричите! – Зачем? – И только одна из них, на мое (Ну – как?) тихое: "Больно!" – И нужно, чтобы было больно! – Единственное умное слово. – Анна Ильинична Андреева.)

В соседней комнате сидевшие утверждают, что не знай – что́, не догадались бы».

«У Георгия было семь нянь: волчиха-угольщица, глядящая в леса [нанятая в помощь Марине и ушедшая через неделю!], А. И. Андреева, В. Г. Чирикова, Муна Булгакова, Катя и Юлия Рейтлингер и “мать мальчика” [моего маленького товарища, Олега] – А. З. Туржанская...



Георгий Эфрон – Мур. Чистополь. Сентябрь 1941 г.

...Юлия (воплощение чистейшего *долга* во всей его неприкрашенности!), в черном платье с широченным ремнем, строгая до суровости, художница, сидела под окном и три часа подряд молча терла наждаком доску для иконы, чем окончательно сводила меня с ума...

...Муна Б. была как тень – напоминала, при ребенке, татарскую невольницу – "полоняночку", может быть даже ту, разинскую – черные бусы глаз *создавали* чадру.

В. Г. Чирикова (актриса, волжанка), старая актриса... просто – играла: молодую мать, молодое материнство, все равно чье, ее или мое... – А он – прехорошенький!.. А ноздри! ноздри! Прямо – Шаляпин! – наполняя комнату и, мне, голову, жестами рук в браслетах и всплесками юбок искусственного шелка, *особенно* свистящего.

...И. А. Андреева над ребенком была воплощением материнства... матерью-зверью и даже – зверем... самовластными, ревнивыми, нетерпимыми и нестерпимыми речами и советами доводя меня до тихих слез, которые я, конечно, старалась загнать назад в глаза, или слить с боков висков – помню даже тихий стук о подушку – ибо знала, что все это – от любви: ко мне, к нему, *живому*, и от жгучей, м. б. и неосознанной раны, что все это – не с нею и с нею уже никогда не будет...

"У А. И. к нему естественные чувства бабушки", – улыбаясь, сказал мне *мой* доктор.

Не бабушки – подумала я – бабушки отрешеннее. Не бабушки, а матери к невозможному, несбыточному, последнему. Сейчас – или никогда. И знает – что никогда...

...Вот Катя Р[ейтлингер], высокая, белокурая, шалая. Всегда коленопреклоненная... Катя Р. с вечным мешком дружбы и преклонения на спине – через горы и холмы Праги – защитного цвета мешок, защитного цвета дождевой плащ – огромными шагами через горы и холмы Праги, а то и из Праги

во Вшеноры – с чужими делами и долгами и заботами в мешке – носящая свою любовь на спине, как цыганки – детей...

Катя Р., так влюбленная в мои стихи...

...Она и Алю носила на спине, и даже галопом, по нешуточным горам Вшенор – огромную толстую десятилетнюю Алю, чтобы порадовать – ее, и что-то себе – лишний раз – доказать...

Эта буря меня обслуживала – тихо, этот лирический водопад тихо звенел о стенки кастрюлечек и бутылочек, на огне страстей варилась еда...

"Мать мальчика". Мать мальчика Лелика, одинокая мать, брошенная отцом...

Ее белая комната, с ежедневно, до страсти, моемым полом, с особой, нечеловеческой страстью: в малярийные дни. Откроешь дверь и – в саду, т. е. в окне, в котором – яблоня, которое – яблоня, которую помню вечно-цветущей. Просто – райской. Кроватка. Плита, чище зеркала. К ней другие ходили за пирогами, я – за тайной – всего ее непонятно, неправдоподобно-простого существа. И с самотайной – себя. "Есть на свете, друг Горацио, вещи, которые и не снились мудрецам". Здесь Шекспир, конечно, о *простых* вещах говорит. "Мать мальчика" была именно такая "вещь", *такой* простоты – "вещь". Чего никто не понимал, кроме меня. (А она?)

Лицо Фленушки из "В лесах и на горах"... Отбушевавшая Фленушка. Бескровное лицо с прозрачно-голубыми – секундами непроницаемо-до-черна-синими глазами, ровно столько губ, сколько нужно для улыбки, – улыбка без губ.

Прямоносая, лицо молодой иконы...

...Верьте вяжущим вам фуфайки и няньчащим ваших детей!

Эти за вас – в огонь пойдут.

...Это было воплощение тишины, уместности, физической умелости. Как дома пироги у нее возникали сами – без рук или только с помощью рук – и даже не рук, а нескольких (заклинательных, навстречу и *по желанию вещи)* движений – так и здесь:

Переложить ребенка, перестлать мне, не прикоснувшись ко мне, постель – руки сами, вещи сами, магический сон, тишина...

Не забыть – нет, не няню, доброго гения, фею здешних мест, Анну Антоновну Тескову. Приехавшую – с огромной довоенной, когда-то традиционной коробкой шоколадных конфет – в два ряда, без картона, без обмана. Седая, величественная... изнутри – царственная. Орлиный нос, как горный хребет между голубыми озерами по-настоящему спокойных глаз, седой венец волос... высокая шея, высокая грудь, все – высоко. Серое шелковое платье, *конечно,* единственное и не пожаленное для вшенорских грязей, ибо – первый сын!..»

«И, наконец, возвращаясь к первой ночи – к ночи с 1 на 2 февраля –

Чешка-угольщица. Первая. Никогда не забуду, как выл огонь в печи, докрасна раскаленной. (Мальчик, как все мои дети, обскакал срок на две недели, – от чего, впрочем, как все мои дети, не был ни меньше, ни слабее, а еще наоборот крупнее и сильнее других – и нужна была теплица.)

Жара. Не сплю. Кажется, в первый раз в жизни – блаженствую. Непривычно-бело вокруг. Даже *руки* белые! Не сплю. *Мой сын.*

– О-о-о-о – угрожающе-торжествующе воет огонь, точно не в печи, а в самой мне, ...унося меня из самой меня дымоходом пищевода сквозь трубу шеи...

И торопливое сонное невнятное бормотание старухи – все на «ц» и на «эж» – чешки из *той* Богемии: Яна Жижки, Жорж Занд и «богемского хрусталя»



Марина Ивановна в Сен Жиль-сюр-Ви (Вандея). 1926 г.

«...Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы я жалела за другое и по-другому...

Аля бы меня никогда не забыла, мальчик бы меня никогда не вспомнил...

Буду любить его – каким бы он ни был: не за красоту, не за дарование, не за сходство, за то, что он *есть*».

И – чуть более поздняя запись:

«Мальчиков *нужно* баловать, – им, может быть, на войну придется».

Самофракийская победа

Марина Цветаева и Аветик Исаакян впервые встретились в Париже, осенью 1932 года, у друзей Цветаевой, Владимира Ивановича и Маргариты Николаевны Лебедевых, живших на тихой улочке Данфер-Рошро; вытекавшая из толчеи бульваров Распай и Монпарнас и вливавшаяся в сутолоку бульвара Сен-Мишель, улочка эта оказывалась внезапно тихой и голубой, как ручей с неприметным течением; тихой – потому что одна сторона ее стояла сплошным, в длину и ввысь тянущимся отвесом стены приюта глухонемых; голубой – от навсегда скопившейся в этом ущелье тени: солнце туда не заглядывало. Дома, выстроившиеся напротив стены, казались такими же безвозрастными и безликими, как она; время сгладило все выступы с их фасадов, стерло все краски. Незрячие окна, полуприкрытые деревянными ступенчатыми ставнями, вперялись в глухонемую стену.

Прохожих было мало, и они не спешили; сама улица, являвшая собой некую звуковую и цветовую паузу между кварталом художников и кварталом студентов, как бы вынуждал замедлить шаг и освободиться от напряжения...

Когда Цветаеву однажды спросили, какое место в Париже любит она больше всего, она – для всех неожиданно – назвала именно эту, такую, собственно говоря, невзрачную улочку: «За тишину и за Лебедевых».

В. И. Лебедев был редактором одного из выходивших (сначала в Праге, потом в Париже) «толстых журналов» на русском языке и публиковал щедро и безотказно цветаевские

произведения, несмотря на то, что множеству из них, столь несозвучных эмиграции, труднее было пролезть в эмигрантскую печать, чем библейскому верблюду в пресловутое игольное ушко.



Семья Лебедевых. В их доме Цветаева познакомилась с Исаакяном. Снимок сделан в Париже в марте 1937 года, на вокзале, когда провожали Ариадну в Москву. В. И. Лебедев, Ирина Лебедева, М. И. Цветаева, М. Н. Лебедева, Мур

И коренастый, плотный, с веселыми разбойничьими глазами и черной разбойничьей бородой, деятельный и азартный Владимир Иванович, и кроткая, полная неторопливой и строгой грации жена его, Маргарита Николаевна любили Цветаеву и были ей подлинными друзьями; она чувствовала себя у них, в их темноватых пахнувших воском и книгами

комнатах как дома, нет – лучше, распрямленнее; слишком труден и нищ был ее быт, слишком удручал он ее бытие, чтобы именно у себя дома могла она быть вполне самой собой.

Не помню сейчас предысторию отношений Исаакяна и Лебедевых: по-видимому, знакомы они были давно. Во всяком случае в тот осенний день 1932 года Исаакян сидел за лебедевским обеденным столом не как новый гость, а как свой человек, и слова, которыми он обменивался с хозяевами, показались мне привычными и о привычном; а может быть, причиной тому была вообще свойственная Исаакяну (по крайней мере на людях) сдержанная непринужденность. Мне довелось встречать его еще несколько раз в иной обстановке и в ином окружении, и всегда он на все и всех глядел серьезно, свободно и без любопытства, словно уже все перевидал и переслушал, словно все ему не впервой и не в новинку.

Да так оно, вероятно, и было.

Сдержанна была в тот день и Цветаева – как при каждом новом знакомстве. Иногда такой – держащей на расстоянии – оставалась она и в дальнейшем, навсегда замораживая собеседника; иногда раскрывалась с детской доверчивостью, но никогда – с первого взгляда; да и этим самым первым взглядом ярко- и светло-зеленых глаз – одаривала не сразу. Она сперва к собеседнику прислушивалась; вполоборота, опустив глаза, чуть нахмурившись – вникала в голос, впивалась в явный и тайный смысл слов, на слух определяя друга, недруга или равнодушного; задавала вопросы или отвечала на них сжато, холодно и чрезвычайно учтиво: то была обманчивая холодность и опасная учтивость – ненадежная завеса, из-за которой в любое мгновение мог сверкнуть язычок пламени.

Беседа – как и приличествует застольной – шла обо всем и ни о чем, казалось, она обтекала обоих поэтов, не задевая; потом стали возникать островки общих знакомств, дружб,

пристрастий и неприязней – обоюдная разведка именами. Помню, как всплыло в разговоре имя приятельницы Исаакяна и Цветаевой – Саломеи Андрониковой-Гальперн, грузинки, петербуржанки и парижанки, о которой Исаакян сказал, что женщины ее породы рождаются раз в столетие, когда не реже, нарочно для того, чтобы быть воспетыми и увековеченными; конечно, вслед за Саломеей возник и Мандельштам с посвященной ей «Соломинкой», и история с «Историей одного посвящения». Помню, как заговорили о Бальмонте (он и его жена Елена были желанными гостями в этом доме) и как тетивой-струной – напряглась Цветаева: она к Бальмонту относилась ревниво-бережно и нежно, и все нежнее и бережнее по мере того, как он старел, слабел, седел, сдавал – и не выносила, когда начинали ругать его стихи. Ругали же, кажется, все, за исключением жены и дочери, ругали по той же инерции (анти-моды), по какой когда-то восхищались.

Но Исаакян горячо согласился с цветаевским, вперед, как щит, выброшенным утверждением о том, что Бальмонт – «божьей милостью» поэт, однако определил его творчество скорее как импровизаторски-певческое (менестрель) – несмотря на изысканную завершенность формы многих его стихотворений, – чем *поэтическое* в современном смысле, подразумевающем работу, *организующую* стихию стиха. Стал вспоминать его в зените славы, с большой добротой расспрашивать о нынешнем его бедственном житье. И лишь под конец слукавил, заявив, что, когда бог создавал планету поэзии, то одних поэтов наделил сушей, а других – водой и, конечно же, для Бальмонта воды не пожалел. Впрочем – слукавил ли? Тут же добавил, что суша без воды – пустыня, а вода без суши, в конце концов – океан. Цветаевой понравилась исакяновская формула сотворения поэтического мира, и она впоследствии вспоминала ее и цитировала, находя чрезвычайно точной применительно к самой себе – не как к пустыне: к одинокой скале.

– Вот какие стихи я написала Бальмонту когда-то, – сказала она и прочла на память стихотворение, посвященное ему еще в России, и потом – на память же – мандельштамовскую «Соломинку», и еще несколько своих – ранних, блестящих, вольных, написанных в ту пору ее творчества, когда грозный бог поэзии еще не требовал от нее сжатости – той самой отжатости от лирической влаги – во имя предельной точности поэтической формулы – на самом крайнем острие человеческой правды.

Как они были красивы оба – он слушающий и она читающая – и как схожи в завершенности своего образа! Его изумительная крупная голова кавказца с орлиным носом и орлиным, спрятанным в стареющих грузных коричневых веках взором, его смуглая бледность, сила хребта и плеч под мешковатым сутулившим его пиджаком, крепость ладоней и нервность пальцев – и вековая *усталость* всего облика; и ее, все еще мальчишеская, все еще высоко занесенная головка с седеющими короткими, легкими волосами, с тонким, точным горбоносым профилем, четким ртом – и ее бледность – как при лунном свете, и внезапная распахнутость глаз – о, как она была безоружна и как обезоруживала, глядя в чужие глаза! – и ее, раз навсегда огрубевшие от быта руки, с бессменными серебряными кольцами, и египетская ее осанка!

Оба выглядели старше своих лет, оба были прекрасны.

Потом, по ее настойчивой и ласковой просьбе читал он – на родном языке, который мы услышали в первый раз в жизни – читал стоя, из уважения к женщинам и к стихам – и все присутствовавшие, даже мы с моей подругой Ириной Лебедевой, девчонки, пронять которых в ту пору могло лишь недавно начавшее говорить и петь кино, – обомлели от звучания этого голоса, произносившего невнятные нам, запечатленные для нас слова, от звучания этих слов, после которых стало оглушающе-тихо, как после взрыва.

– Господи, да вы – настоящий *горный* поэт! – воскликнула Цветаева.

– Да и вас не назовешь *равнинным* поэтом! – ответил он.

Помню один краеугольный разговор того дня – о зримом и скрытом, начавшийся с какого-то пустячного «а видели ли вы...», – часть того непрерывного разговора о творчестве, который Цветаева вела сама с собой и с другими – вслух и молча – всю свою жизнь. У нее было особое свойство – постигать описываемое ею (явление, состояние, предмет) и описывать постигнутое – не от формы к существу, а, наоборот, из глубины, из сути – к поверхности («хочешь писать дерево – стань им!»). Перевоплощаясь в то, о чем, в того, о ком писала, становясь как бы сердцевиной своей темы, она переставала видеть ее «со стороны», так же, как мы не можем со стороны, без помощи зеркала, увидеть свое лицо, не переставая в то же время создавать его выражения и ощущать их изнутри. Это внутреннее видение она возводила в один из принципов своего творчества («чтобы *под веками* рождались таинства») – и отрицала приемлемость для себя «обратного метода» – от внешнего к внутреннему. Она любила слово-смысл и слово-музыку, любила самою музыку, именно за их способность выражать *чувства,* и была глубоко равнодушна к искусствам, пытающимся проникнуть в них путем зримого их отображения. Этот путь казался ей *вторичным,* иллюстративным, ибо зримое уже существовало и внешний мир уже был сотворен – «Венера Милосская – плоть в мраморе. Джиоконда – лицо на холсте. *Душу* же в них вкладываем мы, глядящие мы, поэты. Причем – каждый свою».

Конечно, сейчас, столько лет спустя, я не в состоянии воспроизвести этот разговор, вернее – спор, между Исаакяном и Цветаевой и не позволю воображению подменить память; знаю только, что Исаакян утверждал и отстаивал – впрочем, без всякой горячности, настолько это было для него

очевидным, – равнозначность всех способов выражения творчества и равноценность искусств безъязыких искусству слова. Разговаривали в комнате Вл. Ив., выходившей на улицу. Цветаева стояла у окна и глядела в него – сперва рассеянно, потом, заинтересовавшись, достала из сумки свой старинный лорнет (она была близорука) и, в чем-то удостоверившись, подозвала Исаакяна: «Смотрите!»

Из окна, как на ладони, виден был приют глухонемых; на усеченной вершине холма, опоясанного той самой стеной, которая придавала такое унылое своеобразие улице Данфер-Рошро, находился утоптанный, как загон в зоопарке, приютский двор. По нему носились, скакали, прыгали – беззвучно, как в страшном сне – подростки-мальчишки. Руки их, от плеча до кончиков пальцев, были в непрестанном движении и казались многажды вывихнутыми, вывихнутыми казались и лица, искажаемые отчаянной мимикой – все было до ужаса преувеличенным и до ужаса неполноценным...

– Вот таким я вижу балет, – невинно сказала Цветаева. – Или, если заставить «их» замереть – скульптуру. Искусства не моего измерения.

Через несколько дней они встретились в Лувре: Исаакян хотел отомстить за «глухонемых», и Цветаева охотно согласилась, при условии, что месть будет краткой, не на измор. Исаакян поклялся в этом.

Я отправилась вместе с матерью – помочь ей найти главный вход в этот музей-дворец, к которому каждый из французских королей пристраивал свое собственное крыло со своим собственным парадным входом, и запутаться среди всех этих величественных подъездов было немудрено. К тому же мне, в те годы учившейся на курсах при Лувре, не терпелось блеснуть своими (неглубокими и совсем свежими) познаниями в истории искусств. Но услуги мои не потребовались.

Исаакян уже ожидал нас в просторном, по-соборному гулком, по-больничному светлом вестибюле – совершенно пустынном. Лишь в левом углу его завитая, как пасхальный барашек, старушка вязала над прилавком с дорогими репродукциями для иностранцев; иностранцев же не наблюдалось ни одного. В этом прославленнейшем из хранилищ мирового искусства посетители (что трудно себе представить сейчас, у нас) – собирались лишь в «бесплатные» дни, по четвергам и воскресеньям, да еще американцы появлялись повзводно, под руководством гидов.

В правом углу вестибюля, у голых вешалок, томился швейцар.

Мы пошли, не останавливаясь, вдоль Деноновой галереи, сквозь строй гигантских саркофагов, подробно украшенных пляшущими богинями, разящими богами, резвящимися амурами, тритонами и нереидами («только не глядите по сторонам, Марина Ивановна!») – шли мимо гробоподобных витрин, тускло повторявшихся в узорном дворцовом паркете, по которому одинокие наши шаги кощунственно грохотали, как подковы, шли, пока весь этот музейный Аид не вынес нас – Исаакян и Цветаева – впереди, как Орфей и Эвридика, – к великолепному мраморному каскаду «Большой лестницы», ведшей к залам живописи.

Лестница эта, увенчанная мозаичным куполом, была чудесна сама по себе, но главным ее чудом было то, что вся она, во всей стройности и строгости своего подъема, во всем праздничном, ярком чередовании света и тени на полированных плоскостях ее ступеней служила лишь пьедесталом стоявшей на верхней площадке фигуры.

То была статуя Самофракийской победы – к ней-то и подвел Исаакян Цветаеву – и остановил, положив ей на плечо ладонь, ибо Победа эта была столь огромна, что легко было, осознав лишь ее подножие – из каменных блоков слаженный нос корабля-триремы, – обогнуть его, так и не взглянув вверх.

Обезглавленная и безрукая, грубо изувеченная христианским варварством, оббитая и выщербленная прошедшими по ней тысячелетиями, ликующая богиня остановилась на бегу, чтобы протрубить победу, и триста лет до нашей эры отбушевавший ветер облепил ее юное, торжествующее тело складками одежды, влажной и отяжелевшей от брызг прибоя, затрепетал в ее широко и сильно раскинутых крыльях, ероша их мраморные перья.

Все в ней было движение, упругость, устремленность; все было живо; все было цело, цельно и неодолимо в этой фигуре, поднявшей и согнувшей в локте невидимую руку, чтобы, приложив к невидимым устам незримую трубу, возвестить на века вечные торжество человеческого духа, мужества, гения.

– Ну как, Марина Ивановна? – спросил Исаакян.

– Я давно ее знаю и люблю, – ответила она, поглаживая шершавую, в мелких оспинках, желтоватую от времени поверхность каменной ткани. – И все же, «в начале было Слово», – добавила она, помолчав.

Были еще встречи с Исаакяном; он приезжал к нам в Медон под Парижем; бывал и у Лебедевых, где раза два встретился с трогательным, больным Бальмонтом и по-братски расцеловался с ним и внимательно и всерьез слушал его, терявшие связность, разоредавшиеся речи. Были еще встречи-воспоминания и встречи-споры. Но мне было бы трудно, пожалуй, невозможно рассказать о них не только теперь, когда нет в живых никого из них – ни Цветаевой, ни Исаакяна, ни Бальмонта, ни Лебедевых, когда и улочка Данфер-Рошро переменила название и облик, но и в те времена, когда все были живы и все было по-прежнему, – потому что в памяти все перекрылось тем ослепительным видением: двух поэтов, двух горцев поэзии – осененных бессмертными крылами Ники Самофракийской.

Из записей и писем

...Я помню, мы жили на чердаке. Было лето, окно выходило на крышу. Марина сидела на самом солнце и писала Казанову. Я сидела напротив нее на крыше, одним глазом глядела на небо, а другим на нее. Так проходило утро. Потом мы шли за советским обедом, потом в Румянцевский музей, в читальню. Я играла в саду, а Марина, в читальне, читала Казанову. Ночью я просыпалась, слушала поезд. В табачном дыму, как в облаке, наклоненная к тетрадке кудрявая голова Марины. Иногда она произносила какие-то слова и смеялась.

По дороге за обедом и в кооператив – и во время наших походов на Воробьевы горы – шли к Девичьему монастырю или просто куда-то, в гости. Марина мне рассказывала о его детстве: о том, как бабушка отвезла его в гондоле к колдунье с черными котами и как ему потом явилась какая-то богиня (это было в Венеции) – и о его старости: как над ним все смеялись и уже никто не являлся (это было в Богемии). Марина рассказывала, а я бросала в воду камешки и слушала поезда...

Жизнь мне его предстает так: черная молния.

Смерть мне его предстает так: восхищен метелью.

И больше всего я помнила глаза.

Это было, кажется, в 1919 году.

...И вот сейчас, в октябре 1921 года, Марина опять ввергглась в Казанову. Ей предложили издать, она стала переписывать.

Мы живем уже не на чердаке, а в трущобе с потолочным окном. Все приходящие к нам засыпают от странного верхнего света...

(Из Дневника Али)



Аля и Ирина. Аля держит в руке книгу матери «Волшебный фонарь». Москва. 1919 г.

Е. О. ВОЛОШИНОЙ

Москва, 14-го ст[арого] ноября 1920 г.

Милая Пра!

День за днем идут как двойники. Знаешь, что Марина будет рубить чужие шкафы и корзины, я буду убирать комнаты. Живем теперь в бывшей столовой, похожей на тюрьму. К нам почти никто не приходит. Друзей настоящих нет. Бальмонты уехали, последние настоящие друзья. Мы об вас давно ничего

не знаем. Марина продает французские книги. Жили долгое время без света. В Москве плохо жить, нет дров. По утрам мы ходим на рынок. Нет разноцветных платьев, одни мешки и овчины. В театрах представляют убийство Каляева, Робеспьера и всякие свободы: молот и серп. Дети торгуют или живут в колониях. Все торгуют. Марина не умеет торговать, ее или обманывают или она пожалеет и даром отдает. Наш дом весь разломанный и платья все старые. Но мы утешаемся стихами, чтением и хорошей погодой, а главное – мечтой о Крыме, куда мы так давно и так напрасно рвемся. Милая Пра, я очень хорошо Вас помню: как Вы залезали в Море, одетая, и как вечером сидели на скамеечке перед морем. Еще помню стену, увешанную кружками и сковородками. Помню ежа, которого Вы обкормили молоком и он сдох. (А в Наркомпросе написано на стене: «Не сдадимся – победим!» – Не сдадимся через *з*). – Помню Макса, но не всего – одну голову с волосами, помню еще Алладина, – огненную его шерсть и всю быстроту.

Дорогая Пра, мы все ждем вестей, так хочется ехать. У нас умерла Ирина, она была очень странная девочка, мало понимала, потом ничего не говорила. Ей очень плохо жилось. Нам ее очень жаль, часто видим во сне. Если мой дорогой Лев (мартыха) у вас, поцелуйте его за меня и за маму. Я все надеюсь и молюсь. Пусть Макс нам тоже даст телеграмму. Мы посылали через Наркомпрос. Целую и люблю.

Аля

Е. Л. ЛАННУ

Москва, 31 русск. декабря 1920 года

Милый Евгений Львович,

Сегодня канун Нового Года. Думаю, что Вы будете встречать его один. Новый Год – ведь это тоже смерть – Старого. У нас елка, большая, тощая – трущобница. Останки прежних

украшений. Наверху большая папина белая звезда. Я лежала в постеле (нарочно пишу на конце е, – от народного «постеля») – малярия, и чувствовала себя девочкой из старинной детской книжки: елка – болезнь – молодая мать.

После Вашего отъезда мы живем хорошей жизнью: мама пишет, я пишу. Пишем стихи и письма Асе. От времени до времени заходят чужие, – в том числе один комиссар, совсем деревенский и невинный. Вздыхает про кроликов и про Марину, курит и плохо пишет. Входит недавно совсем ночью, я думала – арестовывать. Оказалось только писать. Писал долго, мама помогала. Когда он уходил, я его спросила: «А Вы маму под ручку поведете?» – «Нет, барышня, я ее не поведу». Во всех нас была невинность: деревня – ребенок – поэт. – У деревенского дама, конечно, связана с ручкой – не то под ручку, не то – за ручку, не то – на ручках. А мама, раз грамотна, конечно – дама. Я думаю, такой никогда еще не арестовывал дам, а все мужчин, а с мужчинами дружески говорил и курил.

Помню, как Вы лежали на большом диване, в своей бархатной куртке и как, устав, заламывали руки. Марина каждый день радуется, что у нее столько перьев. Вспоминаю еще Вашу печеную картошку, которая горела. И тот рокот, которым Вы читали (громогласили) Роланда.

Сейчас утро. Печка топится. Марина пишет Асе письмо. Изредка оборачиваясь, вижу ее баранью веселую голову в таком же курчавом дыму папиросы. От времени до времени отрывается от писанья и отгрызает кусок хлеба.

Марина просит передать Вам, что конец Роланда – лучшие стихи о поле битвы и *на* поле битвы.

Кончаю. Что пожелать Вам на Новый Год, – у Вас уже все есть – раз у Вас была любовь Марины.

Целую Вас, поклон Вашей жене.

Аля

А. А. АХМАТОВОЙ

Москва, 17 русского марта 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна!

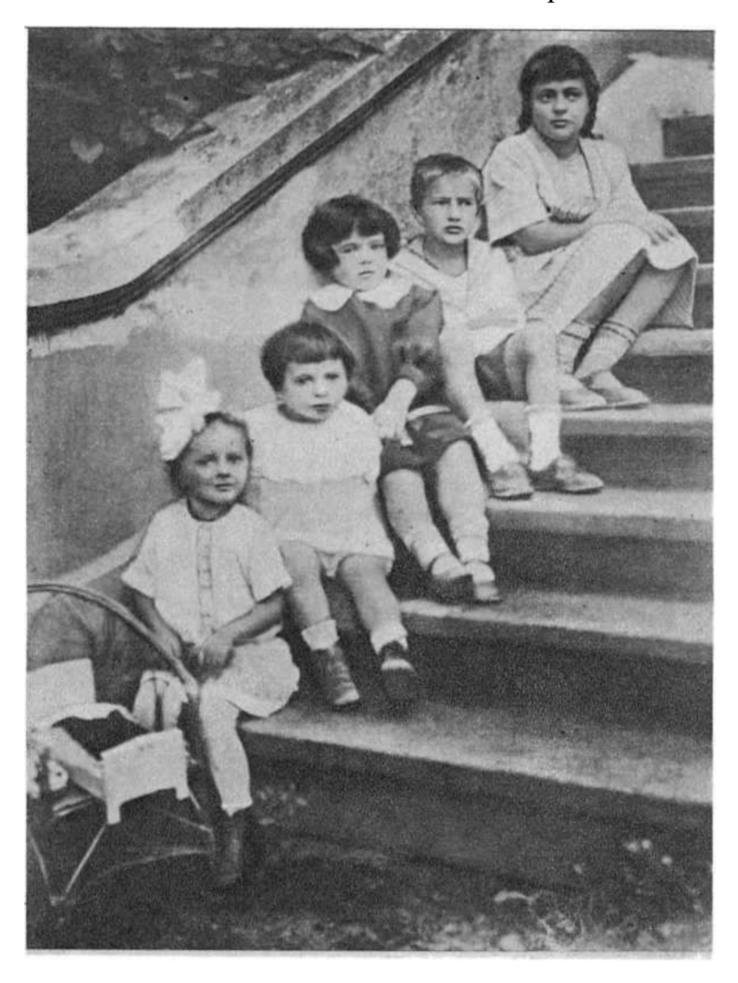
Читаю Ваши стихи «Четки» и «Белую Стаю». Моя любимая вещь, тот длинный стих о царевиче. Это так же прекрасно, как Андерсеновская русалочка, так же запоминается и ранит – навек. И этот крик: Белая птица – больно! Помните, как маленькая русалочка танцевала на ножах? Есть что-то, хотя и другое.

Эта белая птица – во всех Ваших стихах, над всеми Вашими стихами. И я знаю, какие у нее глаза. Ваши стихи такие короткие, а из каждого могла бы выйти целая огромная книга. Ваши книги – сверху – совсем черные, у нас всю зиму копоть и дым. Над моей кроватью большой белый купол: Марина вытирала стену, пока руки хватило, и нечаянно получился купол. В куполе два календаря и четыре иконы. На одном календаре – Старый и Новый год встретились на секунду, уже разлучаются. У Старого тощее и благородное тело, на котором жалобно болтается такой же тощий и благородный халат. Новый – невинен и глуп, воюет с нянькой, сам в маске. За окном новогоднее мракобесие. На календаре – все православные и царские праздники. Одна иконочка у меня старинная, глаза у Богородицы похожи на Ваши.

Мы с Мариной живем в трущобе. Потолочное окно, камин, над которым висит ободранная лиса, и по всем углам трубы (куски). – Все, кто приходит, ужасаются, а нам весело. Принц не может прийти в хорошую квартиру в новом доме, а в трущобу – может.

Но Ваши книги черные только сверху, когда-нибудь переплетем. И никогда не расстанемся. Белую Стаю Марина в одном доме украла и целые три дня ходила счастливая.

Марина все время пишет, я тоже пишу, но меньше. Пишу дневник и стихи. К нам почти-то никто не приходит.



Але – тринадцать-четырнадцать лет.
Снимок сделан в Бельвю – Медоне

Из Марининых стихов к Вам знаю, что у Вас есть сын Лев. Люблю это имя за доброту и торжественность. Я знаю, что он рыжий. Сколько ему лет? Мне теперь восемь. Я нигде не учусь, потому что везде безъ и чесотка.

Вознесение

И встал и вознесся,
И ангелы пели,
И нищие пели.
А голуби вслед за тобою летели.
А старая матерь,
Раскрывши ладони:
– Давно ли свой первый
Шажочек ступнул!

Это один из моих последних стихов. Пришлите нам письмо, лицо и стихи. Кланяюсь Вам и Льву.

Ваша Аля

Деревянная иконка от меня, а маленькая, веселая – от Марины.

[Приписка М. И. Цветаевой]

Аля каждый вечер молится: – «Пошли, Господи, царствия небесного Андерсену и Пушкину, – и царствия земного – Анне Ахматовой».

Е. О. ВОЛОШИНОЙ

Москва. 17-го р[усского] авг[уста] 1921 г.

Дорогая Пра!

Получила Ваше письмо. Очень счастлива им. В слова в Вашем письме, что Вы изменились и что я не узнала бы Вас, – не верю. Вы из породы неизменяющихся. Марина тоже в восторге от письма. Как Вы чудно описываете смерть Алладина: «толстел, толстел и издох». Спасибо за ивестие-воспоминание о Льве. Помню смутно те Ваши края «за морями, за горами», всех Вас и море, беловатые прозрачные камешки.

Да! Получили от Льва письмо. Где – не пишет. Напишите, пожалуйста, воспоминания подробней. Это наше с Мариной насущное. Читаю Отечественную Историю: бедствия и потом восстановление высью небесной выси земной.

Марина живет как птица: мало времени петь и много поет. Она совсем не занята ни выступлениями, ни печатанием, только писанием. Ей все равно, знают ее или нет. Мы с ней кочевали по всему дому. Сначала в папиной комнате, в кухне, в своей. Марина с грустью говорит: «Кочевники дома». Теперь изнутри запираемся на замок от кошек, собак, людей. Наверное, наш дом будут рушить, и мы подыскали себе квартиру. На углу глухого церковного переулка стоит бывший особняк: желтый, рухнувший, с большими выразительными дырами вместо окон. Вместо пола железные длинные жерди, а внизу пустота. Одним словом – бывшее, рухнувшее, погребающее. Недавно нашла Вашего щелкуна, Вами выкрашенного, с ружьем, в остроконечной шапке. Мои любимые книги: сказки Андерсена и самый, самый первый мир: каменный век с идолами и топорами.

Приехала Ася, пишет, служит, шьет кукол. Мечтаю о уезде, жаре и ботанических садах. Хороши ли у Вас в Крыму вечерние времена: закатные и сумеречные? У нас в закатах Воинства и Львы, в сумерках – чуткий сон пересиленных часовых. Сейчас у нас гостит молодой Фавн (не по веселости, а по чуткости), ничего не понимающий в жизни, любимый зверь его – карегрустноглазый бизон (грустная, добрая, побежденная тяжесть). Видели вместе в зверинце. (Сказывается лесная чуткость к тяжелым шагам.) Наш гость – странный: ничего не ест, никогда не сердится. Это молодой поэт Э. Л. Миндлин. У него есть фотография Макса: полулежит на диване в рубашке. Все, кому показываем, удивляются: «Я не думал, что он такой». Макс сам, наверное, не верит, что он такой. Но очень хорошо.

Дорогая моя Пра, до свидания, мы с Вами, конечно, увидимся. Всюду рассказываю, что Вас воспитывал Шамиль. Не знала я, когда меня крестили, что у меня будет *такая* крестная.

Целую Вас и Макса.

Ваша Аля

...Приходит к нам человек с мягким и грустным лицом в голубой бумазейной куртке и в татарской шапочке – из Крыма. Асин знакомый. Рассказывает Марине обо всем и, кажется, читает стихи. Фамилия его была Миндлин, голос тихий и неуверенный. Глаза испуганные. Он очень был удивлен Москвой, мечтал напечатать книжку. Он скоро ушел...

Борис заболел малярией, и его забрала к себе Ася. А у ней в то время жил Э. Л. Миндлин. Мы поменялись. Ася получила Бориса, а мы Эм. Ль-ча. Он начал жить у нас. Он был страшно бестолков. Когда Марина просила его вымыть кастрюльку, то он просто вытирал ее наружную копоть. Скоро Борис вернулся в свое прежнее логово. Я помню одно большое событие из жизни Э. Л. Это его пиджак. Он как-то вздумал продать его на рынке за 200 или 250 т. Часа через два он вернулся... но увы... с пиджаком. С тех пор он стал каждый день ходить на рынок и все убавлял и убавлял цену. По ночам Б. и Э. Л. разговаривали и мне мешали спать. Борис учился у Э. Л. писать стихи и написал три стиха. Борис все время писал заявления, а Э. Л. переписывал свою Звезду Земную. Он извел почти все наши чернила, а Борис Марину – чтением и: «как лучше?» Я помню, как Борис устроил Э. Л. службу на Разгуляе и Э. Л. ходил только в два места – на Разгуляй и к Львову-Рогачевскому. И когда он принимал уходную осанку, то я всегда спрашивала утром: «Вы на Разгуляй?» или вечером: «Вы к Льв. Рог.?» Его любимое место было у печки. У него всегда все выкипало и пригорало. Главное его несчастье

было брюки. Он каждую минуту их штопал; лоскутьев не хватало. Из-за них он в гостях сидел в пальто, хотя бы там была жара...

Еще немного о ночах, «которые даны в отдых». Как только Э. Л. пошевеливался в постели, бодрствующий Борис начинал задурять того стихами. Один стих был про бронированный век, другой про красный октябрь. Э. Л. всегда ночью кричал и думал, что тонет. Это время обыкновенно выбирал Борис для чтения стихов. Миндлин, испуганный мнимой бурей, опровергал стихи. Утром он выслушивал их заново и должен был вежливо хвалить...

Наши гости скоро уехали. Сперва уехал Борис на извозчике с чемоданом и непродающимся Репиным. После его отъезда мы пошли на рынок за грибами усладить отъезд Миндлина. Мы его хотели проводить. Скоро настал этот день. В четверг 5-го вышли из дома. Э. Л. нес свою корзинку, я палку. Мы проводили Мин. до Лубянской площади. Подошли к углу, и Марина купила Мин. два кармана яблок и отдала ему последние 20 тысяч. Мы поцеловались и поцеловались еще раз и еще раз. Мы его перекрестили, и он пошел. Пошли и мы.

(Из Дневника Али)

Е. О. ВОЛОШИНОЙ

Москва, 6 р[усского] сентября 1921 г.

Дорогая моя Пра!

Вчера был день моего рождения, мне исполнилось 9 лет. День, к сожалению, был дождливый, – не пришлось в Сережину честь сходить в Зоологический ко льву. Если бы лев знал, как рвусь к нему, я уверена – он бы сам пришел. У меня было много гостей, все с подарками. Я чувствовала себя какой-то дикой царицей, которой все приносят дань. Получила

я: от ком[и]ссара, который живет у нас (Э. Л. расскажет), – письмо и розы, от Аси – беседку с девятью балеринами, по числу моих лет (восемь танцуют, девятая вбегает), от Андрюши – самодельный сундучок с яичками и карандашами, от М. И. К[узнецо]вой – два яблока и настоящее пирожное, от одной пожилой дамы, которую Вы не знаете, – десяток яиц, фунт масла и пирожное. (Дорогая Пра, как мне жаль, что я только рассказываю Вам, а не угощаю!) От Марины я получила: книгу «Герои древности» (Греция, Спарта, Рим). И другую книгу про Индию. Марина же мне передала подарки С. М. Волконского, – Макс его, наверное, знает. Это был наш с Мариной самый чудный друг. Он приходил к нам читать свои сочинения, я тоже слушала и в промежутках целовала его. Потом мы с мамой провожали его – когда по закату, когда по дождю, когда под луной. Он очень походит на Дон Кихота, только без смешного. Ему все нравилось: и Маринина сумка через плечо, и Маринин ременный пояс, и мои мальчишеские курточки, и наше хозяйство на полу, и странные смеси, которыми мы его угощали, и подстановка от детской ванны вместо стола, и даже наша паутина. А больше всего он любил, когда мы его хвалили. Теперь он уехал, и никого не хочется любить другого. Ему был 61 год, – как он чудесно прямо держался! Какая походка! Какая посадка головы! – Орел! Марина всегда говорила: «Я только двух таких и знаю: С. М. Волконский и Пра». – Пра! Ведь Вы тоже орел! Через Вас я ведь немножко сродни Шамилю! Моя дорогая Пра, я Вас нежно и торжественно люблю, – с гордостью. О, мы еще увидимся!

Это письмо Вам передаст Э. Л. Миндлин. Он был нам хорошим другом, помогал во всем. Это было особенно трогательно, потому что он сам совершенно беспомощен и такой же медленный, как я. Завидую ему: он увидит Вас и море. Здесь давно ходят слухи о Максином приезде. Очень хотелось

бы его увидеть, но еще больше – Вас. Я, конечно, не верю в Вашу старость. Разве орлы стареют?

Целую и обнимаю Вас всей крепостью губ и рук. Губ и рук – что! – Сердца!

Ваш крестник и внук

Аля

Е. О. ВОЛОШИНОЙ

Москва, 10-го р[усского] сентября 1921 г.

Дорогая моя Пра!

Аля спит и видит Вас во сне. Ваше письмо перечитывает без конца и каждому ребенку в пустыре, в котором она гуляет, в случае ссоры победоносно бросает в лицо: «Ты хотя меня и бьешь, а зато у меня крестная мать, которую воспитывал Шамиль!» – «Какой Шамиль?» – «А такой: кавказский царь, на самой высокой горе жил. – Орел!» Как мне бесконечно жаль, дорогая Пра, что Вы сейчас не с нами! Вы бы уже одним видом своим поддерживали в Але геройский дух, который я вдуваю в нее всей силой вздоха и души.

Пишите нам! Надеюсь, что это письмо Э. Л. Миндлин Вам передаст собственноручно, он много Вам о нас расскажет. С[ережа] жив, далёко.

Целую Вас нежно, люблю.

Марина

М. А. ВОЛОШИНУ

Москва, 7-го р[усского] ноября 1921 г.

Мой дорогой Макс!

Я очень жалею о Вашей болезни, я Вас всегда помню таким веселым, гривастым Миродержцем. О Вас нужно

молиться Зевсу, – да? (Молюсь сразу всем богам – кроме самых новых! Им будут молиться потом.) Спасибо за Георгия – Сережу: взгляд как у М[арины] в стихах, вслед копью. А под копьем его собственная цветущая молодость. Первый мой взгляд, когда просыпаюсь, всегда ввысь: на С[ережу]. Скрещаемся.

М[арина] Вас так любит, что даже без голосу говорила с Л[уначар]ским – и все сказала. Все обещал.

Целую Вас с благодарностью. Портрет С[ережи] наша самая драгоценность.

Ваша Аля

Е. О. ВОЛОШИНОЙ

Москва, 8-го р[усского] ноября 1921 г.

Моя дорогая Пра!

От Вас так давно нет писем. За Вас я молюсь богу храбрых, не знаю, есть ли такой. (Не бог войны!) Мы с М[ариной] читаем мифологию, мой любимец – Фаэтон, хотевший править отцовской колесницей и *зажегший* моря и реки! А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий.

Мне очень грустно, когда я думаю о Вашем ревущем море, нужно, чтобы что-нибудь его заглушало, а то так одиноко. Скоро, когда наберем денег, снимемся с Андрюшей и пришлем Вам фотографию.

Я его выше на полголовы, потому что Ваша крестница! Никто в Москве точно не знает, что существует Крым, и когда М[арина] с Асей начали поднимать эту бурю, то все знакомые книгоиздательства откликнулись. Нежно целую Вас, моя чудная Пра!

Ваша Аля

...Вдруг опять начались города. «Ну, уж это Берлин», – говорит мама, складывая вещи. Едем по всем трем вокзалам: Александербург, Зоологический сад, Фридрихербург, и наконец сходим на Шарлоттенбурге. Берем себе носильщика зеленого цвета, он тащит наши вещи вниз по лестнице, и вот мы в Берлине. Черепичные крыши, свет, цветы, скверы... Вот и наш извозчик. Садимся, кладем вещи, прощаемся с нашим спутником. Мама что-то говорит извозчику, и тот едет. Я рассматриваю город. Дома высокие и очень широкие. Много лавок, газетных киосков, продавщицы цветов в шляпках, дамы, кафе, модные магазины. Народу мало. Вот и Прагерплац. Ищу пансион Эренбурга. Вот он. С кафе рядом. Вынимаем вещи, как вдруг из подъезда выходит сам Эренбург. «А-а! Марина Ивановна!» «Здравствуйте, Илья Григорьевич, вот и мы». «Как же вы доехали? Ну, расспросы будут потом, а теперь надо взять вещи». Эренбург взял вещи в две руки, перед ним раскрылись дверцы лифта, и мы все поехали. Через минуту мы были наверху. Мы пошли бесчисленными коридорами и наконец оказались в тупике. Илья Григорьевич открыл дверь, впустил нас в большую комнату и прибавил: «Вы можете вымыться». Мама тотчас же начала мыть голову, после чего к нам пришел Эренбург. Я чувствовала большую радость – сев рядом с Эренбургом, я начала ласкаться и удостоилась нескольких приятных в мою сторону слов, и между прочим крещения Бегемотом. Потом пришла Любовь Михайловна. Она была похожа на молодое высокое деревцо. Я ее впервые хорошенько рассмотрела. У нее были короткие черные волосы, карие глаза. Она села к маме, стала ее спрашивать, как мы доехали, осматривали ли наши вещи, много ли с нами было народу, сколько мы времени ехали, и т. д. Мама скоро с ней подружилась. Потом пришел опять Илья Григорьевич и пригласил маму идти обедать. Мама отказалась, потому что мы только что обедали в вагоне-ресторане.



Аля. Париж. 1926 г.

Наши хозяева ушли, а мы остались одни. Мама рассматривала книги, я стояла у окна и любовалась садиком внизу, серебристыми тополями, дораставшими до крыши, и домами,

и небом, и всем на свете. Потом пришел Эренбург с Любовью Михайловной, и мы вместе пошли вниз в кафе Диле. Мама пила с Эренбургом кофий, Любовь Михайловна солому, я – какао. Кончив пить, я подошла к загородке кафе и стала смотреть дома и людей. Едут лошади, крестьяне, дамы входят и выходят в магазины, маникюры. Есть в намордниках собаки, возят молоко в тележках. (В первый раз я это видала! Чтобы собаки возили.) Вдруг мама меня спрашивает, не нужно ли мне наверх, отвечаю утвердительно. Любовь Михайловна меня любезно отводит наверх, а сама идет обратно вниз, в кафе. Я, оставшись, читаю эренбурговскую книгу Тарзан от обезьян. Скоро приходит мама. Я даже начала прыгать от радости Эренбурга и нового города, но мама запретила мне так увеселяться.

Через некоторое время нас позвал Эренбург ужинать. Я пошла с радостью, ибо очень проголодалась, потому что за границей подаются очень маленькие порции. За ужином подали две редиски, с кусочком рыбы. На второе лапша, в очень небольшом количестве, и на третие мороженое, 3 полных чайных ложки. И такая еда длится и по сих пор. Я легла спать.

ДЕНЬ

...После завтрака я иду к Эренбургам узнать, сколько времени, может ли И. Г. одолжить маме табаку и сказать, где находится почта. Время сказали, табаку дали, на почту взять обещали. Я запечатлела Эренбургово лицо поцелуем. От него пахло трубочным дымом. Вернувшись, я сейчас же написала папе письмо. За нами зашла Любовь Михайловна, и мы все вместе пошли на почту. Боже, как здесь много зелени! Перед каждым домом длинный палисадник, часто дом совсем покрыт плющом, окна и балконы похожи в этой силе плюща

на бессильные дырья. На балконах цветы, на окнах цветы, на каждой улице по большому скверу. Вот и почта. По бокам дворика огороженные четырехугольные клумбы. Входим в мрачное прохладное святилище писем. Дамы тихими голосами говорят по телефону. Стоят небольшие череда, стоят дамы, девушки, фрейлины и т. д. И такая тишина! Как же может быть в храме? Пока я предавалась таким размышлениям, мама и Любовь Михайловна все кончили. Мы пошли домой. Скоро забили к обеду. Я пришла скорей всех и уже пила бульон из чайной чашки. С нами обедали издатели – Геликоны – муж и жена. Эренбург сказал проходящей горничной «Битте бир». На нашем столе через минуту стояли три бутылки пива. Я не ошиблась – мне тоже налили. После обеда нам привезли вещи из багажа. Мы сейчас же стали разгружать наши чемоданы. Извлекли для Эренбурга из глубины кулич и пасху, плясуна и мальчика на санках. Все из дерева. Кроме того, мама ему еще что-то подарила.

Эренбург похож на ежа. А из верхнего и нижнего кармана по любимой черной гладкой трубке. А Любовь Михайловна полная противоположность. Чистая, стройная, с совершенно белым цветом кожи, в белом платье с косыночкой. Похожа на луну по белизне. А Илья Григорьевич как серый тучистый день. Но такие глаза, как у собаки. Эренбург как царь курит из своих двух любимых трубок. Мама и Любовь Михайловна курят папиросы.

Любовь Михайловна хочет взять маму и меня в Кадеве, купить там одежду. Едем подземным поездом. Входим в громадный дом. Пепельница с сигарами. Л. М. сказала мне, что мужчины, идущие в магазин, оставляют сигары, а возвращаясь курят их опять...

Я очень жалела, что была в Zoo не с мамой и не с Ильей Григорьевичем. А в этот вечер за нашим столом присутствует один гость – Борис Николаевич Белый. Это был небольшого

роста человек, с лысиной, быстрый, с сумасшедшими как у кошки глазами. Он мне очень понравился, и я его поцеловала на сон грядущий...

(Из Дневника Али)

В свой приезд к Лиле, летом 1955, Нютя вспоминала о том, как познакомилась мама с папой.

«Сережа жил тогда у меня, и я его "воспитывала". Потом он заболел туберкулезом, и мы отправили его в Коктебель лечиться. Вернулся оттуда очень загорелый и очень худой, и каждый день писал письма кому-то. Это меня очень взволновало, т. к. в это время все газеты печатали о каком-то преступлении, кот-е началось с переписки – молодой человек с кем-то переписывался, а потом его зарезали. Наконец я не выдержала и спросила – кому это он так часто пишет? Он отвечает: "Знаешь, Нютя, я женюсь, а пишу своей невесте". Я была поражена, ведь Сережа был совсем мальчиком. Спрашиваю его о невесте. Он говорит, что это – самая великая поэтесса в мире, зовут ее Марина Цветаева, и кроме того она – дочь профессора, директора Румянцевской библиотеки.

Я спрашиваю – а на что же вы жить будете, ведь ты даже гимназии не кончил! Сережа говорит, чтобы я не беспокоилась, что Марина – богатая (мне не понравилось, что он так сказал, а он это сказал, чтобы меня успокоить!), что первое время они "так" проживут, а потом будут зарабатывать, Марина – стихами, а он – прозой. Я просто в ужас пришла от всего этого. Через некоторое время выходят, смотрю, две книжки, Маринин "Вечерний Альбом" и Сережино "Детство". Мы с мужем читали всю ночь, и очень нам понравились и стихи и Сережина книжка, хотя там совсем не похоже рассказывалось про нашу семью, всему был придан не то буржуазный, не то дворянский какой-то оттенок, которого в нашем доме не было. И про Марину тоже совершенно

непохоже и карикатурно. Марина была просто очаровательна тогда. Но все же, когда я увидела и прочла Сережину книгу, мне сразу все понравилось, больше же всего понравилось, что он действительно написал ее».

(Из записной книжки. 1955 г.)

ИЗ ПИСЬМА И. Г. ЭРЕНБУРГУ

4 октября 1955 г.

...Посылаю Вам (из маминой записной книжки) два письма к Вам, первое из которых Вы, наверное, впервые получите только сейчас, тридцать три года спустя. Знали ли Вы Чаброва, о котором рассказывает мама? Мы видели его в последний раз в Париже, в тридцатых с чем-то годах, ожиревшего, в засаленной рясе, с тонзурой. Принял католичество, сделался священником, получил нищий приход где-то на Корсике. Только глаза у него оставались лукавыми, но все равно мы все себя с ним чувствовали очень неловко. Чабров кюре! Какой-то последний маскарад. Ужасно! Что это за человеческие судьбы? Что ни судьба – то чертовщина какая-то.

Насчет второго письма – а как, все же, *отмелись* сами мамины Дон-Жуаны и плащи. Я как раз перепечатывала стихи тех лет, и так многое мне там «против шерсти». Театральность была не по ней – т. е. образ в образе – уже однажды придуманный Дон-Жуан – прошедший через литературу, театр, музыку, пришедший к ней уже натасканным так, как может быть только Дон-Жуан, – и плащ такой же! и из всей этой истасканности и выжатости и изжитости что она могла сделать? Жест, поза, магия самого стиха, т. е. стихотворного приема, больше и нет ничего. Ее самой нет. А вот насчет Царь-Девиц, Егорушек и Руси – не знаю. Нет, это, конечно, не второстепенное. «Егорушку» вы знаете? Еще посылаю выписки из той же книжки, стихи («явно после ряда бесед

с Э[ренбур]гом»). Как там хорошо про глиняный сосуд (Адам, созданный из глины) и про остатки звериной крови в нем, в него! И еще – стихи, написанные Вам вслед («Вестнику»). Есть ли у Вас (наверное, есть!) стихи, тоже Вам посвященные, тоже 1921 г., там, где «Вашего имени «р» – и помните ли, по какому случаю они были написаны?

Илья Григорьевич, я подобрала и перепечатала лирику, к[отор]ая, думается мне, «пошла бы» для книги.

Могли ли бы Вы прочесть и сказать, что Вы думаете, одним словом – посоветовать? Если да, то когда можно будет занести (или прислать) Вам стихи?

Я видела Тарасенкова, у него есть проза, к[отор]ой у меня нет (вообще у меня прозы сохранилось мало), и много книг, к[отор]ых у меня тоже нет, – он думает, что надо готовить настоящее посмертное издание – и с поэмами, и с пьесами, и с прозой, – а мне что-то страшно так размахиваться...

ИЗ ПИСЬМА Э. Г. КАЗАКЕВИЧУ

5 октября 1955

...Сегодня я отнесла Тарасенкову мамины стихи – те, что подобрала для «мечтанного» издания. Очень жаль, что Вас нет в Москве и что Вы не можете посмотреть их: там есть много неизданного, в частности – весь цикл стихов о Чехии, последнее по-настоящему написанное, завершенное ею при жизни. Впрочем, я просто возьму да пришлю Вам их в этом же письме. Ведь Вы-то стихов не собираете ради коллекции, как марки и как бабочек? (Это – не камень в гарасенковский огород – пока что.)

У меня к Вам очень большая просьба: если не трудно, зайдите к Марии Степановне Волошиной с моей записочкой, попросите ее доверить Вам единственную мамину карточку,

которая у нее есть (там мама с Пра, матерью М. Волошина – она же (Пра) – моя крестная – а звали, вернее прозвали ее так, считая ее «праматерью» всей тогдашней коктебельской литературной молодежи), – и переснимите ее, т. е. дайте переснять. Или, если она (М. С.) не захочет отдать снимка, м. б. можно будет фотографа туда привести? Одним словом, пожалуйста, придумайте и осуществите что-то с этим снимком. Мне очень хочется, чтобы он у меня был – маминых фотографий тех лет почти не осталось.



Москва. Площадь трех вокзалов. Весна 1956 года. Ариадна Сергеевна с писателями Т. С. Сикорской и С. Б. Болотиным

Простите, что так вдруг – поручение, но как же иначе быть? Посмотрите хорошенько волошинский домик, и башню посмотрите, цел ли медный гонг – и богиня? Я все это смутно-смутно помню, мне было лет пять, когда я там была. Мы как-то с мамой приехали ночью, у Пра в башне горела маленькая керосиновая лампочка, был ветер и очень шумело море, на столе лежали большие хлеба, мне хотелось спать...

Это был наш последний приезд, а еще до этого помню розы, розы, жару, сушь, ежика, к-го мне подарила Пра, себя такую маленькую, что была ниже уровня моря – море мне казалось стеною! Волошин меня таскал на плече, я боялась, потому что вдруг – земля далеко! где-то там внизу.

ИЗ ПИСЬМА А. К. ТАРАСЕНКОВУ

7 февраля 1956

...Спасибо за Сонечку. Мама очень любила ее в «Белых ночах», только она эту самую «mise en scène»[2] помнила несколько иначе, чем Яхонтов рассказывает, – не сидела Сонечка в кресле, а стояла, опираясь обеими согнутыми в локтях руками о спинку стула, так, как обычно о подоконник опираются, выглядывая наружу, знаете? и рассказывала, чуть покачиваясь, и все были не то, что очарованы – зачарованы! Тут где-то рядом с нами живут ее родственники, или близкие друзья, от которых я, весной 1937 г., узнала о ее смерти.

Кто ее помнит сейчас? Ее час еще не пробил, она пока живет на дне железного сундучка, как еще не проклюнувшееся зернышко собственной славы – в маминой повести. В один прекрасный день они воскреснут обе – мама и Сонечка, рука об руку. И опять все их будут любить. Не скоро приходит эта, самая настоящая, посмертная любовь, так называемое «признание», куда более прочная и непоправимая, чем все прижизненные.

Непоправимая, неутолимая наша любовь к Пушкину и к Маяковскому, и многим поныне живым – но рукой не достанешь и голоса не услышишь.

---

[2] Мизансцена *(франц.)*.

В прошлом – 1956 – году, зимой, кажется, зашла на минутку к Эренбургу по делу, потом, поговорив с ним, заглянула к Любови Михайловне – та позвала меня. И говорит: «Не верю я в предчувствия, приметы. А ведь бывает что-то такое в жизни. Давным-давно, еще до отъезда из России Марина подарила мне браслет, и носила я его всю жизнь (и тут же, простодушно): не потому, что мне его Марина подарила, а просто он был мне по руке и нравился. Браслет серебряный, литой, тяжелый – сломать такой немыслимо. И вот как-то – захожу в магазин, и что-то со звоном падает на пол; смотрю – у моих ног половина браслета, вторая осталась на руке. Подняла, посмотрела, через весь браслет – косой излом. Сломался у меня на руке! Стало мне как-то не по себе, волей-неволей запомнился этот день, число – 31 августа 1941 года. А через некоторое время Эренбург узнает – именно в этот день, этого числа погибла Марина. Теперь я хочу отдать Вам этот браслет – я его не чинила, оставила так; хотите – храните его в таком виде, хотите – почините и носите»...

И Любовь Михайловна подала мне тяжелый, литой, серебряный браслет, знакомый мне с детских лет, – вернее, не браслет, а два его обломка, и линия излома наискосок, с резкими углами, как молния...

(Из тетради. 1957 г.)

С Ахматовой я познакомилась у Пастернака, в Переделкино, в январе 1957 г. Был ясный, очень солнечный, очень морозный день, я долго плутала по поселку, по унаследованной от мамы привычке (при чем тут «привычка»? Штамп!) неспособности ориентироваться и запоминать места.

Против обыкновения очень ласково встретила меня Зинаида Николаевна, обычно такая равнодушно-грубая, невнимательная (Борис утверждает, что она совсем не такая, да и я говорю про чисто внешнее впечатление). Была она оживлена,

что очень ей идет и редко с ней случается, и вообще все было празднично – ярко-голубой день за огромными окнами, чудесная елка до потолка в столовой.

Говорила З. Н. про Бориса и про «Доктора Живаго», о том, что тревожно ей за того и за другого и что ждет его с этой книгой много горя и разочарований; что окружающие его друзья, в глаза захваливающие, а за глаза хающие книгу, сбивают его с толку...

Потом появился Борис, гулявший как раз с некоторыми из друзей, en question[3], в частности, с Ливановым. Ливанов, как обычно, громогласен и пьян. Евгения же Казимировна модна сверх всех, допускаемых цензурой и здравым смыслом пределов: волосы крашены в бледно-розовый цвет, в ушах – пластмассовые украшения величиной с доброе блюдце, узкие брючки на ногах Россинанты, огромные солдатские бутсы. Волосы острижены так причудливо, что кажутся побитыми молью – да Бог с ней! Еще кто-то был с ними, сейчас не помню – кто. Борис выглядел чудесно, милый, смуглый и седой, с золотыми глазами. Мы с ним расцеловались, – а целуется он всегда очень охотно, от чистого сердца, чмокает громко и со вкусом и друга и недруга в обе щеки (то, что французы называют des baisers de nourrice[4]). Прелестное у него лицо – когда-то был он юным островитянином жгучей масти, теперь стал настоящим «последним из Могикан» – бронзоволиким вождем исчезающего племени (это я не фигурально выражаюсь, в самом деле он похож на индейца!). Очаровательна смесь гордости и застенчивости на его лице, когда говорит о чем-нибудь особенно ему дорогом или о ком-нибудь.

---

[3] Теми самыми.

[4] Звонкие поцелуи.

Немного посидели все вместе, поговорили о каких-то пустяках – потом, видим, во двор въезжает такси, и через минуту в комнату входит очень большая – полная, высокая – женщина, уже немолодая, с лицом спокойным – величественным? – не совсем то слово – и благосклонным, лишенным той лихорадки, того огня, что помним мы по портретам Анненкова, – Ахматова. Борис знакомит нас, мы переходим в другую комнату, где не так светло и не так парадно, как в столовой, и как-то чинно и принужденно рассаживаемся на стульях, несколько поодаль от стен – вот именно это и создает всегда какую-то принужденность.

О чем шел разговор? Уговаривали Анну Андреевну почитать отрывки из ее прозаической работы о Пушкине, которая должна была появиться в, кажется, «Литературном Архиве» (не знаю, появилась ли), – она отказывалась – без кокетства и с казавшейся привычной – скукой; говорили о стихах – Борис хвалил Анну Андреевну, Анна Андреевна хвалила Бориса, а мы, присутствующие, хвалили обоих. Ахматова сидела спиной к окну, статная, массивная, в черном платье, перебирала на груди бусы. Потом Ливанов смешно рассказывал об очень давнишнем вечере грузинской поэзии, и Борис хохотал ужасно, а А. А. улыбалась отдаленно и снисходительно; всем по очереди глядел в рот, раз навсегда улыбаясь, чинный мальчик Андрюша – фамилию его не помню; он пишет стихи под Пастернака, а Пастернак, не видя заимствований и влияний, чуя лишь родство, хвалит его.

Потом З. Н. пригласила к столу – огромному столу во всю огромную столовую; кто же был за столом? З. Н., Борис, старший Нейгауз, младший, Станислав, с женой, А. А., Федин, Ливановы, Андрюша и еще кто-то; ели, пили, бесконечные тосты всех присутствующих за всех присутствующих, причем уж до того хвалебные, что хоть под стол

полезай – неловко! А. А. оказалась обладательницей прекрасного аппетита, развеселилась и, не теряя величавой повадки, вдруг стала совсем простой. Вообще, она оказалась более простой, пожилой, в меру добродушной и в меру располневшей, чем можно было себе представить по рассказам; но – ни огня, ни даже тепла, зоркий, холодноватый взгляд на подвыпивших, душа нараспашку, окружающих.



Анна Андреевна Ахматова. 1958 г.

Помню, под конец обеда Борис читал свои последние (тогда) стихи, и можно было только ахать от изумления перед неиссякаемым, неугасимым, широким, вольным даром. Так *начинают* писать, когда дано все и ничего еще не растрачено, и экономить нечего, и нет вокруг тебя ни тупиц, ни завистников, и жизнь еще – «сестра моя» и не научила взвешиванию и оглядке. Но вся эта широта, глубина и вольность, даже легкость необычайная, когда тебе за шестьдесят и жизнь – сплошные препоны!

Пастернак всегда необычен и полон какой-то особой, только ему присущей, теплоты, но когда начинает стихи читать, то всегда всех вышибает из колеи, заставляет разевать рот и разводить руками: ну как же вдруг вот одному столько дано и это данное он еще и еще раздает и, раздавая, еще богаче становится... Ливанов слушал, вытирая привычные пьяные, умиленные слезы, Андрюша с умилением, но без удивления – так благонравного католического мальчика обрадует, но не удивит, если вдруг с небес спустится Богородица; Богородица существует, существует и он, он хороший, и ничего нет удивительного в том, что она ему явилась; так хорошо, глубоко слушал Нейгауз, склонив лохматую седую голову; ему должен быть особенно близок рожденный из музыки Пастернак; Анна же Андреевна слушала, прикрыв тяжелыми веками зоркий взгляд, и внешне оставалась совершенно impassible[5]. Каково ей, иссякшей, живущей собственным отраженным светом, было слушать?

Когда все мы стали расходиться, разъезжаться, А. А. взяла у меня мой телефон, сказала, что позвонит, что хочет встретиться, но я как-то не поверила в это; да и видела и чувствовала я ее в этот вечер как-то снаружи, в то время как Пастернака всегда чувствую изнутри...

---

[5] Непроницаема.

Да, забыла сказать, не понравился мне в тот вечер Федин, вежливый, ласковый, холодный; что-то не то, а что? Был он совсем не долго, скоро за ним пришли, привезли корректуру, и он больше не вернулся. Или это что-то польское во внешности – светлые глаза, тонкие губы? Чем-то отдаленно напомнил мне героя «Поэмы Конца» – только в том было множество очарований, тонкости, грации, – но все это – на льду...

Но Ахматова позвонила. Было это зимой или ранней-ранней весной 1957. Скорее всего зимой, да это и неважно. Дала она мне адрес Ардова, где всегда, приезжая из Ленинграда, останавливается, пригласила к себе, обещала рассказать про маму.

Поехала я к ней вечером, оказывается, живет она в Замоскворечье, недалеко от писательского дома и Третьяковской галереи, возле круглой церкви. Дом то ли ремонтировался, то ли просто так разваливался, но почему-то в одном месте вместо лестницы был просто провал, и это мне сразу напомнило раннее детство, и годы гражданской войны, и Москву, сейчас же превратившуюся в сплошные провалы и ухабы.

Позвонила; открыла мне прислуга, на вопрос об А. А. сказала: «Они отдыхают». Я оказалась в квартире, к которой, когда она была еще в новинку, хозяин приложил руки, устроив всякие антресоли, стенные шкафчики и другие, удобные в хозяйстве, закоулки, а потом все стало привычным, приелось и пришло в запустение. Подождала немного, огляделась, посмотрела на безделушки, заполнившие столовую, потом постучала к А. А.; через несколько времени послышался заспанный голос, потом дверь открылась и появилась А. А., в лиловой ночной рубашке до пят, еще не совсем проснувшаяся. Комнатка, которую она занимала у Ардовых, так мала, что напоминает каюту, но высокая и с большим окном, там тахта, маленький круглый столик, два стула,

полочка; более двух человек там находиться одновременно не могут. А. А. зажгла свет, стало уютно, сели мы за круглый столик, она так и осталась в ночной рубашке-хламиде, спокойная, равнодушная и величавая.

Начали разговаривать. Спросила меня, чем я занимаюсь, я спросила про недавно вернувшегося ее сына. Она сказала, что работает он в Ленинграде и начинает привыкать к новой жизни, но что переход от прежнего состояния к новому был ему тяжел и трудно было приспособиться. Сказала, что наконец она счастлива и спокойна – сын вернулся!

«Получил бумажки, из которых явствовало, что 22 года репрессий – ни за что, “за отсутствием состава преступления”...

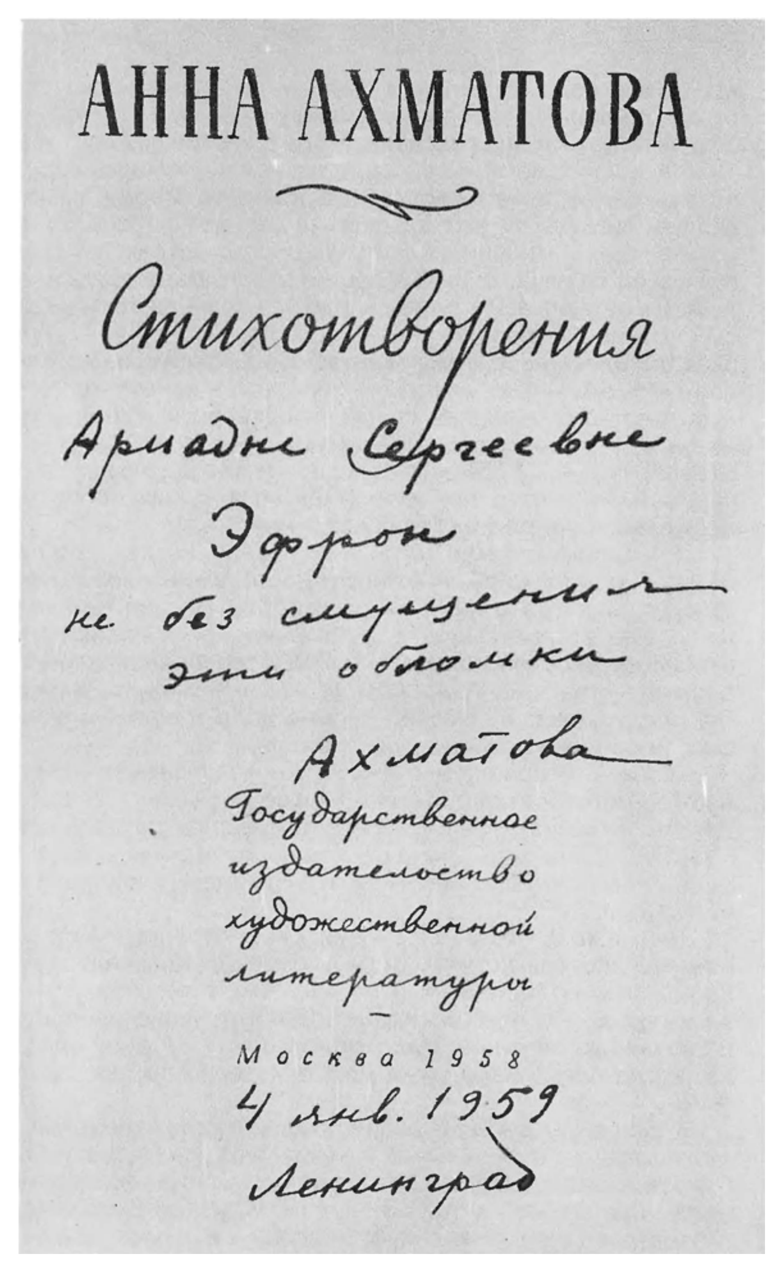
«А как книга Марины Ивановны?» – Рассказываю. «Сколько печатных листов?» – Отвечаю. – «А моя книга, которую должны напечатать, – два с половиной печатных листа, включая переводы...»

«...Марина Ивановна была у меня, вот здесь, в этой самой комнатке сидела вот здесь, на этом же самом месте, где Вы сейчас сидите. Познакомились мы с ней до войны. Она передала Борису Леонидовичу, что хочет со мной повидаться, когда я буду в Москве, и вот я приехала из Ленинграда, узнала от Б. Л., что М. И. здесь, дала ему для нее свой телефон, просила ее позвонить, когда она будет свободна. Но она все не звонила, и тогда я сама позвонила ей, т. к. приезжала в Москву ненадолго и скоро должна была уже уехать. М. И. была дома. Говорила она со мной как-то холодно и неохотно – потом я узнала, что, во-первых, она не любит говорить по телефону – “не умеет”, а во-вторых, была уверена, что все разговоры подслушиваются. Она сказала мне, что, к сожалению, не может пригласить меня к себе, т. к. у нее очень тесно или вообще что-то неладно с квартирой, а захотела приехать ко мне. Я должна была очень подробно объяснить ей, где я живу,

т. к. М. И. плохо ориентировалась – и рассказать ей, как до меня доехать, причем М. И. меня предупредила, что на такси, автобусах и троллейбусах она ездить не может, а может только пешком, на метро или на трамвае. И она приехала. Мы как-то очень хорошо встретились, не приглядываясь друг к другу, друг друга не разглядывая, а просто М. И. много мне рассказывала про свой приезд в СССР, про Вас и Вашего отца и про все то, что произошло. Я знаю, существует легенда о том, что она покончила с собой, якобы заболев душевно, в минуту душевной депрессии – не верьте этому. Ее убило то время, нас оно убило, как оно убивало многих, как оно убивало и меня. Здоровы были мы – безумием было окружающее – аресты, расстрелы, подозрительность, недоверие всех ко всем и ко вся. Письма вскрывались, телефонные разговоры подслушивались; каждый друг мог оказаться предателем, каждый собеседник – доносчиком; постоянная слежка, явная, открытая; как хорошо знала я тех двоих, что следили за мной, стояли у двух выходов на улицу, следили за мной везде и всюду, не скрываясь!

М. И. читала мне свои стихи, которые я не знала. Вечером я была занята, должна была пойти в театр на "Учителя танцев", и вечер наступил быстро, а расставаться нам не хотелось. Мы пошли вместе в театр, как-то устроились с билетом, и сидели рядом. После театра провожали друг друга. И договорились о встрече на следующий день. Марина Ивановна приехала с утра, и весь день мы не разлучались, весь день просидели вот в этой комнате, разговаривали, читали и слушали стихи. Кто-то кормил нас, кто-то напоил нас чаем».

«М. И. подарила мне вот это – (А. А. встает, достает с крохотной полочки у двери темные, янтарные, кажется, бусы, каждая бусина разная и между ними еще что-то). – Это четки», – и она рассказала мне их историю.



АННА АХМАТОВА

Стихотворения

Ариадне Сергеевне
Эфрон
не без смущения
эти обломки
Ахматова

Государственное
издательство
художественной
литературы
—
Москва 1958

4 янв. 1959
Ленинград

Автограф Ахматовой. 1959 г. Из собрания Л. М. Турчинского

А вот историю-то я сейчас помню слабо и боюсь перепутать, кажется, четки восточные, какие-то особые, какие бывали лишь у тех, кто побывал на могиле Пророка. Или, м[ожет] б[ыть] речь шла не именно об этих четках, а о другой какой-то вещи, т. к. мне помнится, что мама подарила А. А. и старинные эти четки, и еще что-то – другие ли бусы? кольцо ли? брошь? Только ясно помню, что А. А. рассказала мне, как будучи в эвакуации в Ташкенте она показала или эти четки, или ту, вторую, вещь какому-то ученому местному человеку, который подтвердил, что – вернее и не подтвердил, а на ее вопрос – что это такое – сказал, что – это предмет священный для верующего мусульманина, т. к. такие (четки?) мог носить лишь человек, побывавший на могиле Пророка.

(Я их заметила еще тогда, 1-го января, когда увидала А. А. у Пастернака.) А. А. их носит постоянно на шее и, как говорит, никогда с ними не расстается. На полочке лежало еще второе какое-то украшение, тоже красивое и старинное, и потом кольцо – гемма в серебряной оправе, в гемме – трещина. А. А. сказала, что любимые вещи иногда предупреждают о горе – гемма дала трещину в день смерти ее мужа или накануне этого дня.

Потом А. А. прочла мне свои стихи, посвященные маме, в которых говорится о Марине Мнишек и башне, – сказала, что стихи эти были написаны задолго до маминой смерти. Дала мне прочесть свою последнюю, но уже давно написанную поэму – ту, где орхидея – или хризантема на полу.

Рассказала, что мама, будучи у нее, переписала ей на память некоторые стихи, особенно понравившиеся А. А., и кроме того подарила ей отпечатанные типографски оттиски поэм – «Горы» и «Конца». Все это, написанное или надписанное ее рукой, было изъято при очередном обыске, когда арестовали мужа или, в который-то раз, сына А. А.

Я рассказала А. А. о реабилитации (посмертной) Мандельштама, о которой накануне узнала от Эренбурга, и Ахматова взволновалась, преобразилась, долго расспрашивала меня, верно ли это, не слух ли. И, убедившись в достоверности известия, сейчас же пошла в столовую к телефону и стала звонить жене Мандельштама, которой еще ничего не было известно. Судя по репликам Ахматовой, убеждавшей жену Мандельштама в том, что это действительно так, та верить не хотела; пришлось мне дать телефон Эренбурга, который мог бы подтвердить реабилитацию.

Сидим, разговариваем, сын Ардова принес нам чаю; телефонный звонок: жена Мандельштама проверила и поверила.

1957 *г.*

ИЗ ПИСЬМА Н. И. ИЛЬИНОЙ

29 марта 1969 г.

...М. Ц. была безмерна, А. А. – гармонична; отсюда разница их (творческого) отношения друг к другу. Безмерность одной принимала (и любила) гармоничность другой, ну, а гармоничность не способна воспринимать безмерность: это ведь немножко не comme il faut с точки зрения гармонии.

Первые сентябрьские дни 1957 г. Таруса. Поездка в Велегож на пароходе. Сосновый бор, песчаная дорога вверх, уступами – уступы – ступени образованы корнями сосен. Дом отдыха – отдыхающих не видно – множество ярких, но угасающих цветов. Все выше и выше – липовая аллея, ведущая в никуда, и оттуда вид во всю ширину туда, налево, где Ока, вновь и вновь петляя, идет к Алексину. День серебряный с золотыми просветами, и вид такой же – серебряная Ока, золотые пески. Хотели было идти этим берегом до тарусского перевоза, обратно; дороги нет, заплутались в лесу. Среди лип,

осин, сухостоя, грибов и бурелома, оврагов, ручьев, кустарников. Когда выглянуло из-за туч и вершин вечернее солнце, увидели, что идем совсем не в том направлении. Пришлось кое-как возвращаться обратно, через лес, через сжатое поле, липовую аллею, вниз, к пристани. Обратный пароходик давно ушел, бакенщик уехал в Тарусу, два мрачных рыболова на берегу переправить нас на ту сторону не берутся. Вечереет. Идем к избушке бакенщика – может быть, там кто-нибудь есть. Встречает нас аршинная надпись – «Осторожно, собака» и сама собака, преогромный и дружелюбный пес на трех лапах, а четвертая поджата.

Потом появляется старик в капитанской фуражке, начальник пристани, отец бакенщика. Берется перевезти нас; в лодке начинает расспрашивать, кто мы, откуда, рассказываем вкратце, говорим, что строимся, конечно, спрашиваем, не знает ли он плотников. – «А где строитесь?» – «Да в Тарусе, на Воскресенской горе, может быть, знаете участок Цветаевой, так вот там!» – «Еще бы не знать участок Цветаевой... Я и самих Цветаевых всех знал, и Ивана Владимировича, и Валерию, и Настю, и Марину, и Андрея Ивановича... Цветаевы были, можно сказать, первые дачники в Тарусе; где теперь дом отдыха, так то была вся их территория. И ведь вот как бывало – уедут они на зиму, все вещи оставят, сундуки, сервизы, замочек повесят – и все. И хоть бы раз кто забрался и набедокурил – нет, все всегда бывало в порядке. Помню, раз как-то приезжал, то ли поздней осенью, то ли зимой, Андрей Иванович с товарищем, немного побыли и уехали, а нам, ребятишкам, любопытно было, как они там хозяевали, мы и забрались в дом. Видим – печку топили, кашу варили, каша недоеденная так и осталась в чугунке на шестке. Все мы посмотрели, всюду походили, и уж очень понравился нам один стакан – мы его и взяли себе, а чтобы больше, или там по сундукам шарить, этого не бывало, это нет! Так вы, значит,

Маринина дочка, так-так. Маму Вашу Мусей звали, Анастасию Ивановну – Настей. Боевые они были, одна чуть побольше, одна поменьше. Одна в очках ходила, то ли Настя, то ли Муся, не помню. А барышни были очень хорошенькие, за Настей один ухаживал, Мишкой звали, а прозвище у него было Дубец, красивый был, капитаном на пароходе. Уж как мы, бывало, смеялись над ним – ну куда, мол, ты лезешь, – профессорская дочка и сын сапожника! Ну как же мне не знать Цветаевых – мать моя, старушка, бывало, все у них белье стирала. Хорошие были люди, хорошие»...

Зовут старика Розмахов, Ефим Иванович. Еще много интересного рассказывал он про Тарусу тех лет, про старожилов, рассказывал и про цветаевских родственников Добротворских, особенно про одну из дочерей, Людмилу Ивановну, врача Тарусской больницы, основанной ее отцом.

(Из тетради 1957 г.)



Дача в Тарусе, где с 1958 года жила Ариадна Сергеевна

ИЗ ПИСЬМА М. И. БЕЛКИНОЙ

15 марта 1961 г.

...Не думайте, что, говоря о «цветаевском» контроле, много на себя беру. Дело в том, что я – последний живой свидетель *всей* маминой жизни и *всего* ее творчества (за исключением 3-х последних лет), я наизусть знаю ее отношение к каждой вещи, и меня она звала своим *абсолютным читателем.* Только поэтому я стою за тщательный (всесторонний) отбор произведений (в т[ом] ч[исле] и за политический). За рубежом маму издают безобразно, сенсационно, и тоже кто-то *там* себе карьерку делает на этом... И этого, т. е. скороспелого «первооткрывательства», хочется избежать – хотя бы у нас.

Имейте в виду, что у меня есть – в рукописях, в перебеленных в 1939 г. тетрадях и т. д. *вся* лирика (т. е. все то, что писалось, печаталось и не печаталось за все годы). Имеющиеся пробелы незначительны – м. б. с десяток стихотворений, как-то исчезнувших. Т. ч. всяческую сверку, проверку и пр. с полной достоверностью можно проводить только по хранящимся у меня материалам – т. к. именно в них, рукописных (в переписанных и исправленных мамой в 39-м г.) отсутствуют искажения «списков» и опечатки, цензурные сокращения и пр. – опубликованного...

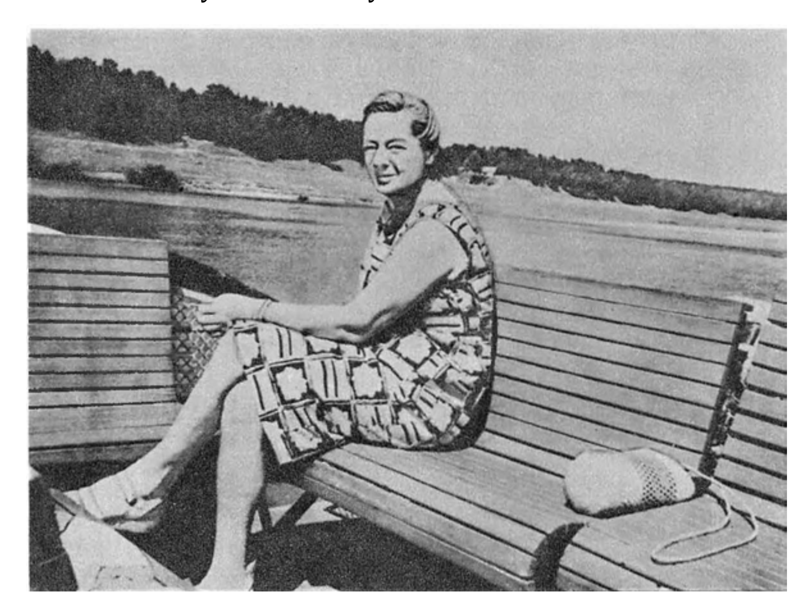
ИЗ ПИСЬМА А. А. СААКЯНЦ

30 апреля 1961

...Маминого портрета в Париже – до 37-го года – никто не писал, с 37 по 39 – не знаю, не слышала. Единственный портрет – карандашная зарисовка, которую я Вам показывала, – художник Билис (он же мужчина, а не женщина). Дореволюционные портреты были. Тут, в Тарусе, у меня есть скульптурный бюст мамы лет 22-х, работы Нат. Крандиевской – гипсовая копия мраморного, который находится у нее.

Есть ранний портрет Натана Альтмана, к-го ни Альтмана, нм портрета, не видела.

Есть, опять же ранний, силуэт – работа действительно художницы, а не художника – у меня есть снимок.



А. С. Эфрон. Таруса. 1961 г.

Жаль, что взяли для книжки портрет в клетчатом платье, т. к. это (то, что было у Крученых) переснимок с переснимка, появившегося в печати и плохо отретушированного, сходство там было очень искажено, воображаю, что дала вторичная – гослитовская – ретушь!..

ИЗ ПИСЬМА И. Г. ЭРЕНБУРГУ

3 мая 1961 г.

...Теперь – относительно той части воспоминаний, что о маме, – я жалею, что тогда, у Вас, не читала, а глотала, торопясь и нацелясь именно на маму. А теперь, перечитывая, увидела, что об отце сказано не так и недостаточно. Дорогой

Илья Григорьевич, если есть еще время и возможность, и не слишком поздно «по техническим причинам» для выходящей книги, где-нибудь в конце какого-нибудь абзаца, чтобы не ломать набор, уравновесьте этот образ и эту судьбу – скажите, что Сережа был не только «мягким, скромным, задумчивым». Он был человеком и безукоризненной честности, благородства, стойким и мужественным. Свой белогвардейский юношеский промах он искупил огромной и долгой молчаливой, безвестной, опасной работой на СССР, на Испанию, за к[отор]ую, вернувшись сюда, должен был получить орден Ленина. Об этой стороне отца необходимо хотя бы обмолвиться, и вот почему. Мама свое слово скажет и долго будет его говорить. И сроки не так уж важны для таланта, и сроки непременно настают, и они длительней человеческих жизней. Часто именно физическая смерть автора расщепляет атом его таланта для остальных; докучная современникам личность автора больше не мешает его произведениям. И мамины «дела» волнуют меня только относительно к *сегодняшнему* дню, ибо в ее *завтра* я уверена. А вот с отцом и с другими многими все совсем иначе. С ними умирает их обаяние; их дела, влившись в общее, становятся навсегда безвестными. И поэтому каждое *печатное* слово особенно важно; только *это* остается о них будущему. Тем более *Ваше* слово важно; сделайте его *полнее,* это слово, т. к. Вы-то знаете, что не папина мягкость, скромность и задумчивость сроднили его с мамой на всю жизнь – и на всю смерть. Поймите меня правильно, не сочтите назойливой и вмешивающейся не в свое дело, простите, если *не так* сказано; я бы и *так* сумела сказать, если бы не спешка и не застарелая усталость, забивающая голову. Впрочем, Вы *все* понимаете, поймете и это.

В Базеле не архив МЦ., а 2 вещи.

Мама привезла значительную (а не небольшую, как сказано у Вас) часть архива своего сюда – т. е. большую часть

рукописей стихотворных, прозу напечатанную и выправленную от руки и часть прозаических рукописей, зап. книжки подлинные или переписанные от руки. Большинство этого сохранилось (у меня сейчас) также как часть писем к ней – Рильке, Пастернака. Недавно получила ее письма к герою поэм «Горы» и «Конца».

ИЗ ПИСЬМА А. А. СААКЯНЦ

19 июня 1961 г.

...Мама взяла с собой сюда все стихотворное, раннее – в беловых, позднее – в беловых и черновых тетрадях; большие поэмы, пьесы – не в рукописях (в большинстве), а в печатных оттисках с собственноручной правкой, вставками, добавлениями. То же (в большинстве) с прозой; кое-что из этого имеется в *черновиках.* Огромный архив подлинников погиб в Париже. А здесь растащили кое-что из оттисков (без меня). При маминой жизни была утрачена (совсем) рукопись ее первой пьесы, неопубликованной, «Ангел на площади», рукопись (опубликованной) «Метели», окончательный вариант «Крысолова», и совсем пропало неск. стихотворений, в том числе прекрасное (раннее) «Крыло, стрела и ключ». Первый вариант «Егорушки» и беловой второй. Некоторые слабые стихи мама уничтожила сама. Самые ранние рукописи «Веч[ерний] альб[ом]», «Волшеб[ный] фонарь», «Юн[ошеские] стихи», хранившиеся частично у маминой сестры А. И., пропали.

ИЗ ПИСЬМА Э. Г. КАЗАКЕВИЧУ

12 октября 1961 г.

...Где-то у мамы в записной книжке есть слова о том, что живому поэту посмертная слава не нужна, и вот через это никакой моей радости по поводу книжечек, книг

или собраний сочинений не перешагнуть. Я рассудком (хоть и мало у меня его) – знаю, что все это нужно и хорошо – книги, имею в виду, а сердце ничуть не радо – пепел Клааса сильней всего, пусть он только пепел. Ни до чего мама не дожила – мало сказать *не дожила.* Ах, Эммануил Генрихович, как мне мертвы многие живые, как мне живы мертвые – не дожившие...

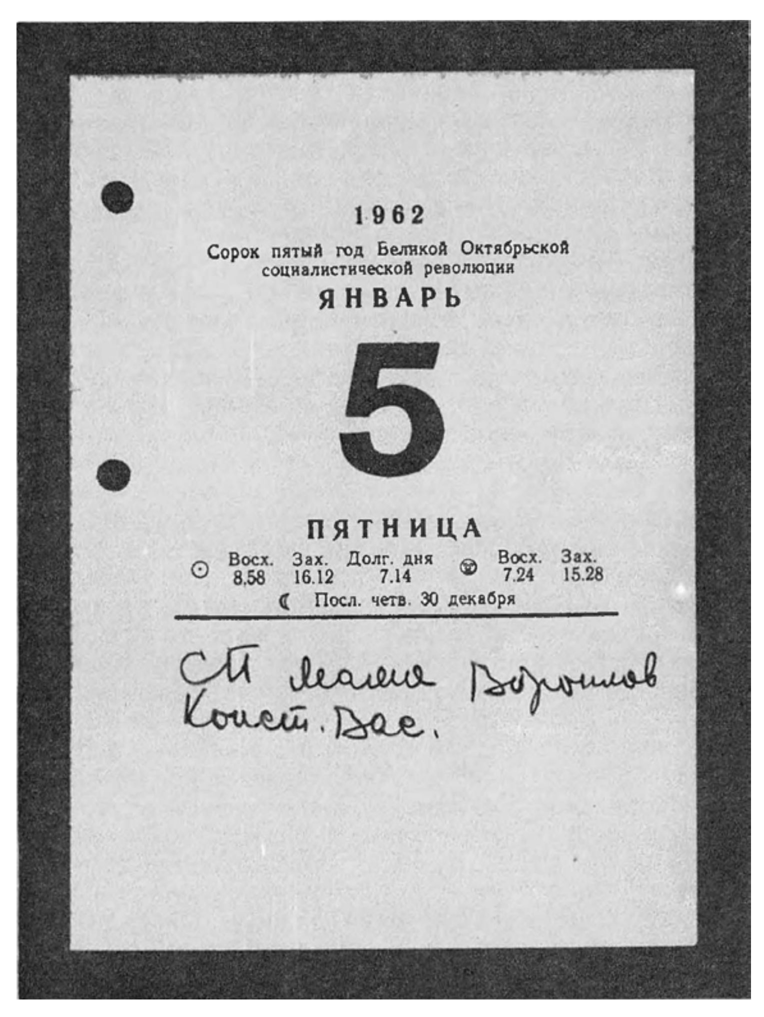
Я с глубоким – глубоким, несказанным чувством посылала Вам эту книжечку, помня (навсегда), *как* она начиналась. Вы первый – вместе с Анатолием Кузьмичем – бросили эти зерна в каменистую почву Гослитиздата – помните? Сколько, черт возьми, терниев там произросло (не говоря уж о лопухах, к[отор]ые не в счет!), пока пробилась книжечка – с чисто цветаевским упорством, помноженным на еще многие упорства...

ИЗ ПИСЬМА В. Б. СОСИНСКОМУ

28 ноября 1961 г.

...С Вашими мыслями о Бунине я не согласна, очень люблю его и перечитывать могу без конца, наравне с Толстым и Чеховым. Мне кажется, что Вы просто молоды душой для Бунина, он не соответствует Вашему душевному складу... Знаете ли Вы, что он был старейшим другом нашей семьи (папиной) и, совсем юношей, был увлечен моей бабушкой Елизаветой Петровной, женщиной красивой и замечательной? Знал папу еще мальчиком. Много связано с ним в памяти интересного. В 30-е годы и мама его «признала» как писателя, равно, как и Чехова (через «Степь»)...

Связь между нашей семьей и семьей Буниных началась во времена почти незапамятные, в двух старинных и странных особняках незапамятной Москвы – садовой, булыжной, колокольной; в одном из них, находившемся в двух шагах



Листок из настольного календаря Ариадны Сергеевны. По-видимому, в этот день должен был состояться разговор с секретарем Союза писателей К. В. Воронковым по делам, касающимся М. И. Цветаевой

от Тверской и принадлежавшем известному до революции историку Дмитрию Ивановичу Иловайскому, часто бывала юная Вера Муромцева – будущая Бунина. Бывала? Нет – залетала, сияя, предвкушая встречу с любимейшей из своих

институтских подруг, Надей Иловайской, дочерью историка; но, едва переступив порог, гасила голос, взгляд, смех, ибо душу леденил этот дом – такой хмурый в своей многооконности, тесный в своем просторе, равнодушный в своем гостеприимстве, скупой в своем богатстве. Твердокаменный характер хозяев, твердокаменные устои, порядки, уклад. Все от рассудка, ничего от сердца; все от вчера – ничего от завтра. Трудно дышалось в этом доме молодым – и рано умиралось...

Дед мой, профессор Иван Владимирович Цветаев, был женат первым браком на старшей дочери Иловайского, Варваре Дмитриевне, женщине прелестной и одаренной, прожившей недолгий век и оставившей обожавшему ее мужу двоих детей – Валерию и Андрея (чье появление на свет стоило ей жизни). Валерия Цветаева, внучка Иловайского, почти ровесница его дочерей от второго брака – Надежды и Ольги, училась вместе с ними в Екатерининском институте; и в «доме у Старого Пимена» – истоки знакомства Веры Муромцевой с тремя поколениями Цветаевых. Много лет спустя, когда давно уж – не только Екатерининского института, старопименовского особняка, но и прежней России не осталось в помине, – в унылой своей парижской квартирке, распахнув передо мной, словно створки шлюза в некий Китеж, тяжелый альбом в посеревшем бархатном переплете, показывала мне Вера Николаевна давние фотографии – разные лица в одинаковых прическах, разные судьбы в одинаковых форменных пелеринках. Темноглазая, бесконечно печальная Надя Иловайская, в расцвете юности умершая от туберкулеза; беленькая, в веселых ямочках, сестра ее Оля, не вынесшая гнета «старого Пимена» и сбежавшая из дому; высокомерный нос, ротик брезгливого Купидона – сестра моей матери, Валерия Цветаева, смолоду «ушедшая в народ», а в зрелые годы – в студию акробатического танца; а эта? – «узнаешь?» – гладкая светлая коса, твердый светлый взгляд – такое русское лицо,

такая русская гордая и терпеливая – осанка! – вот и она сама, завиднейшая невеста «той» Москвы, дочь (?) того самого Муромцева, председателя Государственной думы, – еще и не Вера Николаевна вовсе, а просто Верочка, не ведающая пока, что суждено ей навеки связать свою жизнь с Буниным, великим писателем своей земли, который покинет эту землю, но до последнего вздоха останется подвластным ее притяжению; еще не ведающая, что будет шагать за ним всеми проселками и всеми обочинами, пока не распухнут ноги и не развалятся башмаки, – шагать десятилетия и десятилетия, вплоть до эмигрантского кладбища в Сент-Женевьев близ Парижа.

(Из тетради. 60-е гг.)

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

24 ноября 1962 г.

...Представьте себе, что совершенно не помню Вашего приезда в 1928 – как странно! Настолько же не помню, насколько хорошо (конечно, своеобразно – т. е. *детское* восприятие, заключенное во *взрослой* памяти, причем без корректив, которые часто, да почти всегда, привносит возраст...) – помню ту, давнюю, пору. И Вашу impétuosité[6], и гибкую статуэтность Юры Завадского, и душу Володи Алексеева... И многих, и многое, и ту, сейчас просто немыслящуюся, Москву. Я так была мала, что и булыжники, и звезды были одинаково *близко* – рукой подать. Господи, какое же у меня было *счастливое* детство, и как мама научила меня *видеть*... А помните тот Дворец Искусств, поразительный, чудесный, с яблоньками-китайками по фасаду, с Луначарским в правом флигеле, с Милиотти в левом и со всей литературой (и какой!)

[6] Стремительность *(франц.)*.

посередке. А в подвальной комнате, там, внизу, в недрах, рядом с кухней (которую воспроизвести смог бы разве Gustave Doré для какой-нибудь из сказок Перро) еще жила слепая старушка, бывшая крепостная, бывших владельцев... Когда я впервые после многих-многих лет зашла в этот же особняк, я почувствовала себя... да что об этом говорить! Подумать только, что тогда же, в несказанные годы зарождались и учреждения. Как они *одолели* все! – но я ушла в сторону.

Скажите, а Чабров? Имел ли он отношение к будущему Вахт, театру? Мне кажется, он появился гораздо позднее, но м[ожет] б[ыть] путаю. Вы его помните? Если да, то знаете ли, к чему он пришел и чем окончил?

А те спектакли я помню. Кстати, и Вашу пьесу «Чудо св. Антония» не видела, конечно, но немало ночей снились страшные сны, после того, как мама рассказала мне ее содержание.

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

6 января 1963

...Рада, что у Вас есть сколько-то Казановых томиков, м[ожет] б[ыть] как раз то, что нужно, найду. Я буду в Москве приблизительно через дней 10, и довольно надолго, сейчас же позвоню Вам, повидаемся. Сюда ехать, ей-Богу, не стоит наспех в зимнюю несуразицу. А вот весной или летом буду ждать Вас в гости непременно. Покажу Вам мамины места и домик, в котором она выросла, и ель – ели, посаженные дедом в честь детей, и надо, чтобы в Ваш приезд Ока была живая, как при маме, а не скованная льдом. *Здесь* родились на свет ее первые стихи, от которых все и пошло. Зима тоже хороша, но – обезличивает. Я рада, что Вы «нашлись».

А ведь последняя мамина проза – о Вас, о вас о всех, тех, юных – мамина «Повесть о Сонечке». Знаете?

Удивительная вещь – жизнь! Удивительно смыкаются круги – возвращается ветер на круги своя – и *безвозвратное* еще раз берет тебя за руку – и за душу...

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

13 марта 1963 г.

...Мама начала заниматься переводами в 1919 г., когда перевела для 2-й студии «On ne badine pas avec l'amour» Musset[7] (рукопись не сохранилась, но, верно, хорошо было сделано – в тот самый поток ее собственных пьес!). Потом, в 30-е годы, в Париже, она увлеклась переводами революционных (старых) русских песен – в т. ч. «Замучен тяжелой неволей» и «Вы жертвою пали» блестяще переведены ею на фр. (Переводила для заработка, но с увлечением.) В 1934 г. перевела на фр. ряд соврем, нем. революц. и советских песен, к-ые и сейчас поются в Париже (в т. ч. «Полюшко-поле», «Марш» из «Веселых ребят» и др.). В 1936 г. перевела много пушкинских стихов (на фр.), из к-рых в Париже было опубликовано два (всего лишь! – но все же больше, чем здесь) – песни из «Пира во время чумы» и «К няне». В 1939–40-м много переводила уже здесь – чехов, белорусов, немцев, Важа Пшавела, англ, баллады, Бодлера... всего не помню. Во Франции перевела на фр. своего «Молодца» (Гончарова сделала к нему иллюстрации); 1 или 2 главы были опубл. в Бельгии, в 30-х годах. В Москве, в 40-м году перевела на фр. ряд стихотворений Лермонтова.

С одинаковой взыскательностью относилась к переводам и у *сильных* и *слабых* поэтов. К последним *еще* взыскательнее, ибо задача труднее.

---

[7] «Любовью не шутят...» Мюссе.

О переводившихся ею на фр. (для общества – «France-URSS») революционных песнях писала в 30-е годы: «Ces chants revolutionnaires sont des chants de la pitie humaine, un appel a une vie meilleure, l'essor des grandes actions et des grandes resolutions. Je suis toujours prete se traduire des chants de travail, d'avenir, de bonte, de sympathie humaines...»[8]

У меня хранится много ее переводов; громадное количество черновиков – свидетелей громадной работы в *глубину*, не по поверхности.

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

18 марта 1963 г.

...Мама перевела не то 14, не то 18 пушкинских стихов; простите за «не то», но у меня в голове сейчас такая мешанина из подготавливаемой книги, что обо всем прочем могу говорить (наспех) *лишь* весьма приблизительно. «Песню» из «Пира» и «К няне» я назвала Вам, как единственно опубликованные из всего количества. Есть и «Стихи, сочиненные во время бессонницы», и «Герой», и «Что в имени тебе моем», и «Поэт! не дорожи любовию народной...». Кажется, и «Приметы», и «Для берегов...», и «Анчар», и «Заклинание», и, конечно же, «К морю». Оно действительно начинается «Adieu, espace des espaces», но «flots qui passeut», по-моему, нет. И переведено оно было не в 1928, а году в 1934–35; надо будет посмотреть в черновиках точную дату (даты).

---

[8] Эти революционные песни – песни человеческого страдания, призыв к лучшей жизни, к великим действиям и к великим решениям... Я всегда готова переводить песни о труде, о будущем, о доброте, о человеческой симпатии...

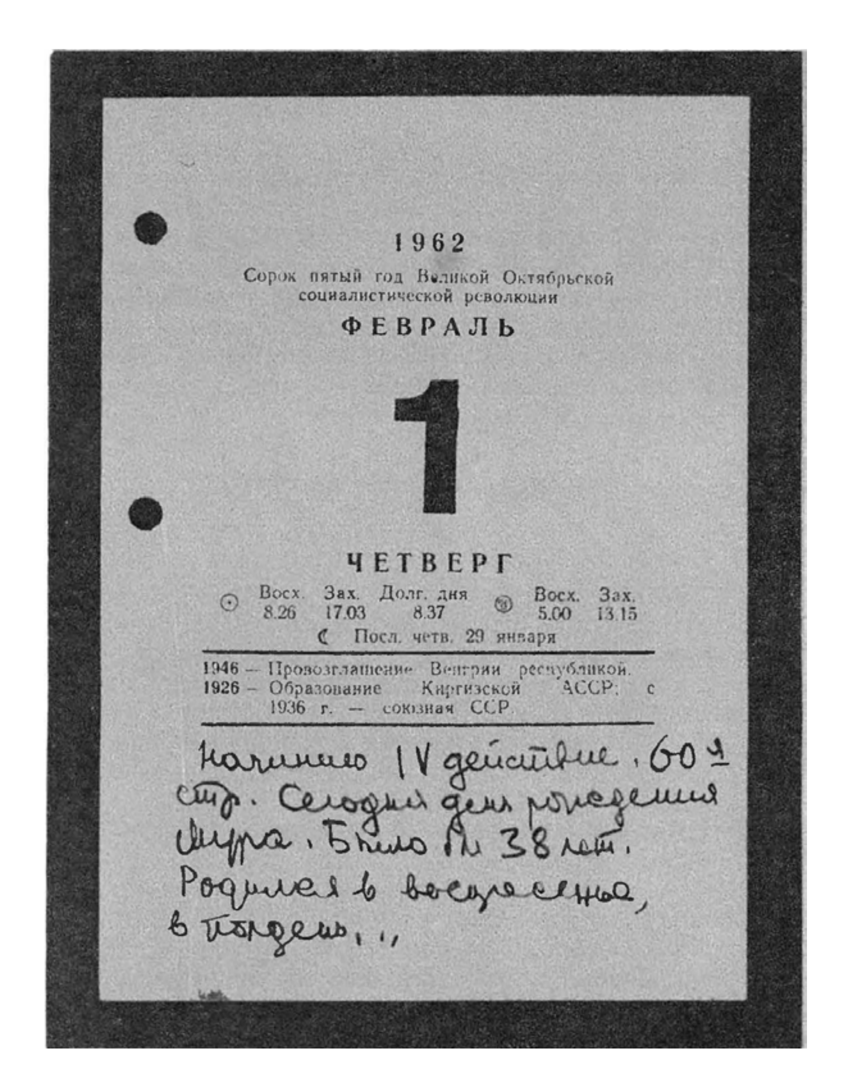
По-моему, по пушкинским переводам уцелели все черновики, т. е. видна вся последовательность работы, то, *чего* и *как* она добивалась. А вот *беловая* тетрадь – с пропусками некоторых строк, к[оторы]ми она осталась недовольна. Говорят, в Ленинграде у кого-то есть машинописная копия всех пушкинских переводов в окончательном варианте; если это точно, постараюсь достать (вернее – А. А. Саакянц достанет, ибо это идет – слух об этом – от знакомых ее знакомых). Если раздобудем, и есть машинопись *без* маминой правки, надо будет сверить с черновыми вариантами (их много по каждой строфе, а то и каждой строке). Хорошо, я была бы очень, очень рада, если бы *Вы* занялись этой (пушкинской) темой.

ИЗ ПИСЬМА А. А. СААКЯНЦ

12 мая 1964 г.

...Кстати, разбирая всякие бумажки с Мерзляковского, я набрела на письмо покойного Тарасенкова, где он пишет мне, читает *воспоминания Яхонтова,* доставленные ему *Катаняном,* в к[отор]ых Ях[онтов] чудесную характеристику дает Сонечке Голлидей, от чтения к[оторой] «Белых ночей» пошло и его чтение; пишет о том, что такой чтицы, такого обаяния на сцене не было и не будет.

М. б. Вам удастся узнать, опубликованы ли эти воспоминания – (в то время – лет 6–7 тому назад Катанян готовил их к печати), и если да, то и заглянуть в них? Думаю, что такой отзыв можно и нужно бы включить в наши комментарии, ибо в них о Сонечке «только» мамино (да наше собственное) – и это было бы и очень интересно и очень *убедительно* (подтверждение маминой оценки оценкой Яхонтова).



ИЗ ПИСЬМА А. А. СААКЯНЦ

3 декабря 1965

...Не могу сказать, как меня обрадовала находка муромцевского «Старого Пимена». Это просто чудесно; и главное – из тех важнейших, необходимейших для *ведения* Цветаевой и ее путей творческих – вещей, к-ые переводят нас из мира

догадок в мир вещественных доказательств! Из мира неконкретности (и догадок, и смутных воспоминаний, и т. д.) в мир столь же реальных, как городские вокзалы и стальные рельсы, – *путей отправления*...

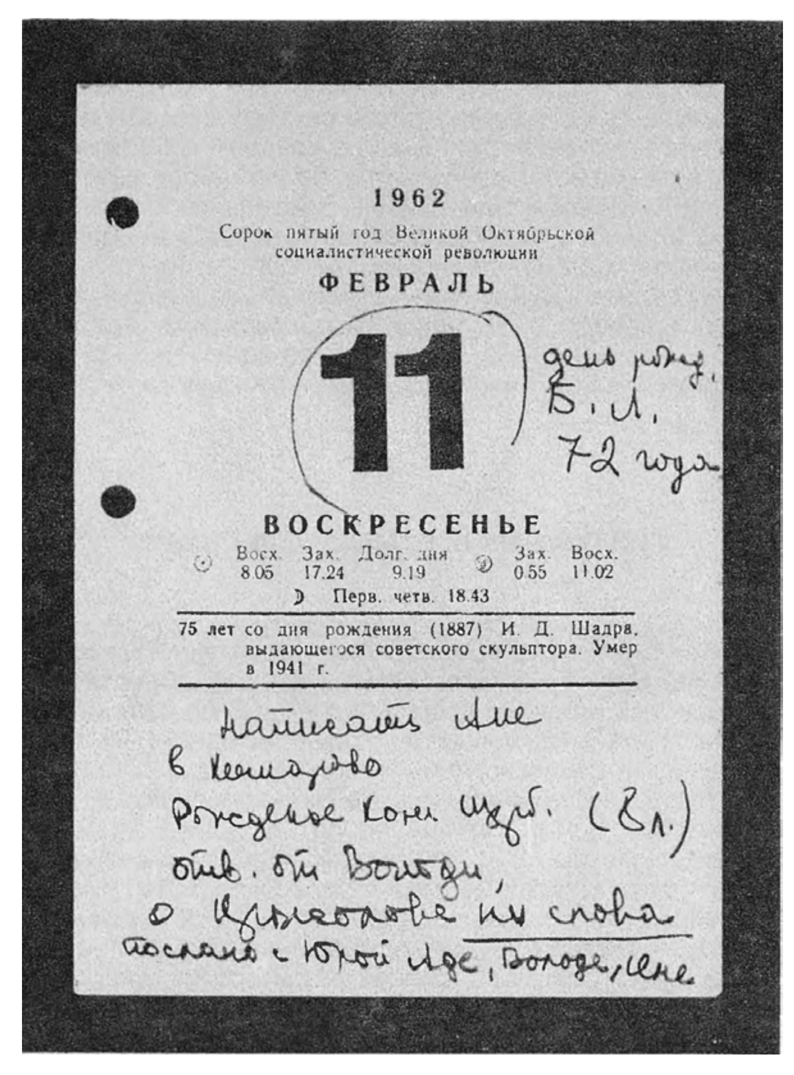
ИЗ ПИСЬМА А. А. СААКЯНЦ

1 июня 1966 г.

...Что роднит творчество М. Ц. с народным? – *две* стихии: протяженность и протяжность песни, заплачки, былины (музыкальное начало) – и афористичность, краткость, *формула* (а иногда и зашифрованность) частушки, загадки, пословицы (все это очень «грубо говоря»). «Царь-Дев.» еще протяженна, хотя уже и прослоена, пронизана молниеносностями *формул;* «Молодец» целиком *формулы,* хоть и от *песенного начала.*

Цветаевская рифмовка – всецело народная: мало классических, точных и зачастую от точности *мертвых* рифм; но – как в песнях и частушках – совершенство ассонансов (так *ли* это называется по-ученому?), дающих *на слух* иллюзию *совершенной рифмы:* «Играй-играй, гармонь моя, сегодня тихая заря, сегодня тихая заря, услышит милая моя» (т. е. рифмуется скорее «ти́хая» с «ми́лая», чем «заря» с «зарею» и «моя» с «моею») – и у МЦ так, а не иначе. Т. е., как народ, она из *нé рифм* создает рифмы, а не из них же – их же.

«Мóлодца», Бога ради, ведите не только от Афанасьева, но, в первую очередь, от «На красном коне», где при *ином* содержании *(поэт* и *дар)* та же, вернее – тоже женщина приносит в жертву *любви* (в 1-м случае – призванию, т. е. любви – наивысшей) куклу (ребенка!) – дом (семью!) – себя самое, всю свою жизнь. И – то же сочетание огня и лазури «Домой – в огнь синь» – «Доколе меня не умчит в *лазурь* на *красном* коне – мой гений»... Огонь и лазурь (пламя и лазурь) – от лубка и от Рублева, пламенная краса «ада» – тоже иконная,


1962

Сорок пятый год Великой Октябрьской социалистической революции

ФЕВРАЛЬ

11

день рожд. Б. Л. 72 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Восх. 8.05 Зах. 17.24 Долг. дня 9.19 Зах. 0.55 Восх. 11.02

Перв. четв. 18.43

75 лет со дня рождения (1887) И. Д. Шадра, выдающегося советского скульптора. Умер в 1941 г.

Отмечен день рождения Бориса Леонидовича Пастернака

как и *круглое* райское древо, таящее в себе (это в раю-то!) соблазн и погибель... т. е. тот же «ад». *Гений* на *красном* коне (мужское и цветаевское воплощение музы, бедной и бледной ахматовской, малокровной музы!!!) – зрительно: тот же Георгий-Победоносец, сошедший с иконы, чтобы утвердиться

в фольклоре под именем Егория Храброго, чтобы стать любимцем сказочным (наравне с Николой-Угодником) героем русского народа и – одним из цветаевских героев («а девы – не надо» и – Ипполит, тоже конник и т. д.) – не говоря уж о «Егорушке», трактованном в чисто народном духе...

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

6 июня 1966

...Как бы ни бежали годы, а Вы – всегда все тот же, каким я Вас помню с детства, скорый на отклик, на ответный всплеск, как волна на брошенный – нет, не камень, а кубок из баллады! Конечно же, годы прибавили Вам мудрости – иначе, зачем было бы их жить? – но юности Вашей не откусили ни кусочка, так что Вы – не внакладе, да и мы вместе с Вами... Потому, вероятно, мама и запомнила Вас гимназистом, а не студентом, пронеся с собой – в себе – сквозь жизнь – Ваше прелестное романтическое мальчишество, душевное отрочество – si noble et si prompt á la riposte[9]; кстати – первые из качеств, отнимаемые жизнью: noblesse[10] сменяется осторожностью (когда не «бдительностью»), а скорость отклика – портновским «семь раз отмерь, один отрежь». Я ничего сейчас, отсюда, не могу возразить или подтвердить насчет 1917 или 18-го года; знаю лишь, что чудом сохранились мамины записи, книжки и тетради тех лет с дневниками, а не постфактумными записями, в т. ч. о Вас и о встрече с Вашими стихами в октябрьском вагоне (окт. 1917); есть у нее и проза под назв. «Октябрь в вагоне» – по дневниковым записям, и там тоже – Ваши стихи о Свободе, прозвучавшие для нее впервые именно тогда. Но от окт. 1917 до самого 1918 г. – всего два с чем-то календарных месяца...

---

[9] Такой благородный и скорый отклик.
[10] Благородство.

Вообще, в архиве многое сохранилось о Вас, и, в частности, почему-то множество моих детских, почти младенческих по возрасту, но четких и грамотных на удивление записей и о Вас, и о Ваших с мамой друзьях, и подробное изложение Ваших пьес... К сожалению, уже и у моего возраста *руки коротки* – не успевают многого; а мне надо будет многое переписать для Вас.

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

21 июня 1966 г.

...Спасибо за письмо, за быстрый и *глубокий* отклик; и мама всегда так отзывалась, только окликнут, быстро и глубоко отзывалась, не эхом, а нутром, заранее *родственно* к окликающему: раз позвал, значит – нужна. Это был и внутренний (как у Вас) – дар; это была (как у Вас) и принадлежность к тому поколению: отзывчивому и *действенному.*

Насчет 1917–18 годов: думаю, вы оба правы; стихи Ваши мама услышала в окт. 1917, а познакомиться вы могли в нач. 1918 – это ведь очень близко по времени, каких-нибудь два-три месяца. Осенью 1917 мама была в Крыму, до всяких событий; отсюда и «Октябрь в вагоне» – когда возвращалась в Москву. Я в самый «переворот» – так ведь это тогда называлось, помните? – сидела в Борисоглебском с тетками; близко бухало и грохало; шальной пулей разбило стекло в детской; утром в затишье вышли было из дому, но кинулись обратно: в переулке лежали убитые.

Мама была сдержанна, собрана, сжата, без паники. Как всегда, когда было трудно. А с тех пор было трудно – всегда...

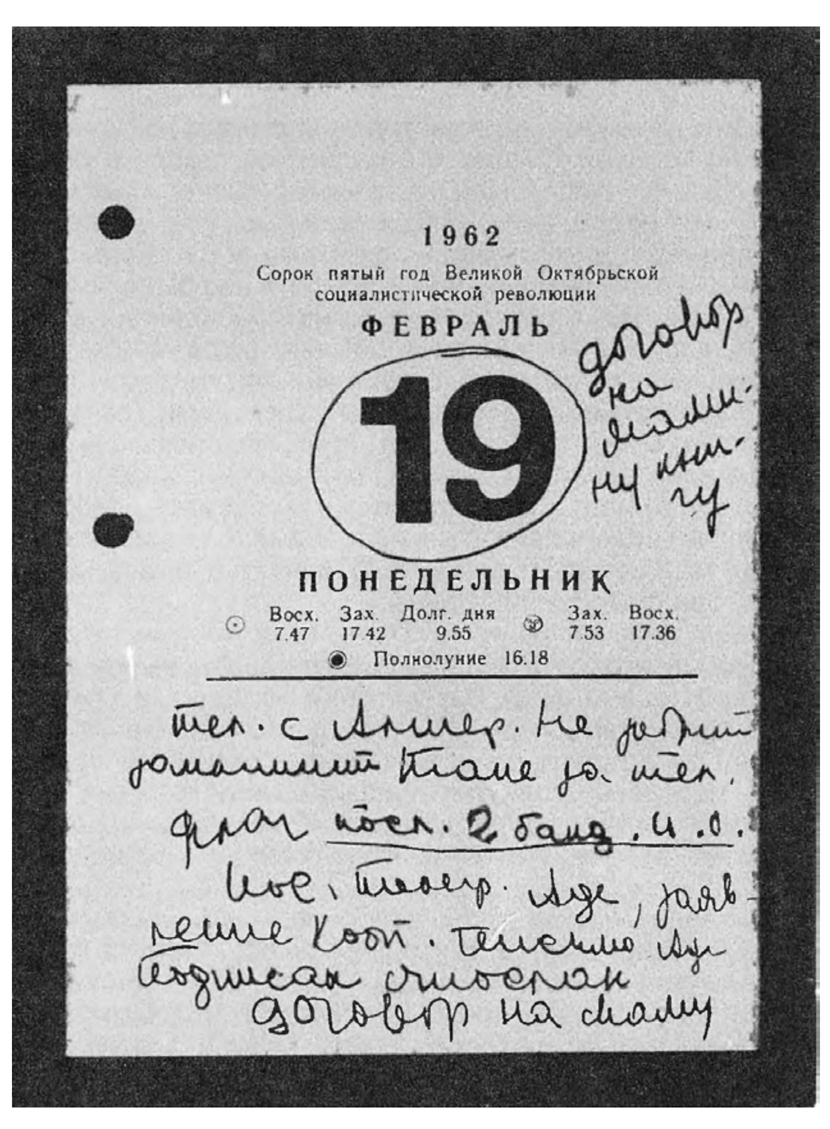
Вы знаете, что мне показалось чуть смещенным в Вашем образе мамы? Она кажется как-то *грубее* и больше ростом, как-то объемистее, чем была на самом деле: у Вас: статная, широкоплечая... широкими мужскими шагами...

А она была небольшого роста (чуть выше Аси), очень тонкая, казалась подростком – девочкой мальчишеского склада; тут бы, пожалуй, не *статная* подошло бы больше, а *стройная:* «статность» как бы подразумевает русскую могучую «стать», к[отор]ой не было. И шаги были не мужские (подразумевающие некую *тяжесть* поступи, опять же *рост* и *стать* и *вес,* к[ото]рых не было) – а стремительные легкие мальчишечьи. В ней была грация, ласковость, лукавство – помните? Ну, конечно же – *помните. Легкая* она была.

Платье наипростейшего покроя, напоминающее подрясник. Да, конечно, по тем временам, когда все вещи и все покрои куда-то девались, исчезли, у всех – кроме Луначарской! Но вообще-то «подрясники» маме не были свойственны; при ее пренебрежении к моде вообще, она не была лишена и женского, и романтического пристрастия к одежде, к той, которая ей шла. Всю жизнь подтянутая, аккуратная (совершенно лишенная Асиной расхристанности) – она носила платьица типа «бауэрнклайт», являвшие тонкость талии и стройность фигуры; как Беттина фон-Арнем! А та одежда – из портьер, одеял и прочего – была бесформенной – кто умел шить? (это у меня des propos en l'air[11], по поводу, вообще...).

Глаза у мамы были без малейшей серизны, ярко-светло-зеленые, как крыжовник или виноград (их цвет не менялся и не тускнел всю жизнь!). Насчет маминой комнаты (простите за все эти мелочи) – ее маленькая комната *внизу,* рядом с моей детской, там, где был секретер, и орел, и шкура волка, не была сильно завешена ковриками – только один, левый у двери угол; ковер скрывал углубление, вроде стенного шкафа. Комната была полутемной и без ковров; маленькое окошечко. «Чердачная» комната, *наверху* – была довольно большой (бывшая папина), но казалась Вам маленькой, т. к. все основное

[11] Просто так *(франц.).*



1962

Сорок пятый год Великой Октябрьской социалистической революции

ФЕВРАЛЬ

19

договор на мамину книгу

ПОНЕДЕЛЬНИК

	Восх.	Зах.	Долг. дня		Зах.	Восх.
☉	7.47	17.42	9.55	☽	7.53	17.36

◉ Полнолуние 16.18

договор на маму

«Договор на мамину книгу... Подписан, отослан договор на маму».
Речь идет о договоре с Гослитиздатом на избранные произведения
М. И. Цветаевой. Книга вышла в свет в 1965 году
в Библиотеке поэта (Большая серия)

было сосредоточено у окна, выходившего на крыши. Там тоже не было ковров. Комната – из ее стихов ко мне, кончавшихся словами: «В тот (страшный? – не помню точно. – *А. Э.)* год, отмеченный бедою, ты – маленькой была, я молодою». Там есть слова: «...Чердак-каюту, моих бумаг божественную смуту...» И действительно была – каюта! (А рядом – громадная кухня с плитой из иллюстраций Дорэ к сказкам Перро – и оттуда – ход на *самый* чердак.)

Но вот что *важно:* моя сестра Ирина вовсе не была безнадежно больной. Она просто родилась и росла в ужасающе голодные годы, была маленьким недокормышем, немного – от недоедания – недоразвитым, т. е. в три года говорила, как двухлетняя, не фразами, а словами; впрочем, знала и стишки, и песенки. Ножки у нее были немного рахитичные, мама все сажала ее на подоконник на солнышко, верила, что поможет... Ирина была прелестная, прехорошенькая девочка с пепельными кудрями, лобастая, курносенькая, с огромными отцовскими глазами и очаровательным ротиком. Из всех, бывавших у нас, больше всего любила Сонечку Голлидей – звала ее «Галида», и «Галида» ужасно любила ее, ласкала, нянчила; я как сейчас вижу обеих, *таких маленьких!* таких прелестных, ах ты, Господи, боже мой! (У меня, к счастью, сохранились две фотографии Ирины.)

Потом добрые люди – практичные добрые люди – убедили маму отдать нас на время в образцовый детский приют в Кунцево («при Вас девочки погибнут, а там *кормят* – продуктами "Ара"»). Мама долго сопротивлялась, наконец – сдалась. Увы, во главе образцового приюта стоял мерзавец, спекулировавший этими самыми детскими американскими продуктами. Приехавшая через месяц навестить нас мама нашла меня почти безнадежно больной (и брюшняк, и сыпняк, и «инфлюэнца», и еще что-то); вынесла меня на руках, завернув в шубу, на большую дорогу; «транспорта» в те годы

не было; какие-то попутные сани увезли нас. А Ирина еще «дюжила» – ходила, не лежала; все просила «чаю». А пока мама билась со мной и меня выхаживала, спасала, Ирина умерла в приюте – умерла с голоду – и похоронена была в общей яме. Дети там, как выяснилось, умирали по несколько человек в день. Там просто *не кормили.* Так вот в маминых стихах: «Старшую из тьмы выхватывая, младшей не уберегла...»

У Вас масса верного и точного в статье – и то, что мама зачеркивала *причину* возникновения стихов; и то, что она никогда не была *поэтессой,* всегда – поэтом. Вообще, Вы умник и молодец, и я просто ужасно рада. Не обижайтесь моим «замечаниям» – не то слово, просто мысли по поводу.

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

7 августа 1966

...Как только книга Ваша о поэтах вернется ко мне (она пошла по небольшому кругу тарусских друзей – есть еще большой круг знакомых – но не про них писано!) – напишу Вам о *родстве;* а пока что: так же страстно и пристрастно, такая же акция З А Щ И Т Ы, как у мамы.

«Утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рожденного состояния поэта – защитника», – так кончает мама очерк о Мандельштаме; выше она пишет о том, что *поэт* – никогда не прокурор, всегда – защитник...

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

1 февраля 1967 г.

...Насчет маминых пьес: а не ошибаетесь ли Вы, выделяя из «корпуса Марининой поэзии» ее театр? Господи, да это все та же лирика, только «разбитая на голоса», полифоничная. Среди ранних пьес (они были объединены ею в цикл

«Романтики») есть и слабые – как в те годы были и слабые стихи – но Казанова! Разве он не сродни героям «Плаща», разве он не то же самое? (Кстати, посмотрите в томе «Библ. поэта» комментарии к пьесам, в нем опубликованным, главное – мамины записи, пометки к ним, там много важного.) «Метель» тоже – сплошная лирика... Вы, Павлик, свидетель и участник той Романтики («почти пятидесятилетней давности») – Вы просто многое-многое помните... Вам будет не только трудно, но и *легко* писать. «Ариадна» и «Федра», по-моему, изумительны, особенно последняя, и тоже выкорчевываемы из «корпуса» ее поэзии, из того же вещества и естества, как и поэмы Горы и Конца; та же *сердцевина!..*

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

3 июня 1967 г.

...Слова: «не чту театра»... в предварении к книжке «Конец Казановы» датированы 1921 г. На самом же деле они являются развитием подобной же мысли, записанной в дневнике 1919 г., т. е. в самый разгар работы М. Ц. над пьесами романтического цикла, в самый разгар ее кратковременного, но несомненного увлечения театром. В дневниковой своей записи она говорит о превосходстве поэзии над театральным искусством, ибо поэт – создатель первичных ценностей, актер же, как бы гениален он ни был, всего лишь интерпретатор текста: поэт и на необитаемом острове создает бессмертные творения: как себя выразит на необитаемом острове актер, – нуждающийся и в тексте, и в публике, и в ряде аксессуаров, без коих он – ничто?

Все это, думается, далеко от Вашего толкования слов «не чту театра» – как слов «разочарования», признания собственной «неудачи, незадачливости в театре, внутри театра».

Наоборот, это – утверждение примата СЛОВА над «наукой» Фомы неверного, ДУХА над материей (хотя бы над холщовой материей театральных декораций) и собственного превосходства – как поэта. В театре Цв[етаева] признавала его первооснову – слово, текст; и этой первоосновы ради и писала пьесы.

Кстати, она – «ничем не защищенная единица», отлично, как Вы сами помните и пишете в начале статьи, ладила с «коллективом весельчаков и полунощников», интересовалась и увлекалась их работой, несмотря на то, что все для нее кроме слова было в этой работе *вторичным*...

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

8 июля 1967 г.

...Всю жизнь мама относилась не без высокомерия ко всем искусствам, к-ые не были *слово* (за исключением музыки, к-ую она к слову приравнивала), и поэтому упоминаемый Вами «наив» («наивное искусство») в ее случае принадлежит именно театру, а не поэту; театру со всеми его реквизитами, декорациями, machineries, со всей эфемерностью результата совместных усилий театрального коллектива. От пьесы (хорошей, разумеется!) – поставленной в театре, равно как и не поставленной – что остается? Да пьеса же! Актеры стареют, режиссеры умирают, декорации превращаются в прах – а слово, к-му они служили (или не служили) – бессмертно; вот, приблизительно, как рассуждала (впрочем, она никогда не «рассуждала» – не то слово!) – мама перед лицом Вахтанговской студии, для к-ой были написаны все пьесы ее романтического цикла и к-ая не приняла ни одной. И что же? Прошло четыре десятилетия; лучшие из маминых пьес все так же свежи и прелестны и грустны, как и тогда...

Что до коллектива «весельчаков и полунощников» – то с ним-то мама чудесно ладила, и сама в те годы была «весельчаком» (танцующим на вулкане) – а полунощницей оставалась всю свою жизнь.

Знакомство ее тогдашней со всеми тогдашними вами заставило ее «попробовать» словесную полифонию театрального (драматургического) жанра; ей очень хотелось увидеть свои пьесы на сцене – и в этом нет разногласия с ее *коренным* невосприятием *зримых* искусств; не вышло? Ну что ж: фея заедет за ее Золушками в следующем столетии; была бы Золушка, а фея приложится... (Кстати, как талантлив был тот безымянный переводчик, к[отор]ый нашел это чудесное русское имя для французской Cendrillon[12]!

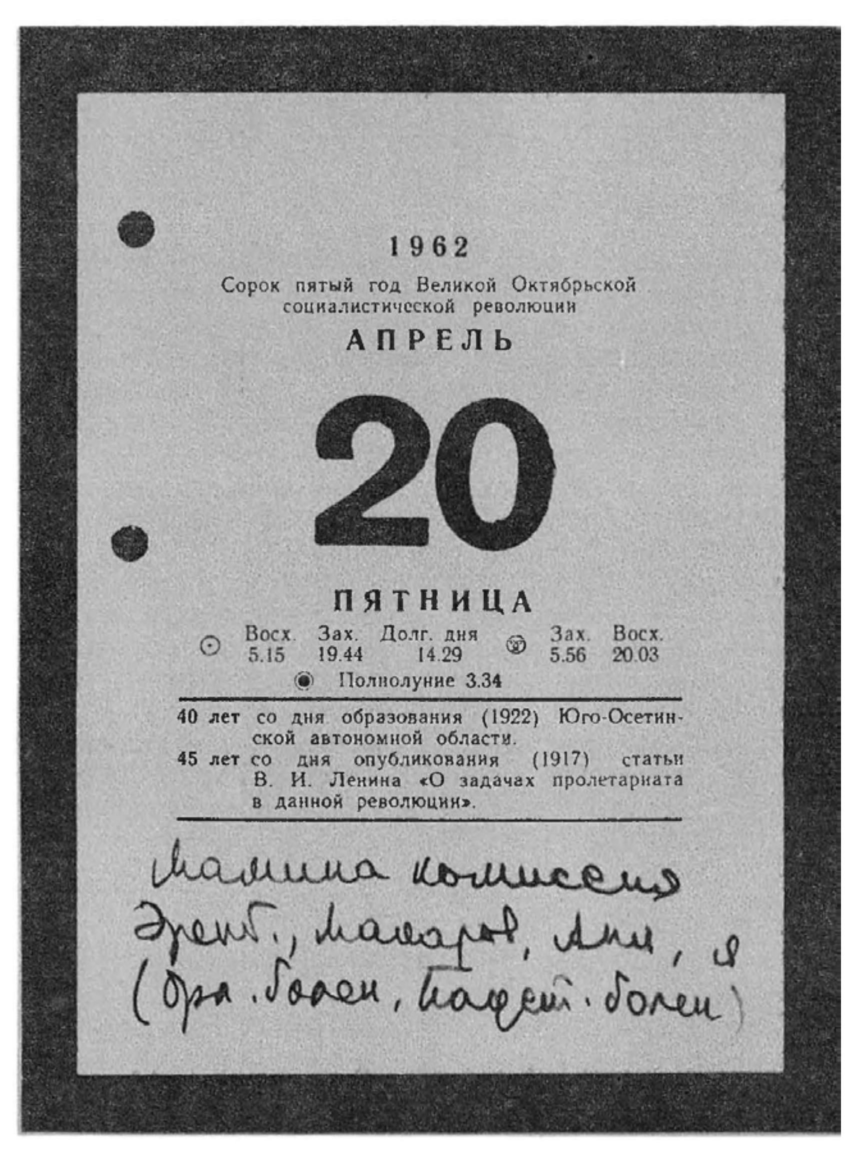
ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

18 августа 1967 г.

...Была у меня поразительная, трогательная (мало!) – встреча с героем маминых поэм «Горы» и «Конца». Он приезжал на неск[олько] дней из Франции – попрощаться с Россией и со мной – последней из семьи. Приехал, чтобы сказать мне, что после гибели моих родителей всю жизнь старался жить и действовать так, чтобы быть достойным их. (Он был большим другом моего отца.) Я встретилась и расцеловалась с человеком *оттуда* – из того поколения, в которое я влюблена – слишком поздно, как все в жизни – сначала слишком рано, а потом слишком поздно, – поколение, которому кланяюсь земно и не устаю благодарить судьбу, что довелось пожить в их сени, быть ими осененной. Ах, и высокое же было поколение, Павлик! Мне до такой степени есть на что и на кого оглядываться, что как-то не глядится вперед. Но это, вероятно, предпенсионное явление...

---

[12] Золушки.



1962

Сорок пятый год Великой Октябрьской социалистической революции

АПРЕЛЬ

20

ПЯТНИЦА

Восх. 5.15 Зах. 19.44 Долг. дня 14.29 Зах. 5.56 Восх. 20.03

Полнолуние 3.34

40 лет со дня образования (1922) Юго-Осетинской автономной области.

45 лет со дня опубликования (1917) статьи В. И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции».

Мамина комиссия
Эренб., Макаров, Аня, я
(Орл. болен, Пауст. болен)

Комиссия по литературному наследию М. Цветаевой: Эренбург, Макаров, Саакянц, Эфрон (Орлов болен, Паустовский болен)

ИЗ ПИСЬМА А. А. СААКЯНЦ

30 июня 1967 г.

...К. Б. с супругой прибыли 28-го. Встретились мы бесконечно трогательно; К. Б. ужасно *плакал*, вспоминал папу и маму, и для него, при всей мотыльковости его сущности (но при железобетонности судьбы) – единственно настоящее, что было в жизни: встреча с этими двумя людьми: мама – *душа*, отец – *действие* и умение жертвовать собой. Пока что из всех встреченных мною их современников (друзей, знакомых) – он единственный, приблизившийся к *пониманию* их и пониманию *утраты*...

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

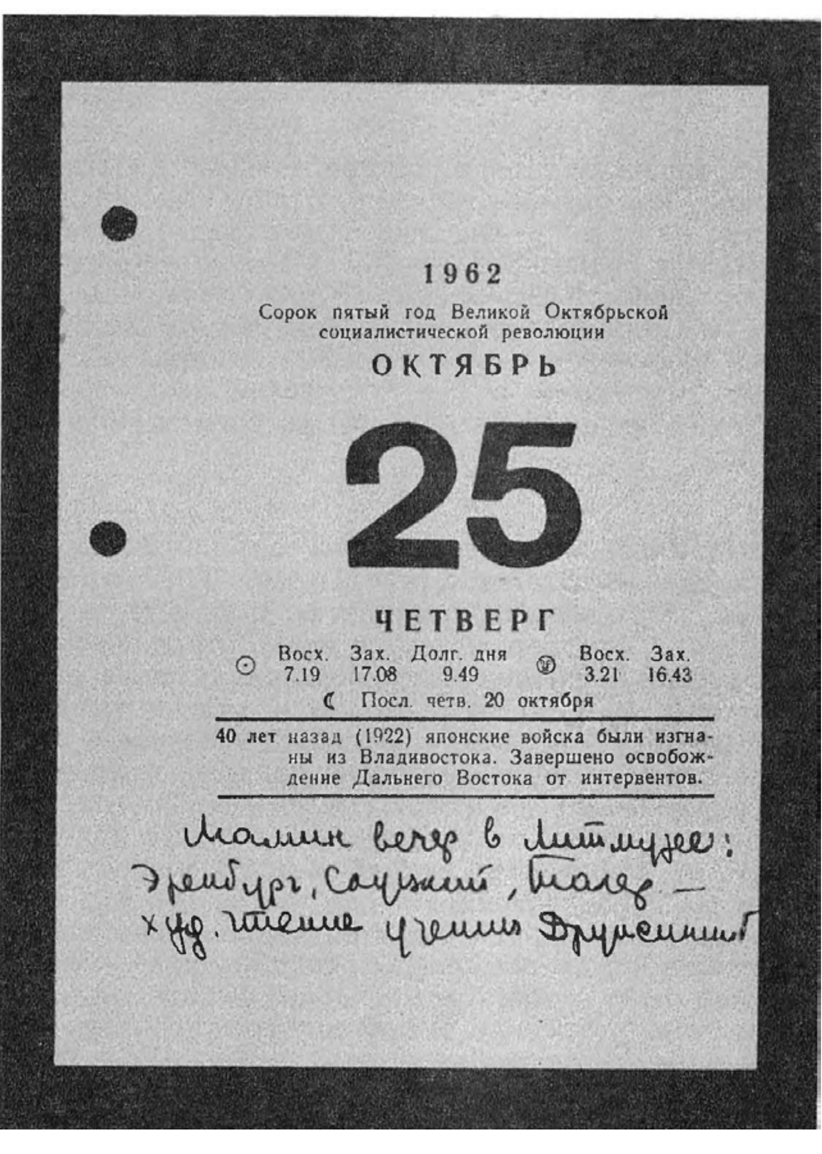
30 августа 1967 г.

...«Пушкин и Пугачев» – одна из моих любимых маминых вещей – вольная, глубокая, пронзительно-проницательная. В какой жизненной тесноте, глухоте, нищете была она, когда писала с такой свободой! Из какой теснины вырвался (неиссякаемо!) – этот пламень! Чем больше живу, тем больше расстраиваюсь в позднем сознании чуда, бок о бок с которым жила, непрерывно ударяясь об острые его углы, не понимая, что то были *грани*, а не углы, грани *магического кристалла*...

ИЗ ПИСЬМА П. Г. АНТОКОЛЬСКОМУ

27 ноября 1967 г.

Дорогой мой Павлик, я очень тронута Вашим таким молниеносным и сердечным откликом на мои каракули о маме; не успела я отослать их Вам, как спохватилась: о сходстве (каракульного) описания мамы с ней самой Вы просто



1962

Сорок пятый год Великой Октябрьской социалистической революции

ОКТЯБРЬ

25

ЧЕТВЕРГ

	Восх.	Зах.	Долг. дня		Восх.	Зах.
☉	7.19	17.08	9.49	☽	3.21	16.43

☾ Посл. четв. 20 октября

40 лет назад (1922) японские войска были изгнаны из Владивостока. Завершено освобождение Дальнего Востока от интервентов.

Мамин вечер в Литмузее: Эренбург, Слуцкий, Тагер — худ. чтение учениц Друскиной

В Литературном музее должен был состояться вечер М. Цветаевой

не можете судить – ведь Вы-то знали маму другую, *иную,* до такой степени *иную!* Между десятилетиями ее возраста проходили *столетия* роста; между нею 22-го года и – 32-го (когда она с Исаакяном ходила в Лувр) – бездна; или – вершина; и то и другое: спуск в глубины – подъем к вершинам – от поверхности (горизонтали). От горизонтали жизни, не собственной, а жизни «как она есть». В 40 лет мама была мудрой, горькой, не молодой и *очень* сдержанной. Вы знали – другую.

Спасибо, при всем при этом, что Вы меня похвалили, а не выругали. Все-таки приятно, хоть и не за что!..

Удивительно, что М. Ц., бывшая в непрерывном движении и росте, требовала от человеческих отношений абсолютной стабильности – на недосягаемой для них высоте.

Эти Эвересты чувств (всегда Эвересты по выси, Этны и Везувии по накалу) людям недоступны; можно вскарабкаться лишь раз, и сейчас же обратно, в долину.

Воздух ее чувств был и раскален и разрежен, она не понимала, что дышать им нельзя – только раз хлебнуть!

Ее *движение* (во всем, в творчестве, да и просто в жизни дней) всегда было *восхождением;* движения же с вершин (чувств, талантов и т. д.) – *вниз,* столь свойственного людям, она *не понимала;* всех обитателей долин ощущала альпинистами. Не понимала человеческого утомления от высот; у людей от нее делалась *горная болезнь*

(Из записной книжки. 1969 г.)

ИЗ ПИСЬМА В. Б. СОСИНСКОМУ

5 января 1970 г.

...Да, милый Володя, в родстве. Елизавета Петровна Дурново – моя бабушка, а Яков Константинович Эфрон – мой дед. Из их детей еще живы две старшие дочери – Анна 87 лет

и Елизавета – 84-х. Морозов и Кропоткин были большими друзьями семьи; Кропоткиных – мужа и жену – и я помню. Со слов Елиз. Яков, многое записала о семье и пересняла старые выцветшие фотографии... Дед, бабушка и младший их сын Константин похоронены на кладбище Монпарнас, рядом с другими политэмигрантами 1905 года...

Архив Марины Цветаевой: сафьяновые альбомы юности; самодельные тетради революционных лет; тетради дареные – в нарядных переплетах; грошовые тетради эмиграции – в истрепанных обложках; тетради чернорабочих будней и праздничных беловиков. Тетради, тетради, тетради. И в большинстве из них, на равных правах со стихотворными и прозаическими произведениями, – письма: черновые их отрывки, наброски, полубеловые варианты, переписанные – на долгую память – чистовики.

Вопреки создавшейся легенде, отождествляющей *творческое* одиночество Цветаевой, обусловленное неприятием современниками-эмигрантами ее внеканонического искусства, с *человеческим* ее одиночеством, как бы являвшимся неким врожденным состоянием, – Марина Цветаева была человеком открытым, общительным, отзывчивым на любой окликающий ее голос – не тянувшимся, а – рвавшимся к людям; отсюда – обилие явных и сокровенных посвящений лирических ее стихов, вдохновленных встречами и разлуками; отсюда – богатство и разнообразие ее эпистолярного наследия.

В переписку с близкими и далекими друзьями – истинными или мнимыми – Цветаева вкладывала не только ту же страстную, жизнеутверждающую, *действенную* силу, что и в личные отношения с людьми (ибо «друг есть *действие*», как говорила она), но и высокую творческую взыскательность к начертанному слову, к сформулированной мысли; во многих, даже самых обыденных и про обыденное, письмах ее ощущается та же работа ума, чувства и воображения, что и в самых совершенных и завершенных ее произведениях.



Ариадна Сергеевна в лесу. Шестидесятые годы

Не все письма создавались Цветаевой «прямо набело»; некоторые из них, обращенные к собратьям по перу, великим и малым, равно как и к людям, в той или иной мере причастным к искусству, рождались в ее рабочих тетрадях, начинались с черновиков. Благодаря этому уцелели до наших дней в цветаевском архиве первоначальные варианты большинства ее писем к Б. Л. Пастернаку, об утрате которых он с горечью вспоминал в своих автобиографических заметках «Люди

и положения» («Новый мир», № 1, 1967), письма к одному из любимых ее поэтов – Райнеру Мария Рильке и многие, многие другие.

Случалось, что «в скудном труженичестве дней» эпистолярные дружбы заменяли Цветаевой личное общение с дорогими ей современниками; так, она была едва знакома с Пастернаком, с которым переписывалась долгие годы; с Ахматовой познакомилась лишь в 1940 году; с Рильке, как и с еще некоторыми своими собеседниками, не встречалась никогда.

1969 г.

Помню, на вопрос, заданный Марине Цветаевой одним из поэтов старшего поколения, строгим приверженцем метра и меры, – откуда, мол, в ней, вскормленной классикой и вспоенной романтизмом, – лубок, былина, частушка, сказка, заплачка и плясовая, она ответила коротко и глубоко серьезно:

– России меня научила Революция.

Именно в первые годы революции, когда огромная Русь заговорила во весь свой голос, на все свои голоса, истинно народная стихия слова, стихия стиха, во всей торжественности своей и во всем своем просторечии, исподволь влилась и навсегда внедрилась в творчество Цветаевой, переиначив строй, лад и лексику ее произведений.

Именно тогда вошли в них, потеснив лирических героев, – герои эпические, носители уже не чувств, а страстей, жертвы и покорители не обстоятельств, а – рока, человеческие герои в нечеловеческий рост. Именно тогда были созданы столь российские по языку, содержанию, размаху поэмы «Царь-Девица», «Переулочки», «Молодец», задуман и частично осуществлен первый вариант «Егорушки».

Цветаеву поразило и захватило богатство и разнообразие фольклорных материалов о Егории Храбром, фантастические

повороты баснословной его судьбы – «крестьянского праведника», «землепашца-воителя», пастуха – покровителя стад и волков – освободителя премудрой Елисавеи от змеиных чар.

Но если сюжет, обширный и бурный, сам просился в тетрадь и ложился на ее страницы, образ Егория, не умещаясь в канонические иконописные рамки, то растворялся в потоке событий, то непомерно перерастал их, и замысел повис в воздухе до дня, когда герой поэмы сам постучался в двери поэта. В комнату вошел молоденький красноармеец, по-крестьянски румяный и синеглазый; в тощем вещмешке его лежали черные сухари, махорка и томик Ахматовой, а в кармане гимнастерки – мандаты, удостоверения с крупными лиловыми печатями и записка от дальних знакомых Цветаевой – с просьбой приютить «подателя сего» на время его командировки. «Подателя» поселили в бывшей столовой, странной комнате с потолочным окном, в которой, как во время шторма, «все вещи сорвались с пазов», все сместилось и перемешалось...

С утра и до ночи приезжий бегал по делам, возвращался, равно сияя от успехов в них и от неудач, ловко расчленял на дрова очередной стул, разводил огонь в печурке; мы пили желудевый кофе с солдатскими сухарями и слушали рассказы о мальчишеских и героических его днях – среди Революции и гражданской войны, о беспримерных бедах и победах, о походах, походах, походах через глины, пески и черноземы. Юноша, он любил эту землю, рвался к мирным временам посевов и жатв, сражался за них. Говоря о земле, он помогал словам ладонями, лепил фразу, как пекарь – хлеба, и обещал этот хлеб нам, всем, всей России, всей земле. Цветаева слушала, задумываясь, любуясь рассказчиком и грядущими его хлебами, а в это время Егорий Храбрый ее замысла спешивался с горделивого коня, скидывал пурпурный плащ византийского письма, облачаясь в сермягу и косоворотку, менял

венец великомученика на видавший виды картуз. Спешился и замысел, отойдя от «жития» – к просто жизни, от победы над мифическими чудищами – к преодолению повседневных зол и соблазнов внутри себя и вокруг. Так, Егорий «Младенчества», забравшийся вместе с побратимом-волчонком в чужой сад, чтобы отрясти плоды с деревьев, обуздывает себя, пораженный добрым мудрым трудом садовника, – и уходит с пустыми карманами и пазухой. Так Егор «Пастушества» защищает стадо от вскормившей его, как Ромула, волчицы, принося в жертву долгу любовь почти сыновнюю; так Егорий «Купечества», нанятый купцами в приказчики, не поддается власти денег, безвозмездно одаряет товарами покупателей...

Новый путь Егория ведет к круглому, как яблоко, раю, не только через кручи и огненные реки искусов и испытаний: он пролегает через убогие деревни, слободы ремесленников и мещан, торжища и погосты, через всю, теперь отошедшую, тогда отходившую в прошлое Русь; однако, оказавшись в раю, новоявленный праведник тоскует среди крылатых его обитателей, среди овец без волков, речей без крепкого словца, рядом с бесплотной Елисавеей; он возвращается на землю, которая ему нужна, которой нужен он.

Марина Цветаева работала над поэмой зимой 1920–21 г., вплоть до выезда за границу; тогда были закончены главы «Младенчество», «Пастушество», «Купечество» и созданы черновые варианты трех последующих глав; в 1928 г., во Франции, была возобновлена работа над одной из них, однако замысел «Егорушки» остался неосуществленным.

Что до прототипа Егорушки, то командировка его была непродолжительной; поэт и герой поэмы вскоре расстались навсегда. Почти пять десятилетий спустя он разыскал меня – совсем седой и все еще синеглазый человек, всю жизнь

посвятивший земле, агроном «из глубинки». Он не сказал мне: «Узнаете?» – слишком много лет прошло для узнавания! – он спросил: «Помните?»

Помнили мы оба.

В прошлом году его не стало – но юность его и верность родной земле надолго запечатлены в цветаевской поэме.

1971 г.



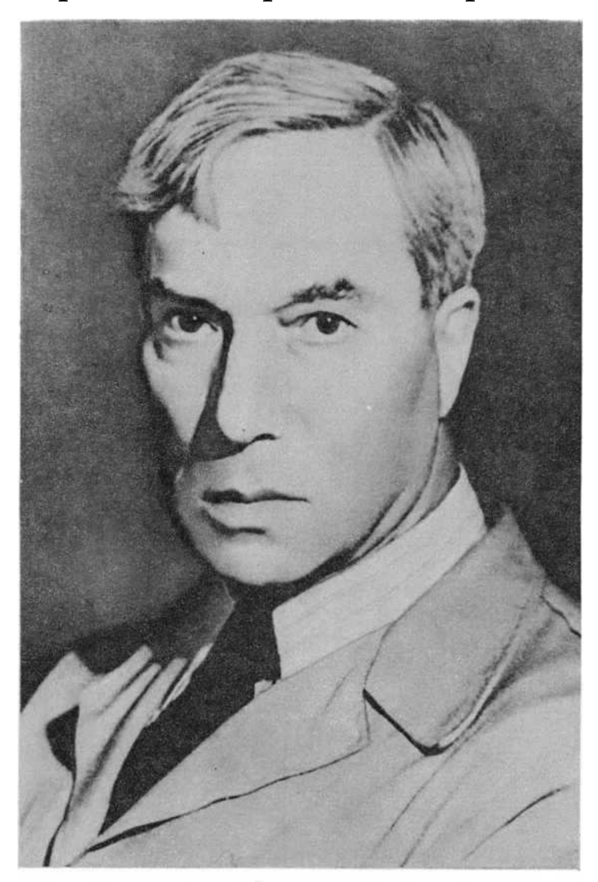
Елизавета Яковлевна Эфрон

ИЗ ПИСЕМ Е. Я. ЭФРОН

23 июля 1972 г.

...На реке (которая течет прямо перед носом!) еще ни разу не была: с крутой горки спускаться трудностей не представляет, а вот как подниматься? Но как только попрохладней, все же предприму это путешествие и пройду дорогой, которой бегала в детстве маленькая Марина. Чем старше становлюсь, тем больше приближаюсь к своим старикам, сливаюсь с ними душой, живу ими больше, куда больше, чем собою – или чем текущим днем. Дни так и чувствуются *текущими*, а папа с мамой – незыблемы внутри души. Теперь я стала (календарно) намного старше их, и понимаю я их больше как своих детей, чем как родителей... Трудно это объяснить внятно, но вы и так поймете!..

Переписка с Борисом Пастернаком



Борис Леонидович Пастернак. 1957 г.

1 августа 1948

Дорогой Борис! Прости, что я такая свинья и ни разу еще тебе не написала: все ждала по-настоящему свободного времени, чтобы написать настоящее большое письмо. Но времени нет, и наверное никогда не будет. И чувства и мысли так и остаются, не столько несказанные, сколько несказанные. Живу я в Рязани уже скоро год, работаю в местном художественном училище – ставка 360 р. в месяц, а на руки, за всеми

вычетами, приходится чуть больше 200 – представляешь себе такое удовольствие! Работать приходится очень, очень много. Все мечтала этим летом съездить в Елабугу, но, конечно, при таком заработке это совсем неосуществимо. Асеев писал мне, что мамину могилу разыскать невозможно. Не верю.

Я боюсь, что ты совсем рассердишься, когда узнаешь цель моего письма. Потому что это письмо с корыстной целью. Мне страшно нужны твои переводы Шекспира (пьес), в первую очередь «Ромео и Джульетта». Ты мне присылал туда, но в тех условиях уберечь их не удалось.

В училище, где я работаю, есть театрально-декоративное отделение, а Шекспира нет и достать невозможно. Ни у меня, ни у училища нет ни средств, ни возможностей, а без Шекспира нельзя. Молодежь (в большинстве из окрестных сел) никогда его не читала, и, если не пришлешь ты, то, наверное, и не прочтет. Если не можешь подарить, то пришли на прочтение, мы вернем. Но я думаю, что ты подаришь. Очень прошу тебя.

Напиши мне о себе хоть немножко. Мне говорили, что ты женился. Правда? Если так, то это хорошо. Особенно на первых порах.

Крепко тебя целую и люблю. Напиши.

Твоя Аля

Помнишь, как ты приезжал к нам, сколько было апельсинов, как было жарко, по коридорам гостиницы бродил полуголый Лахути, мы ходили по книжным магазинам и универмагам, ты ни во что не вникал и думал о своем, домашнем?

Мой адрес: Рязань, ул. Ленина, 30, Рязанское художественное училище.

Еще раз целую. Очень хотелось бы увидеться.

14.8.48

Дорогой Борис! Бесконечно благодарю тебя за все, полученное мною. Стихи очень хороши. Когда я распечатала конверт и взялась за письмо, сидевшая рядом одна Марья Ивановна рязанская, счетоводица, схватила без спросу стихи. Я говорю: «Бросьте, Марья Ивановна. Это переводы. Вы все равно не поймете». Но она не бросила, все прочла и сказала: «Чего ж тут непонятного. Наоборот, все понятно. И все очень хорошо». Почему в первую очередь, вместо своего, написала тебе отзыв Марии Ивановны? Да потому, что это прекрасно – т. е. то, что прекрасное в них, в стихах, в теперешних твоих, доступно не только избранным. К большей, чем прежде, глубине содержания прибавилась большая, чем прежде, простота формы. Вообще, действительно прекрасные стихи – чего не могу сказать о последних асеевских, что он прислал мне. И ему не смогла не написать, что они мне не очень понравились. Ему это, кажется, тоже не очень понравилось – больше не пишет мне.

Да, дорогой Борис, скоро 35 лет, как я – Ариадна (это имя обычно так коверкают, что я даже сама не смогла сразу написать его правильно!). М. б., если бы я была Александрой, все было бы проще и глаже в жизни?

В общем, имя не из счастливых! Ну и Бог с ним. Вчера я получила всё твоё. Твои книги безумно – если бы ты их видел в эту минуту! – обрадовали ребят. Они только жалели, что ты им ничего не надписал на них. И отобрали у меня даже бандероль, чтобы убедиться в том, что «он сам прислал». Если бы прислал сам Шекспир, вряд ли он произвел бы больший фурор.

А сегодня мне объявили приказ, по которому я должна сдать дела и уйти с работы. Мое место – если еще не на кладбище, то во всяком случае не в системе народного

образования. Не можешь себе представить, как мне жаль. Хоть и очень бедновато жилось, но работа была по душе, и все меня любили, и очень хорошо было среди молодежи, и много я им давала. Правда. За эти годы я стала много понимать и стала добрая. И раньше была не злая, а теперь как-то осознанно добрая, особенно к отчаянным. И работалось мне хорошо, и я много сделала. А теперь, когда я всех знаю по именам и по жизням и когда каждый идет ко мне за помощью, за советом, затем, чтобы заступилась или уладила, я должна уйти. Куда – сама не знаю. Устроиться необычайно трудно – у меня нет никакой кормящей (в данной ситуации) специальности, и я совсем одна. Еще спасибо, что по сокращению штатов, а то совсем бы некуда податься! Вот ты говоришь – «не унывай». Я и не унываю, но кажется, от этого не легче. Ты понимаешь, я давно пошла бы на производство или в колхоз, сразу, но сил нет никаких, кроме аварийного фонда моральных. Пережитые годы были трудны физически, и последний был не из легких. Вот сейчас никак и не придумаю – что делать? Видимо, вот пока и все. Прости за нечленораздельность, я устала очень.

Еще раз бесконечно (разве можно так писать – «еще раз бесконечно»?) благодарю за все. Ты не любишь больше вспоминать, да? а я часто вспоминаю, как мы сидели в скверике против Жургаза, и как всё было.

Крепко целую тебя, милый.

Твоя Аля

26 августа 1948

Дорогой Борис! Спасибо за твою добрую открыточку и за добрые обещания – только я что-то не уверена в том, что ты многим богаче меня. Мне кажется, что ты тоже вроде меня нищий. Остается утешаться тем, что к хорошим людям

богатство не причаливает. Как-то все мимо проходит – и хватать, и выпрашивать не умеем. Статью твою о Шекспире не читала и прочту, видимо, не так-то скоро – у меня ее сразу отобрали и она «пошла по рукам». Прозу пришли непременно и пиши пока что по тому же адресу, как только он изменится, я сообщу тебе. Во всяком случае мне всегда тотчас же сообщат, даже если я к тому времени буду работать в другом месте или вовсе не буду – не дай Бог, это хуже всего.

Недели на две я еще могу, кажется, рассчитывать на гостеприимство своих «хозяев» – им очень, очень не хочется отпускать меня – относятся ко мне очень хорошо и пока затягивают всю эту историю – но слишком долго затягивать, увы, не придется. А все-то дело в том, что за меня «заступиться некому», я ведь здесь так недавно. Все можно было бы уладить. Работать напоследок приходится очень много и очень беспрерывно. Я ужасно устала и вообще, и в частности.

Асеев иногда пишет мне письма красивые и гладкие. Что-то в его письмах есть поверхностное, что заставляет подразумевать в нем самом нечто затаенное – не знаю, как выразить, – в общем, все его легкие похвалы моему уму и трескучие фразы о маме не внушают того простого человеческого доверия, без которого не может быть отношений, хотя бы приближающихся к настоящим. Он собирается приехать сюда «посмотреть на меня». Вряд ли он получит удовольствие от этих смотрин. Но ты ему не говори! А чего – «не говори» – сама не знаю. Очень спать хочется.

Я сама не знаю, что и как со мной будет дальше. Ехать? Куда? мне не ездить хочется, а прибиться к месту, и чтобы никто не трогал. Я, конечно, могла бы в Вологду к Асе, но она – мучительна своим сходством с мамой, карикатурным каким-то, и своей болезненной разговорчивостью, и многим, многим другим. Не прими за эгоизм – но быть с ней – это ежечасный, ежеминутный подвиг, на который я сейчас,

боюсь, не способна. Я ведь сама ужасно издергана, только это, слава Богу, внешне не проявляется. А Ася вся – нервами наружу, и это меня заставляет щетиниться, почему – не знаю. Боюсь, что я ужасно косноязычна, поймешь ли ты все, что мне не удается выразить? А как жизнь быстро идет! Так недавно мама распечатывала твои «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь», и Рильке умер так недавно, и тоже совсем недавно я, маленькая, расшифровывала маленькую Люверс, сама будучи похлеще этой самой маленькой Люверс, и Мур играл с белым медвежонком Мумсом, присланным твоим папой.

В маленьком холодном Рязанском музее есть работы твоего отца, и по радио передают Скрябина «...уйти от шагов моего божества», и с Люверс я встретилась в Мордовии, в старом и растрепанном альманахе, за высоким забором, в лесах, где проживал Серафим Саровский... И в общем мы с тобой живы и время от времени попадаем в круги, разбегающиеся от когда-то давно брошенного камня, встречаемся с чем-то и кем-то еще давно близким и опять ждущим на очередном повороте судьбы. Грани между «просто» и «давно» прошедшим стерлись, как стерся счет дням и годам. Меня маленькую тревожило чувство, что времени – нет: до полуночи – вечер, а с полуночи – утро, а где же ночь? А сейчас – до полудня – детство, а с полудня – старость. Где же жизнь? Ты что нб. поймешь в моем сонном лепете? Хотя бы то, что я тебя очень люблю и крепко целую?

Твоя Аля

5 сентября 1948

Дорогой Борис! Прости за глупый каламбур, но – все твои переводы хороши, а последний – *лучше* всех. Не знаю, правильно *ли* я поступила, тут же, «тем же шагом», как говорят французы, сбегав в магазин и купив себе пальто. Правильно

или нет, но это было какое-то непреодолимое душевное движение, и даже сильней, чем движение. Потом, когда я его уже купила и надела, я стала себя убеждать, что так и нужно было сделать: пальто ведь нет, совсем никакого, и подарить его мне может только чудо, а чудо – вот оно, и значит – все правильно. Потом представила себе, как такая куча денег расходится по всяким там керосинам и селедкам, не то, что «расходится», а «разошлась бы», если бы я не купила пальто. А потом с совершенно чистой совестью и легким сердцем пошла отражаться во всех витринах. Спасибо тебе, Борис. Ты как-то совсем по-необычному тронул меня и обрадовал своим подарком – но все – это не те слова, и нет у меня на это слов. Однажды было так – осенним, беспросветно-противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали усталыми ногами с кочки на кочку, тащили опостылевший, но необходимый скарб, и казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги и дождя, дождя и тайги. Ни одной горизонтальной линии, все по вертикали – и стволы и струи, ни неба, ни земли: небо – вода, земля – вода. Я не помню того, кто шел со мною рядом, – мы не присматривались друг к другу, мы, вероятно, казались совсем одинаковыми, все. На привале он достал из-за пазухи обернутую в грязную тряпицу горбушку хлеба, – ты ведь был в эвакуации и знаешь, что такое Хлеб! разломил ее пополам и стал есть, собирая крошки с колен, каждую крошку, потом напился водицы из-под коряги, уже спрятав горбушку опять за пазуху. Потом опять сел рядом со мной, большой, грязный, мокрый, чужой, чуждый, равнодушный, глянул – молча полез за пазуху, достал хлеб, бережно развернул тряпочку и, сказав: «на, сестра!», подал мне свою горбушку, а крошки с тряпки все до единой поклевал пальцами и в рот – сам был голоден. Вот и тогда, Борис, я тоже слов не нашла, кроме одного «спасибо», но и тогда мне сразу стало ясно, что в жизни есть, было и будет все,

все – не только дождь и тайга. И что есть, было и будет небо над головой и земля под ногами. Только тот был чужой и далекий, а ты – родной и близкий, но и ты, и он сделали – сотворили – для меня большее чудо, чем опять-таки можно выразить словами. – Да, вспомнишь это самое время военное, и это самое горе военное, и подумаешь – ведь в самом деле все это было и в самом деле все это перенесли.



А. С. Эфрон среди заключенных «ударников»,
делающих деревянные ложки. Снимок для лагерной стенгазеты.
Потьма, Мордовская АССР. Год либо 1945-й, либо 1946-й

У меня пока нового – кроме пальто – нет ничего. Распоряжение остается в силе, что касается меня, то я пока работаю на прежнем месте, что и как будет дальше, – не знаю. Если отсюда придется, и возможно в недалеком будущем, – уйти, то думаю поехать к Асе, там, м. б., и даже наверное, Андрей поможет с работой, и остановиться можно будет у них. Здесь же у меня никого и ничего, и все может оказаться невыносимо трудным. Но и там, Борис, не слаще, в конце концов. Очень, очень трудно с Асей быть больше двух часов подряд. И кроме того это – мама в кривом зеркале, это почти мама и совсем

не она, жутко, не по моим силам. Сил у меня совсем немного и корни мои с трудом достают до подземных источников, Борис. Да, ты Асе не говори о том, что послал мне, а то она меня пилить будет, что я не поехала в Елабугу. Но я-то знаю, что живая мама сама предпочла бы, чтобы я оделась, а мертвой мамы – нет.

Крепко тебя, дорогой, целую. Как бы тебя увидеть? Прозу свою пришли. Пиши мне пока на училище, если переменю адрес – сообщу.

Твоя Аля

20 сентября 1948

Дорогой Борис! Сегодня, очень рано утром, я услышала, как журавли улетают. Я подошла к окну и увидела, как они летят в смутном, рассветном небе, и потом уже не могла уснуть – все думала. Почему написала тебе об этих журавлях и сама не знаю. Развернула твое письмо – и они мне вспомнились. Наверное, есть какое-то скрытое, а может быть и явное, сходство между твоим почерком и полетом этих больших, сильных птиц, вечно разорванных между севером и югом, зимой и летом, птиц без средней полосы и золотой середины в жизни.

Как люблю я их крик в тумане сумерек или рассвета, и стройно-колеблющийся силуэт их эскадрильи, и того, последнего, мощными, на расстоянии бесшумными, взмахами крыльев догоняющего своих...

«Всё дурное уже переделано», – пишешь ты. Не знаю. Сомневаюсь. Во-первых, одной человеческой жизни, даже семижильной, явно мало для того, чтобы переделать «все» – (хорошее или дурное). Во-вторых – во-вторых, я настолько одичала, что необычайно трудно мне излагать свои мысли – они переродились в смутные ощущения, понятные лишь мне

одной, моему единственному собеседнику. Они теснятся в голове, пока не пожирают друг друга, и тогда «голове становится легче дышать». Просто мне хотелось сказать тебе, что ты, первый из известных мне поэтов, сделавший тайное – явным, выразивший то невыразимое, до чего некоторые твои предшественники – скажем Тютчев, Фет, добирались иногда случайно. И эти их случайности являлись – на мой взгляд и мое чутье – лучшим в их лирике. Но я – плохой судья в этих вопросах, т. к. слух мой настолько развит – а для объективного отношения к делу это – еще хуже глухоты! – что даже самого трудного тебя понимаю я с полслова. Не только теперь, а еще и тогда, когда была совсем девчонкой, т. е. когда это самое чутье прекрасно сосуществовало с любовью к кино, чтеньем иллюстрированных журналов и уютных романов Марлит, с тем, что давно и легко отпало, как отслужившая шкурка змеи.

Самое, самое лучшее, самое радостное, самое чистое в природе всегда, в любом возрасте и любых условиях, заставляло меня вспоминать тебя – творца стихотворных ливней, первые капли которых ртутинками катятся в пыли, гроз, трепещущей листвы, этих нежных, сияющих, женственных переходов от слез к улыбке и вспять. Чувство природы, чувство детства, чувство праздника и печали, вкуса и запаха и, прости за опошленное звучание этих прекрасных слов – женской души – все далось тебе в руки. Нет, ты ужасный хам по отношению к самому себе, если в самом деле считаешь, что «все дурное уже переделано». Боюсь, что лучшего, чем лучшее из вышеназванного дурного, тебе уже не создать! Ну, конечно, был и у тебя, как у всякого настоящего поэта, всякий хлам, но без него нет творчества. А сколько его в ранних маминых стихах – пусть она не сердится на меня за эти слова!

Поэзия сегодняшнего дня это, на мой взгляд, сплошное «хлеб наш насущный даждь нам днесь», и только один

Маяковский владел ею вполне, и она им. Но – не единым хлебом жив человек, даже в такие времена, когда хлеб – это все. Говорю это en pleine connaissance de cause[13]. Велика и глубока сила поэта, и равна ей по величине и глубине только память читателя, о которой обычно поэты не имеют понятия. Ты – тоже. Опять-таки говорю en pleine connaissance de cause.

Ну, вот и все сегодня. Я тоже ужасно занята, но такими безнадежно нудными делами, что – да Бог с ними совсем, стоит ли о них говорить! И устала.

Целую тебя.
Аля

10 октября 1948

Дорогая Аля! Высылаю тебе обещанную рукопись прямо из-под машинки моей приятельницы, маминой тезки и ее большой почитательницы Марины Казимировны Баранович, переписывавшей ее. Из одной франц. вставки я уже вижу, что в ней должны быть опечатки, но у меня нет времени проверять ее, не думаю, чтобы ошибки были так многочисленны, чтобы портили впечатление. Когда прочтешь рукопись и у тебя не будет настоятельной, непреодолимой потребности показать ее еще кому-ниб., я прошу тебя переслать ее таким же порядком: г. Фрунзе, почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Если это тебе покажется в бытовом отношении неудобным, то в таком случае я попрошу тебя написать мне об этом и вернешь рукопись по почте мне. Я все время жил в Переделкино. Мой младший сын однажды сказал, что звонила Ариадна Сергеевна. У нас есть знакомая Ариадна Борисовна, может быть, это была она и он спутал.

Целую тебя. Твой Б.

---

[13] Со знанием дела.

14.10.48

Дорогой Борис! Вчера получила книгу, а сегодня открытку. Спасибо тебе. Я недавно была в Москве несколько дней, звонила тебе, мне сказали, что ты – на даче, т. ч. сын твой не спутал, это была именно я. Ужасно жалела, что не удалось повидать тебя, да и сейчас еще жалею. В Москву выехала по приглашению нескольких добрых людей из Союза писателей, которые захотели помочь мне уладить дела с работой, т. е. именно с той работой, с которой я вот уже скоро два месяца все ухожу. Обещал все уладить и со всеми переговорить Жаров, который вчера приехал в Рязань на празднование тридцатилетия комсомола, но повидать его и дозвониться ему нет никакой возможности – в гостинице «Звезда» (по температуре – звезда полярная!) ему не сидится, а до остальных мест пребывания – никак не доберешься. Вообще все эти треволнения, мелкие, но постоянные, плюс ко всему ранее пережитому, издергали меня окончательно, как может издергать ежечасно повторяемое «что день грядущий»... из так называемой популярной арии. Очень тяжело и сумасшедше, когда день вчерашний все время насильственно перевешивает, берет перевес над завтрашним, а у меня все время так и получается, и не по моей воле.

Скажи, сколько времени можно читать книгу, мне и еще немногим нескольким? У меня есть мечта, по обстоятельствам моим не очень быстро выполнимая – мне бы хотелось иллюстрировать ее, не совсем так, как обычно, по всем правилам, «оформляются» книги, т. е. обложка, форзац и т. д., а сделать несколько рисунков пером, попытаться легко прикрепить к бумаге образы, как они мерещатся, уловить их, понимаешь? М. б., и даже наверное, это было бы не твое и не то – впрочем, почему «даже наверное»? Как раз может оказаться и твоим, и тем самым. Но это осуществимо только при условии,

если я останусь здесь, ибо, если не дай Бог придется в скором времени перебираться к Асе, то это будет долгий перерыв во всем на свете. Это будет просто ужасно, пишу я совершенно искренне, совершенно искренне сознавая собственное свинство.

Целую тебя.
Твоя Аля

12.11.48

Дорогой Борис! Получила твою открыточку, прости, что так долго не отзывалась на книгу – бегло и между делом не хочу, а так, как хочу, – все со временем не выходило из-за безумных предпраздничных нагрузок, плюс к основной работе и серьезному наступлению «осенне-зимнего сезона» в плане сложного рязанского быта. Книга вернется ко мне в понедельник, и тогда, с ней в руках, все напишу тебе подробно. Я, конечно, прочла ее первая, дважды подряд. Очень хороша. Но хочется очень, чтобы были пополнены и развиты антракты между событиями, сами по себе несомненно насыщенные событиями еще не разразившимися, понимаешь? Обо всем напишу, как только вернется книга, а пока словечко наспех, чтобы сказать, что мы – и я, и книга – живы и скоро подадим голос. Там есть замечательные, замечательные места, по-твоему пронзительные. Но боюсь – не сумею так нарисовать, как нужно. Иллюстрация – перевод автора на нечеловеческий язык линий, пятен, света, тени, на какой-то глухонемой язык. Тебя особенно трудно, ты – из непереводимых – нужен художник твоего масштаба, какой-то Златоуст от графики, черт возьми! Время нужно, хоть немного покоя нужно – это я уж не о Златоусте, а о скромной себе.

Жаров оказался по отношению ко мне необычайно отзывчивым, сделал все, что нужно, на работе меня восстановили,



А. С. Эфрон. Рязань. 1948 г.

в январе прибавятся м. б. и уроки графики – рублей на двести в месяц, и то хлеб. Плюс к сознанию слишком быстро уходящего, на ненужное тратимого времени последнее время замучила меня непонятная и противная температура – ничего не болит и все время лихорадит.

Целую тебя крепко, скоро напишу тебе много и по своему по существу.

Твоя Аля

20 ноября 1948

Дорогой злой Борис! Позволь на этот раз не послушаться тебя, и не быть тебе другом, и не отсылать (пока еще) «его» во Фрунзе, и «делать себе из него муку» и «тратить на него свои вечера». Тем более, что ты только что, совсем недавно, разрешил мне все это. Это раз. Во-вторых, какая может быть непосредственная связь между моим отношением к тебе и моим же отношением к роману? Хоть он и твой, но, раз написан, он уже *он,* сам по себе, и сам за себя отвечает. Таким образом, может быть хорошее отношение к автору и плохое – к произведению, и плохое к автору и хорошее – к произведению, и может быть отношение дух захватывающее и к тому, и к другому, одним словом – все может быть. Таким образом, если я хочу многое написать тебе о написанном тобою, то это вовсе не для того, чтобы доказать свое отношение к тебе. Это во-вторых. А в-третьих – о какой закономерности недостатков говоришь ты, *ты?* Ты можешь говорить о закономерности недостатков ну, скажем, своих детей – но не об этом ребенке, созданном совсем иным творческим методом!

Ты писал, как ты мог и как хотел, дай же мне почитать так, как я могу и как хочу, и дай мне написать м. б. не совсем так, как мне хочется, п. ч. я не всегда умею, но так, как смогу. И не пиши мне, Бога ради, таких, сверху чуть приглаженных, но на самом деле таких злых открыток.

Прости меня за медленность – что-то сделалось со временем и со мной. Время существует, но оно никогда не мое, оно меня гонит и гоняет по пустякам, и я совершенно загнана всякой конторской белибердой и домашними «делами» – топкой, от которой никому не жарко, готовкой, от которой никто не сыт, и т. д., и все надоело, ну и Бог с ним. Крепко целую тебя, дорогой злой Борис!

Твоя Аля

12 нояб. 1948 г.

Дорогая Аля! Если ты без особенного ущерба можешь расстаться с рукописью и если исполнение моей просьбы не сопряжено для тебя с какими бы то ни было бытовыми неудобствами, отправь ее, пожалуйста, по почте тем же способом, каким она была доставлена к тебе, по такому адресу: гор. Фрунзе Киргизской ССР, гл. почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Я буду тебе очень благодарен. И, если можно, не откладывай. Не уверен, в Рязани ли ты, но думаю, что в случае непредвиденного отъезда ты бы меня об этом известила.

Целую тебя. Твой Б.

27.11.48

Дорогой Борис! Только сегодня получила твою открытку от 12.11, где ты просишь немедленно выслать книгу: открытка твоя оказалась доплатной и поэтому долго пролежала на почтамте, пока прислали мне повестку. Книгу я смогу выслать 1-го – 2-го декабря – прости за задержку, но пока не получу зарплату, никак не выходит. Мне очень жалко ее отправлять, хотелось подержать еще и порисовать, но на все это нужно время, которого у тебя для меня нет. А у меня для себя и тем более.

Целую тебя, Аля

28.11.48

Дорогой Борис! Вот я и завладела, наконец, той горсточкой времени, которая была так необходима, чтобы поговорить с тобой. Прости заранее за всю последующую хаотичность – я уже писала тебе о том, что после такого долгого периода немоты стала совсем косноязычной, непреодолимо трудно

выражать человеческим языком свои – человеческие же – чувства и мысли. Слишком много границ, запретов и рогаток понагорожено во мне, чтобы я смогла передать то, что *до* слов так ясно и стройно складывается в голове. Для этого, видимо, нужно время, которого нет, или чудо, которого тоже нет.

Впрочем, утешаюсь тем, что косноязычие по сравнению с полной немотой – все же шаг вперед.

Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых – теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой «кубатуры», необходимого пространства и простора, воздуха! И это не случайность, это не само написалось так (как иногда «оно» пишется само!). Это – умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых, – по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте. Ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары, или как тот Людовик с тем епископом.

Почему так? Желание сказать главное о главном («Живое о живом», как называется одна из маминых вещей), чтобы ничего лишнего, чтобы о сложном – просто? Но вот эта-то «простота» и усложняет все настолько, что приходится проделывать весь твой путь, но à rebours[14], восстанавливая отброшенное тобой.

Получается концентрат – судеб, эпох, страстей, вмешиваясь в которые читатель – т. е. в данном случае говорю только от своего имени! вынужден добавлять ту влагу, которую ты

---

[14] Наоборот *(франц.).*

отжал, усложнять то, что ты «упростил». Получается, что все эти люди – и Лара, и Юрий, и Тоня, и Павел, все, все они живут на другой планете, где время подвластно иным законам, и наши 365 дней равны их одному. Поэтому у них совсем нет времени на пустые разговоры, нет беззаботных, простых дней, того, что французы называют détente[15], они не говорят глупостей и не шутят – как у нас на земле. И ни одного смешного происшествия, без которых не бывает юности. Поэтому нет впечатления *постепенности* их роста и превращений, их подготовленности к этим превращениям.

Патуле, «веселому и общительному», ты ни разу, с тех пор, что он передразнивал кого-то на манифестации, не дал пошутить. А ведь именно эта его жизнерадостность, витаминность, способность рассмешить и рассеять должны были привлечь тяжело раненную, надорванную Лару – больше, чем его влюбленная перед ней растерянность. А в Юрятине Патуля просто превращается в Юру, чуть ли ни с того, ни с сего – ему не хватает только стихов. «Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив», – говоришь ты о нем на стр. 135, и приходится верить тебе на слово. Если бы ты не сделал этой оговорки, о Патулиной насмешливости никто и не догадался бы.

А ведь эти качества – насмешливость, наблюдательность, юмор – необычайно влияют на взаимоотношения людей, создают друзей и врагов, утешают и злят, именно этого нельзя было обходить в книге, выкидывать из нее.

О Ларе: в нее не то что веришь, как в писательскую удачу, не то что она правдоподобна, она *есть,* вот сейчас есть, вот сейчас живет. И поэтому, когда я пишу тебе о ней, то не как о героине, а как о живом человеке, чья судьба зависит только от тебя одного. Дай же ей все 365 дней в году, а не только дни

---

[15] Разрядкой... *(франц.).*

больших событий и переживаний! Дай ей самой дойти до выстрела в Комаровского, а не заменяй ее несколькими страничками нарочито сухой скороговорки: «...жизнь опротивела Ларе». «...Она стала сходить с ума». «...Ее тянуло бросить все знакомое», «...с намерением стрелять в В. И., если он ей откажет, превратно поймет, или как н[и]б[удь] унизит». Ведь не столько, пожалуй, важно действие, сколько то, что к нему подготовляет, делает его неизбежным. В данном же случае *неизбежности* выстрела нет, и не потому, что без него можно было бы обойтись (– нельзя, Лара не может иначе!), а оттого, что в самом ответственном, в *нарастании* события ты заменил Лару, рассказал за нее своими (да и вовсе на этот раз не своими) словами, отчитался несколькими фразами за несколько мучительнейших, ответственнейших лет, за весь инкубационный период, пока она вынашивала в себе этот, не только не грянувший, но еще не дошедший до ее сознания и уже неизбежный выстрел.

Теперь – вот этот выстрел – освободил ли он Лару от Комаровского, убила ли она им Комаровского в себе?

Если да, то Комаровский не должен, не может появиться на Лариной свадьбе. Это – худшее, невозможнейшее из его, законом не наказуемых – преступлений, и по отношению к Ларе, и по отношению к Паше, и по отношению к хору гостей это – дикая бестактность. Да и по отношению к нему самому. Этот тип подлеца-джентльмена может позволить себе грубость – но не бестактность. И нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах он не может, по собственному желанию и почину, выступить в роли побежденного, чуть ли не в комической роли. Его «молодые друзья» могут быть для него всем, чем угодно, только не друзьями. Паша простить не мог, Лара – Лара могла вычеркнуть из жизни, но – но, если бы он появился еще раз, Бог знает, какой зверек зашевелился бы в ее сердце, не мог бы не зашевелиться. И она все,

что угодно, но только не «громко и невнимательно отозвалась», «...совершенно забыв с кем и о чем она говорит...».

Потом, знаешь что, мне бы ужасно хотелось узнать, как Лариса *увидела* Комаровского тогда, там, на елке. «... Останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее...» Это ведь все уже *после* того, как она *увидела, узнала* его, такого знакомого и чужого в толпе гостей. После многих лет. И уже *после* этого взгляда и узнаванья его она останавливалась и мялась на пороге. Это может быть и мелочь, но она-то мне очень нужна!

Скажи, как могло получиться, что эта, так глубоко и сильно чувствующая женщина могла не почувствовать Юрятинского Павла? Сам факт его решения мог оказаться для нее неожиданностью, но не коренная в нем перемена, вызвавшая это решение. Ведь не было же ее отношение к нему настолько поверхностным, чтобы она могла настолько все пропустить, прозевать? И, если он так все чувствовал, то как же она, женщина, да еще такая женщина, да еще виновница всего, не почувствовала, что он чувствует? Опять эта теснота, эта инопланетность, не дающая развиться инкубационному периоду, приводящая нас непосредственно к следующему поступку, следующей вспышке, следующему перелому жизней и судеб.

Все растущая разница между Павлом и Ларой, определяющаяся, в частности, в разности их отношений к окружающим и окружающему, даже твое замечание о том, что «даже Лара показалась ему недостаточно знающей» (кстати, опять же – какой недостаток интуиции с ее стороны! Женщины вообще-то всегда «недостаточно знают» то, что интересует их мужей, но никогда не показывают вида!), все это должно было вызвать чуть ли не раздражение Павла, а на самом деле он любит ее еще больше прежнего и уходит от нее

любя. Для того, чтобы и эта разница, и эта любовь, и все это смещение противоречий в их отношениях сделались понятными, неизбежными, опять-таки нужно растворить этот период в большем пространстве – на него не хватает многих и многих страниц книги.

Как относится Павел к дочке? Играет ли он с ней? Смотрит ли на нее спящую? Была ли в доме хоть одна детская болезнь, хоть одна бессонная ночь, хоть одна тревога из-за ребенка? Если нет, то к чему вообще ребенок? Только для того, чтобы он (она!) вдруг выросла (или умерла) во второй части книги?

И вот Павел уехал на фронт. И Лара, теряя его, не начинает любить его больше, чем раньше, не оценивает его по-иному, как все мы (и она тоже должна бы!), когда теряем кого-то близкого в *середине* отношений, не отмершего и не умершего. В таких случаях расстояние и недосягаемость страшно сближают людей, а Лара, когда письма от Антипова прекращаются, «вначале не беспокоится». Да возможно ли не беспокоиться вначале? Иной раз бывает, что переизбыток тревог за человека настолько отравляет, перенасыщает душу, что в один прекрасный день возьмешь да и перестанешь тревожиться, совсем, начисто, раз и навсегда. Но вначале, вначале она, бывшая, как простая баба, хватавшая мужа за руки и валявшаяся у него в ногах, должна была сходить с ума от отсутствия писем, как-то успокаивать себя днем «развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах», а ночи – не спать. И чувство ее к ребенку должно было сделаться более смятенным, а не то, что «пристроить дочь у Липочки» и, в дальнейшем – «бедная сиротка» (кстати, не Лариного обихода эти слова. Так могла бы говорить мадам Гишар, но не ее дочь!).

Вообще с детьми у тебя какая-то неувязка. Где же ребенок Юры и Тони? После замечательно переданных родов

Тони (там, где ты так хорошо сравнил ее с баркой) – мальчик совершенно пропадает. И – никаких следов какого бы то ни было материнства и отцовства. Когда Юрий Павлович встречается с Гордоном на фронте, то ни единым словом не вспоминает не только о сыне, но и о жене. Почему? И без слов тоже не вспоминает. Правда, прекрасно возникает в его памяти Тоня там, в госпитале, когда появляется Лара, но возникает таким далеким воспоминанием, как если бы между ними уже все было кончено раньше, давным-давно, хотя об этом ничего не было сказано, хотя это только может быть в дальнейшем. И последние придирки: куда ты запропастил Николая Николаевича Веденяпина, возведенного тобою в число значительнейших и потом как в воду канувшего, где мать и брат Лары, где чудесно набросанная и не менее чудесно заброшенная Оля Дёмина? Мать Лары и Родя не могли не возникать время от времени в жизни Лары, пусть чуждые, пусть докучные, но – никуда не денешься, *родные!* Ни свадьба Лары, ни рождение ребенка, ни отъезд в Юрятино не могли обойтись без какого-то, хоть на расстоянии, участия Амалии Карловны. Еще более беспомощная и нелепая, постаревшая мать не может не вызывать во взрослой Ларе, Ларе-матери, чувства если не любви, то хоть дочерней жалости.

А Николай Николаевич, растивший Юру умно и любовно, умный и необычный человек, не могущий не влиять на окружающих – тем более на молодежь, вдруг совсем выпадает из жизни Юры и из своей собственной. Ты не заставил его поссориться, уехать, умереть – так где же он и что с ним? Олю же Дёмину мне особенно жаль, замечательная из нее вышла бы героиня, или хотя бы героиня – попутчица главных героев, – ты же бросил ее в той церкви, вместе с Провом Афанасьевичем и его «блаженствами». Выберется ли она оттуда во второй части романа и если да, то не поздно ли это будет?

Чувствуешь ли ты, бросивший всех этих людей, что винить в этом будут Лару, что все это делает ее гораздо более черствой, чем она может, должна быть, есть?

Да, и еще одно: очень хочется, чтобы как-то были отмечены годы ученичества, студенчества. Узнать, как сочетались страсти с экзаменами, отметками, классами, внутренние бури с внешней дисциплиной. Упоминания о том, что Лара ходила в коричневом платье и была участницей невинных школьных проказ, и взрыва ветра при высадке Наполеона во Фрежюсе мало, мало, мало!

Прости меня за эти придирки, Борис дорогой. Они м. б. страшно мелочны, но дело в том, что я настолько поклоняюсь твоему всесильному богу деталей, так люблю в тебе, в творчестве твоем это сочетание подробного письма и широкого размаха, того твоего простора, в котором сплетаются, расплетаются и разрубаются узлы человеческих судеб, что просто злиться начинаю, когда ты начинаешь заниматься самоукрощением и самоуплотнением и делаешься вдруг не по-своему скупым.

О, какого простора требует эта книга, как она вопиет о нем, и как ты можешь и должен распространить все это, чтобы был воздух, а не кислородные подушки. Не говори мне о том, что, мол, знаешь, что делаешь, и делаешь то, что знаешь, поверь мне, что и я (без хвастовства и назойливости) тоже неплохо знаю, что ты делаешь и чего хочешь и что должен делать и чего должен хотеть. Пусть это не прозвучит нахально, но, честное слово, это так! И я все это принимаю так близко к сердцу и так горячусь лишь потому, что с первых строк и до последних я полюбила эту книгу и хочу, чтобы ей было лучше.

Она (за исключением «тесноты» главным образом между картинами и изредка внутри них) очень чиста, ясна и проста. В этом ее огромная сила, ее преимущество над многим,

написанным тобою. Причем говорю о ясности и простоте не только в смысле «понятности», а о той особой limpidite[16], которая вообще присуща твоему творчеству и которая здесь достигает совершенства. Великолепен язык всех героев. При очень большой населенности книги – лишних людей в ней нет. Как хороша старуха Тиверзина со своими невестками у поезда, возле тела Юриного отца, и портниха Фаина Силантьевна, и Фуфлыгин, и его жена в коляске, Гимазетдин, Выволочное, Шура Шлезингер, Тышкевич, Маркел с «Аскольдовой могилой», Эмма Эрнестовна, Корнаковы, Руфина Анисимовна, оба Романовых, – да вообще все.

Всегда – и на этот раз – почти пугает твое мастерство в определении неопределимого – вкуса, цвета, запаха, вызываемых ими ощущений, настроений, воспоминаний, и это в то время, как мы бы дали голову на отсечение в том, что слов для этого нет, еще не найдены или уже утрачены.

Тонин мандариновый платок, ночь в городе, предшествовавшая той елке, да и самая елка, Лара на даче – ее свидание с лесом и землею, Ларино выздоровление – квартира Руфины, молитва и обморок Юры, вьюга после похорон, стреноженная лошадь на рассвете, битая посуда в номерах, запах конопли в прифронтовой полосе – и тут же не могу не разозлиться, вспомнив, найдя и переписав это противное изложение: «она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала». Ну к чему тебе так писать? Да еще о Ларисе!

Борис, замечателен тот пятичасовой скорый, тот «чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием», надвигающийся вскоре на нас крупным планом, со всем

---

[16] Прозрачность.

своим грузом жизней и судеб, из которых одна обрывается на наших глазах, и мы идем, вслед за Тиверзиными, посмотреть на самоубийцу.

Как послушны тебе, как никогда не нарочиты все совпадения и переклички, в которых ты силен, как сама жизнь. Ужасно люблю тебя хотя бы за... «свой рост и положение в постели Лара ощущала... выступом левого плеча»... и ее сном, где «не велят Маше за реченьку ходить», когда те же самые «рост и положение» в одном случае являют собой ощущение физического и морального здоровья и равновесия, а в другом – смерть, тлен, плен и не велят Маше за реченьку ходить!

(Да, должна извиниться за Николая Николаевича. Ты ведь отправил его в Лозанну, что явно противоречит моему утверждению, что «ты не заставил его уехать». Но тем не менее эта Лозанна по моему глубокому убеждению является авторской отпиской, а не развитием этой судьбы, которая совсем не заслуживает таких больших, на долгие годы, перерывов в ее описании.)

Образы Лары, Юры, Павла больно входят в сердце, потому что мы их знали такими, какими они даны тобою, и мы их любили, и мы потеряли их, потому что они умерли, или ушли, или прошли, как проходит болезнь, молодость, жизнь. Как умираем, уходим, проходим мы сами.

Еще маленькой я думала: куда же уходит прошлое? Как же это – было, и нет, и не будет больше, а было, было ведь, была же другая такая девочка, как я, которая сидела на этой же земле и вопрошала это же небо: а где же то, что было? где та, другая девочка, которая так же была и так же искала вчерашнего дня? И так до сотворения мира.

Те же самые земля и небо связывают нас с ними, и свяжут нас с будущим, когда мы станем прошлым.



Ариадна Сергеевна с приятельницей. Рязань, зима 1948/49 гг.

Как хорошо, что ты сделал то, что мог сделать только ты, – не дал им всем уйти безымянными и неопознанными, собрал их всех в добрые и умные свои ладони, оживил своим дыханием и трудом.

Ты стал сильнее и строже, яснее и мудрее.

Спасибо тебе.

Не сердись на мои придирки, пойми мое желание большего простора, большей воли для тех, кого я узнала, кого я вспомнила и полюбила благодаря тебе.

Книгу вышлю завтра, несмотря на то, что очень бы хотелось, чтобы она была моей совсем или хоть по-настоящему надолго.

Это, конечно, далеко не все, что хочу сказать тебе и еще скажу, – но мое время истекло, и вообще я не совсем уверена, что тебе это интересно.

Целую тебя, родной.

Твоя Аля

4.12.48

Дорогой Борис! Как все неудачно получилось – книгу я уже отправила 1-го вечером, а 4-го, сегодня, получила твое разрешение оставить ее у себя надолго. Я просто в отчаяньи, до такой степени мне хотелось, чтобы она была у меня. Во-первых, я хочу ее иллюстрировать, во-вторых – некоторые места постоянно хочу перечитывать, п. ч. память и воображение переиначивают их. В-третьих – вещь эта настолько цепкая, сильная и к тому же замедленного действия, что все время хочется сличать это самое действие с подлинником, его производящим, понимаешь? Так на днях я приняла кодеин от кашля, причем не рассчитала дозы, и через некоторое время, не сразу, мне показалось, что я умираю. Конечно, умереть от него вряд ли можно, но все же именно благодаря ему я почувствовала, как это будет когда-то. Немного в этом духе получилось у меня и с твоей книгой – когда я ее прочла впервые, меня просто обидел целый ряд мелочей, которые масштабом самой книги возводились на недолжную высоту и действие которых (от кашля!) я приняла за одно из главных действий книги. А потом я почувствовала себя так, как почувствовал бы Джек, если бы совет Оли Дёминой насчет толченого стекла был бы «проведен в жизнь», это начало во мне шириться и расти главное – после того, как я рассчиталась с мелочами.

О многом бы хотелось рассказать тебе, но я настолько утомлена, совсем без сил, что – неожиданное следствие, – кажется, скоро буду годна только на то, чтобы воду таскать.

Целую тебя.

Твоя Аля

15.12.48

Борис, дорогой! Не ответила тебе на то твое письмо все из-за той же занятости и сумбура вообще, но рада была очень, что ты не рассердился на мелочный мой подход к твоей большой книге. Да и сердишься ли ты вообще когда-нибудь? Я – нет, только изредка бешусь, но не сержусь никогда, – впрочем, Бог с ним, я совсем не о том хотела тебе написать. В старой инвентарной книге училищной библиотеки я нашла запись «Л. Пастернак, альбом, 40 р.», и никаких следов самого альбома в самой библиотеке, в библиотечных карточках. Все же по наитию разыскала и того человека, у которого уже второй год лежала книга, и книгу. Она, вероятно, есть у тебя, такая большая, в синем переплете, со множеством репродукций, издание 1932 г., текст Макса Осборна. Книга – с надписью: «Дорогим Варе и Осипу с любовью, Леонид Пастернак, Б. 1934 г.» Как она попала сюда, кто такие Варя и Осип? Никто у нас не знает, да и ты вряд ли знаешь – а м. б. и помнишь Варю и Осипа? Напиши, мне очень интересно. Часть наших книг по искусству были куплены нашим училищем в год окончания войны где-то в Рязанской области, остались они после смерти какого-то старого художника, фамилии которого никто у нас не знает. М. б. это и был тот самый Осип? И еще – нашла я среди разрозненных репродукций, в нашей же библиотеке, в хламе, несколько архитектурных репродукций, причем некоторые из них были исправлены, видимо автором, тушью (дорисованы деревья, окна, решетки, кое-где заштриховано, перечеркнуто). Я задумалась над этой доработкой, представила себе сейчас же, как, много лет спустя, набрел он на эти свои старые работы, увидел их со-свежа и несколькими зрелыми и свежими штрихами и линиями все перестроил и переиначил. Подпись – Ноаковский, я не знала такого, я вообще совсем не знаю архитекторов. Но эту фамилию я встретила

на днях в книге Сидорова о Рерберге «крупный архитектор-преподаватель». И вот какая-то установилась во мне связь между работами Ноаковского, книгой твоего отца, Варей и Осипом. Попала ли сюда книга Пастернака из библиотеки Ноаковского? Попали ли сюда репродукции Ноаковского из библиотеки Осипа? Кто из них жив, кто умер в Рязанской области в год окончания войны? Или вообще никакой связи нет, и все это – случайно? Как хороши работы твоего отца, какие великолепные рисунки, за душу хватают. Проницательно и крылато, большое в этом сходство между вами, не сходство, а родство, большее, чем кровное. (Я раньше знала только его Толстого, и твой тот, скуластый, лохматый, одухотворенный портрет, который очень люблю.) Многое из этой синей книги – к твоей последней, многое и многие.

Вообще же это мое послание – очередной бред сивой кобылы – пытаюсь писать на работе, в шуме и неразберихе, и синяя книга, как птица (одноименная!), тут же, передо мной.

Целую тебя
Твоя Аля

21.1.49

Дорогой Борис! Ты замолк, но это ничего. Я надеюсь быть на днях в Москве и видеть тебя – позвоню тебе. Это не письмо, а почти телеграмма, но сейчас экзамены, работаю почти круглые сутки, совсем извелась. Очень хочется увидеть тебя наконец.

Твоя Аля

26 августа 1949

Дорогой Борис! Все – как сон, и все никак не проснусь. В Рязани я ушла с работы очень вскоре после возвращения из Москвы, успев послать тебе коротенькое, наспех, письмецо.

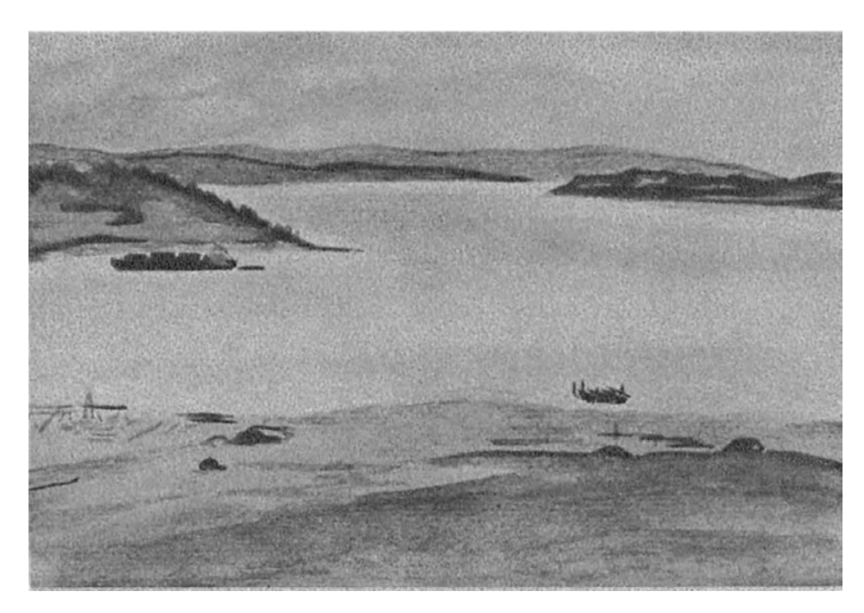


Рисунок А. С. Эфрон. Енисей. Сюда на Енисей в Туруханск Ариадна Сергеевна была сослана на вечное поселение, но пробыла с конца июля 1949 года по июнь 1955-го

Завербовали меня сюда очень быстро (нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей), а ехала я до места назначения около четырех месяцев самым томительным образом. Самым неприятным был перегон Куйбышев – Красноярск, мучила жара, жажда, сердце томилось. Из Красноярска ехали пароходом по Енисею что-то долго и далеко, я никогда еще в жизни не видела такой большой, равнодушно-сильной, графически четкой и до такой степени северной реки. И никогда не додумалась бы сама посмотреть. Берега из таежных превращались в лесотундру, и с Севера, как из пасти какого-то внеземного зверя, несло холодом. Несло, несет и, видимо, всегда будет нести. Здесь где-то совсем близко должна быть кухня, где в огромных количествах готовят плохую погоду для самых далеких краев. «Наступило резкое похолодание» – это мы. Закаты здесь

неописуемые. Только великий творец может, затратив столько золота и пурпура, передать ими ощущение не огня, не света, не тепла, а неизбежного и неумолимого как Смерть холода. Холодно. Уже холодно. Каково же будет дальше!

Оставили меня в с. Туруханское, километров 300–400 не доезжая Карского моря. Все хибарки деревянные, одно-единственное здание каменное – и то – бывший монастырь, и то – некрасивое. Но все же это – районный центр с больницей, школами и клубом, где кино неуклонно сменяется танцами. По улицам бродят коровы и собаки лайки, которых зимой запрягают в нарты. Т. е. только собак запрягают, а коровы так ходят. Нет, это не Рио-де-Жанейро, как говорил покойный Остап Бендер, который добавлял, подумав: «и даже не Сан-Франциско». Туруханск – историческое место. Здесь отбывал ссылку Я. М. Свердлов, приезжал из близлежащего местечка к нему сам великий Сталин, сосланный в Туруханский край в 1915–17 гг. Старожилы хорошо их помнят. Домик Свердлова превращен в музей, но я никак не могу попасть внутрь, видимо, наши со сторожем часы отдыха совпадают. Работу предложили найти в трехдневный срок – а ее здесь очень, очень трудно найти! И вот в течение трех дней я ходила и стучала во все двери подряд – насчет работы, насчет угла. В самый последний момент мне посчастливилось – я устроилась уборщицей в школе с окладом 180 р. в месяц. Обязанности мои несложны, но разнообразны. 22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости. Через каждые полчаса лил дождь, сено мокло, мы тоже. Потом сохли. Жили в палатке, которая тоже то сохла, то мокла. Питались очень плохо, т. к., не учтя климата, захватили с собой слишком мало овсянки и хлеба. Сейчас занята ремонтом – побелкой, покраской парт



Осень 1949 года. Туруханск.
Ариадна Сергеевна работает уборщицей в школе

и прочей школьной мебели, мою огромные полы, пилю, колю – работаю 12–14 ч. в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея – далеко и в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работящие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии. Но глаза по старой привычке впитывают в себя и доносят до сердца минуя рассудок великую красоту ни на кого не похожей Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно, ежеминутно хочется писать и рисовать. Ни времени, ни бумаги, все таскаю в сердце. Оно скоро лопнет.

Бытовые условия неважные – снимаю какой-то хуже, чем у Достоевского, угол у полоумной старухи. Всё какие-то щели, а в них клопы. Дерет она за это удовольствие, т. е. за угол с отоплением равно, всю мою зарплату. Причем даже спать не на чем, на всю избу один табурет и стол.

Я сейчас подумала о том, что у меня никогда в жизни (а мне уже скоро 36) не было своей комнаты, где можно было бы запереться и работать, никому не мешая, и чтобы тебе никто. А за последние годы я вообще отвыкла от вида нормального человеческого жилья, настолько, что когда была у В. М. Инбер, то чувствовала себя просто ужасно подавленной видом кресел, шкафов, диванов, картин. А у тебя мне ужасно понравилось и хотелось все трогать руками. Одним словом, я страшно одичала и оробела за эти годы. Меня долго, долго нужно было бы оглаживать, чтобы я привыкла к тому, что и мне все можно и что всё – мое. Но судьба моя – не из оглаживающих, нет, нет, и я все не могу поверить в то, что я на всю жизнь падчерица, мне все мечтается, что вот – проснусь, и все хорошо.

Вернувшись с покоса, долго возилась с получением своего удостоверения и наконец смогла получить твой перевод.

Спасибо тебе, родной, и прости меня за то, что я стала такой попрошайкой. Просить – даже у тебя – просто ужасно, и ужасно сейчас тут сидеть в этой избе и плакать оттого, что, работая по-лошадиному, никак не можешь заработать себе ни на стойло, ни на пойло. Кому нужна, кому полезна, кому приятна такая моя работа? Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо и вижу ее во сне почти каждую ночь. Наверное, она обо мне заботится – я все еще живу.

Когда я получила деньги, я, знаешь, купила себе телогрейку, юбку, тапочки, еще непременно куплю валенки, потом я за всю зиму заплатила за дрова, потом я немножечко купила из того, что на глаза попалось съедобного, и это немножечко все сразу съела, как Джек-лондоновский герой. Тебе, наверное, неинтересны все эти подробности?

Дорогой Борис, твои книги еще раз остались «дома», т. е. в Рязани. Я очень прошу тебя – создай небольшой книжный фонд для меня. Мне всегда нужно, чтобы у меня были твои книги, я бы их никогда не оставляла, но так приходится. Очень прошу, пришли то твое, что есть и стихи, и переводы Шекспира, и я очень бы хотела ту твою прозу, если можно. И «Ранние поезда». Еще, если можно, пришли писчей бумаги и каких-н[и]б[удь] тетрадок, здесь совсем нельзя достать.

Я счастлива, что видела тебя. Я тебе напишу об этом как-нибудь потом. Как хорошо, что ты – есть, дорогой мой Борис! Мне ужасно хочется получить от тебя весточку, скорее. Расскажи о себе. Здесь облака часто похожи на твой почерк, и тогда небо – как страница твоей рукописи, и я бросаю коромысла и читаю ее, и все мне делается хорошо. Целую тебя, спасибо тебе.

Твоя Аля

20 ноября 1949

Дорогой Борис! Твой изумительный Шекспир дошел до меня уже давно, а мне так не хотелось отвечать на него наспех и вкратце, я все ждала, что вот-вот будет настоящий свободный вечер, когда я смогу быть наедине с тобой – несмотря на расстояние, с ним (с Шекспиром, то есть!), несмотря на столетия, разделяющие нас, и, наконец, с самой собою, несмотря на все на свете. Ничего не получается. Такие вечера ждут меня, видно, только на том свете, а пока что приходится писать тебе так, как голодная собака кусок глотает – вполне судорожно.

Я помню, как-то писала маме о том, что радость теперь только ранит, мгновенно вызывает чувство острой боли, так бывало, когда я получала ее письма. И в самом деле, жизнь настолько приучила к толчкам, что только их и ждешь от нее – причем всегда недаром. Вдруг, среди снегов, снегов, снегов, еще тысячу раз снегов, среди бронированных, как танки, рек, стеклянных от мороза деревьев, перекосившихся, как плохо выпеченные хлеба, избушек, среди всего этого периферийного бреда – два тома твоих переводов, твой крылатый почерк, и сразу пелена спадает с глаз, на сердце разрывается завеса, потрясенный внутренний мирок делается миром, душа выпрямляет хребет. И больно, больно от радости, как бывало больно от маминых писем, как от встречи с тобой, как от встречи с монографией твоего отца в библиотеке рязанского художественного училища, как от встречи с твоим «Детством Люверс» там, где никаких Люверсов и никаких детств.

На какой-то промежуток времени – вне времени – жизнь становится сестрою, ну а потом все сначала. Снег, снег, и еще тысячу тысяч раз снег. Эта самая белизна иной раз порождает ощущение слепоты, т. е. абсолютно белое, как и абсолютно черное кажется каким-то дефектом зрения. Север раздражает

тем, что он такой альбинос, хочется красного, синего и зеленого так, как при пресной пище болезненно хочется кислого, соленого, острого. Раздражает еще чувство неподвижности, окостенелости всего, несмотря на беспрерывный ветер, атлантическими рывками, помноженными на туруханские морозы, бьющий и толкающий тебя то в грудь, то в спину. Дышать очень трудно, сердце с трудом переносит всю эту кутерьму, стискиваешь зубы, чтобы не выскочило. Вообще – хлопот множество: пока отогреваешь нос, замерзает рука, пока греешь руку, смерзаются ресницы. Первый настоящий снег выпал 18 сентября, в день моего рождения. Потом и пошло, и пошло, и дошло пока что до 45°, и это, увы, далеко не предел всех туруханских возможностей.

Весна начнется в июне.

Работа у меня бестолковая и трудоемкая, по 14–16 часов в сутки, я ужасно устаю, совсем мало сплю и далеко не всегда успеваю есть. Живу в избенке, где во все щели дует, у хозяйки, бывшей кулачки, которая до сих пор не поймет, куда и почему девались ее 30 голов рогатого скота, пять швейных машин, не считая сельскохозяйственных, и семь самоваров. Она окружена родней и нуждой, и от этого у нас всегда людно, нудно и тесно. Одна бываю только тогда, когда иду с работы или на работу, да и то мороз оказывается таким спутником, при котором не очень-то ценишь свои 15–20 минут одиночества. Есть собака, рыжая лайка с еврейским именем «Роза», которое ей никак не к морде. Я, кажется, единственное существо, делающее какие-то попытки ее кормить и гладить. Спит Роза на улице, по утрам у нее вся морда в инее. При виде меня она выплясывает какую-то собачью сегедилью, потом мы с ней идем на работу, каждая на свою (она возит воду и дрова). Так и живем.

В клубе, или «Районном доме культуры», где я работаю, часто бывает кино. Когда-то девочкой я очень любила его,

сейчас же совсем не переношу. Все его условности – грим, декорации, освещение – угнетают. Никогда ничего не смотрю, некогда и не хочется. На днях, идя с работы, проходя через темный зал, увидела случайно на экране несколько кадров американской картины «Ромео и Джульетта». Джульетта с черными от помады губами, с волосами, взбитыми à la «маленькие женщины» Луизы Олькотт, в кафешантанном дезабилье ворковала на чистейшем американском диалекте с Ромео из аргентинцев – из аргентинских парикмахеров. За сводчатым окном что-то чирикало, какой-то соловьино-жавороночный гибрид. Экран гнулся под тяжестью двуспальной кровати, убранной с голливудским великолепием.

Задерживаться я, конечно, не стала, а придя домой, донельзя усталая и сонная, схватила твой перевод «Ромео и Джульетты». Страшная, страстная, предельно простая и ужасно близкая к жизни вещь. Современно и архаично, как сама жизнь. Какой ты молодец, Борис! Спасибо тебе за Шекспира, за тебя самого. Спасибо тебе за все, мой родной. Ужасно я бессловесная, а когда словесная, то ужасно косноязычная – надеюсь, что ты и так все понимаешь, что хотела бы, да не умею сказать.

Книг у меня здесь совсем нет. Я бы очень хотела получить твои «Ранние поезда». Вообще все, что возможно твоего. Если нетрудно. Если трудно – тоже.

Крепко тебя целую. Напиши мне.

Твоя Аля

А как чудесно изданы книги!

20 дек. 1949

Дорогая бедная моя Аля!

Прости, что не пишу, что и сейчас не напишу тебе. Умоляю тебя, крепись, мужайся даже по привычке, по-заученному,

в моменты, когда тебе это начинает казаться бесцельным или присутствие духа покидает тебя.

Ты великолепная умница, такие вещи надо беречь. Как хорошо ты видишь, судишь, понимаешь все, как замечательно пишешь! Еще до твоего письма ко мне сидел у Елиз. Яковл. И Зин. Митрофановна вслух читала твое только что тогда полученное послание. Ну проницательность! Ну глубина! Ну остроумие – прелесть, прелесть!

О себе нечего рассказывать, все по-старому, пусть они тебе напишут, только милая печаль моя попала в беду, вроде того, как ты когда-то раньше.

Как только будет возможность, пошлю тебе что-ниб[удь] из книжек или еще что-ниб[удь], если можно будет.

От души всего тебе лучшего.

Твой Б.

5.1.50

Дорогой Борис! Только что получила твое, первое здесь, письмо. Спасибо тебе. Я, кажется, не в первый раз пишу тебе о том, что почерк твой всегда, всю жизнь, напоминает мне птиц, взмахи могучих крыльев. Вот и сейчас, только взглянула на твой конверт, и почудилось, что всем законам вопреки все журавли вернулись и все лебеди. А как было печально, когда они улетали, все эти стаи, сложенные треугольником, как солдатские письма! Горизонт сторожили вытянутые в струнку ели, тяжело ворочал свои волны Енисей, воздух пронзали холодные струи. До жути величественная это вещь – Север! Много пережила я северных зим, но ни одну так ежечасно, ежеминутно не чувствовала, как эту. Уж очень она тяжело, даже своей красотой, давит на душу. М. б. потому, что красота эта абсолютно лишена прелести. И, как к таковой, я к ней была бы равнодушна, если бы не чувствовала ее настолько сильнее себя.

Я не отчаиваюсь, Борис, я просто безумно устала, вся, с головы до пяток, снаружи и изнутри. Впрочем, м. б. это и называется отчаянием?

Твоя печаль очень меня огорчила, из-за тебя, главным образом. Много хотелось бы сказать тебе, но эти снега так располагают к молчанию! Могу только думать и чувствовать о тебе, тебя и с тобою.

Что могу рассказать тебе о своей жизни? Бесконечно много и беспредельно бестолково работаю, пытаюсь быть художником без красок, кистей, а на это уходит не только все рабочее, но почти и все нерабочее время. Всегда чувствую самую настоящую радость оттого, что работаю под крышей, а не под открытым всем ветрам, метелям и морозам небом. И хоть более или менее по специальности. По данным условиям это – большое счастье.

Жилищные условия неважные, главное – нет своего угла, в редкие свободные минуты я всегда обречена на общество людей, с которыми у меня ни общего языка, ни общих интересов и, что наименее приятно, – общее жилье. Вечно донимает холод, несмотря на то, что я превращаю в дрова и то, что сама зарабатываю, и то, что мне присылают. Но все это терпимо, все это даже не лишено интереса, лишь бы знать, что короленковские огоньки – впереди, а не позади. Но сейчас, впервые в жизни у меня совершенно не о чем мечтать, а я только так и могу жить – следуя за мечтой, как осел за репейником, привязанным к палке погонщика.

Ты вот пишешь, что я умница. А я, честное слово, с большим удовольствием была бы последней дурочкой в Москве, чем первой умницей в Туруханске.

Твоего Шекспира перечитываю до бесконечности. Я им безумно дорожу и, представь себе, отдала его в руки совершенно незнакомого паренька, который пробовал достать твои стихи в здешней, очень маленькой, библиотечке. Он вернул

его в полной сохранности, ему очень понравилось, но он сказал, что ему было нелегко вылавливать тебя из Шекспира, очень просил только твоих стихов, у меня же нет ничего. Я только помню отрывки про море из «1905-го года» и про елку из «Ранних поездов». До сих пор не знаю, что за паренек, видимо какой-ниб[удь] геолог или геодезист, или еще какой-н[и]б[удь] «гео». Наверное, и сам пишет.

Пора приниматься за очередное нечто. Крепко тебя целую и люблю. Спасибо тебе за все.

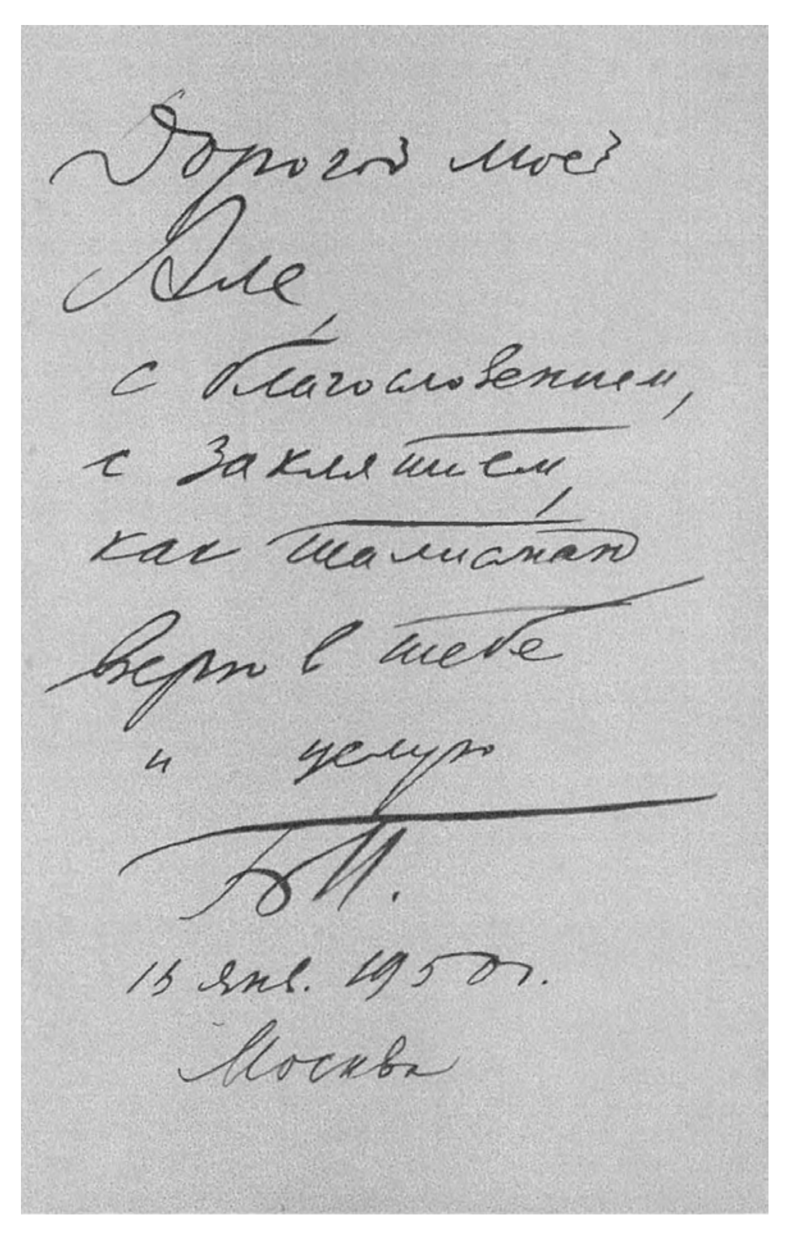
Твоя Аля

19 янв. 1950

Дорогая моя Алечка, спасибо тебе за твое письмо воздушной почтой от 5-го янв., родная моя. И опять ничего не напишу тебе не из-за недосуга или какой-ниб[удь] «важности» моих дел, а из-за невозможности рассказать тебе главную мою печаль, что было бы глупо и нескромно и что вообще невозможно по тысяче иных причин.

Но что надо было бы сказать тебе, что было бы радостно и приятно знать тебе, это вот что. Если несмотря на все испытанное ты так жива еще и несломленна, то это только живущий бог в тебе, особая сила души твоей, все же торжествующая и поющая всегда в последнем счете и так далеко видящая и так насквозь! Вот особый истинный источник того, что еще будет с тобой колдовской и волшебный источник твоей будущности, который нынешняя твоя судьба лишь временно внешняя, пусть и страшно затянувшаяся часть.

Если бы речь шла только о твоей талантливости, я бы так не распространялся. Но бывает еще дар какого-то магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств. То, что ты как заговоренная идешь через эти все несчастья, это чудо тоже творческое твое, от тебя исходящее.


Дорогой моей
Але
с благословением,
с заклятием,
как талисман
верю в тебя
и целую
БП.
15 янв. 1950 г.
Москва

Автограф Б. Л. Пастернака на книге «Избранные стихи и поэмы» (М., 1945), посланной А. С. Эфрон в Туруханск. Из собрания Л. М. Турчинского

Не думай, что я начинаю роман с тобой, пытаясь влюбить тебя в себя или что-ниб[удь] подобное (я без того люблю тебя), – но смотри, что ты *можешь:* твое письмо глядит на меня живой женщиной, у него есть глаза, его можно взять за руку, и ты еще рассуждаешь! Я верю в твою жизнь, бедная мученица моя, и, помяни мое слово, ты еще увидишь...!

Я тебе пытался доказать тут что-то, недостаточно оформив это для себя. Такие вещи никогда не удаются... Послал тебе немного денег и две-три книжки. Когда наконец выйдет однотомник Гете с 1-й частью Фауста в моем переводе и если будут оттиски, пошлю тебе. Крепко целую тебя.

Твой Б.

31.1.50

Дорогой мой Борис, это не письмо, а только записочка, через пень-колоду возникающая в окружающей меня суете и сутолоке. Я получила все, посланное тобой, и за все огромное тебе спасибо. Стихи твои опять, в который раз, потрясли всю душу, сломали все ее костыли и подпорки, встряхнули ее за шиворот, поставили на ноги и велели – живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не щурься, не жмурься, не присаживайся отдохнуть, не отставай от своей судьбы! Безумно, бесконечно, с детских лет люблю и до последнего издыхания любить буду твои стихи, со всей страстью любви первой, со всей страстью любви последней, со всеми страстями всех Любовей от и до. Помимо того, что они потрясают, всегда, силой и точностью определения неописуемого и невыразимого, неосязаемого, всего того, что заставляет страдать и радоваться не только из-за и не только хлебу насущному, они являлись, всегда, и всегда являться будут критерием совести поэтической и совести человеческой. Я тебе напишу о них, когда немного приду в себя – от них же.

На твое письмо я немного рассердилась. Не нужно, дорогой мой Борис, ни обнадеживать, ни хвалить меня, ни, главное, приписывать мне свои же качества и достоинства. Этим же, кстати и некстати, страдала мама, от необычайной одаренности своей одарявшая собой же, своим же талантом, окружающих. Часть ее дружб и большинство ее романов являлись по сути дела повторением романа Христа со смоковницей (таким чудесным у тебя!). Кончалось это всегда одинаково: «О как ты обидна и недаровита!» – восклицала мама по адресу очередной смоковницы и шла дальше, до следующей смоковницы. От них же первый, или первая, есмь аз. Больше же всего я рассердилась на то, что, мол, я могу подумать о начале какого-то романа или о чем-то в этом роде. Господи, роман продолжается уже свыше 25 лет, а ты до сих пор не заметил, да еще пытаешься о чем-то предупреждать или что-то предупреждать. Я выросла среди твоих стихов и портретов, среди твоих писем, издали похожих на партитуры, среди вашей переписки с мамой, среди вас обоих, вечно близких и вечно разлученных, и ты давным-давно вошел в мою плоть и кровь. Раньше тебя я помню и люблю только маму. Вы оба – самые мои любимые люди и поэты, вы оба – моя честь, совесть и гордость. Что касается романа, то он был, есть и будет, со встречами не чаще, чем раз в десять лет, на расстоянии не меньшем, чем в несколько тысяч километров, с письмами не чаще, чем бог тебе на душу положит. А то, м. б., и без встреч и без писем, с одним только расстоянием.

Дорогой Борис, все, что ты мог бы рассказать мне о своей печали, я знаю сама, поверь мне. Я ее знаю наизусть, пустые ночи, раздражающие дни, все близкие – чужие, страшная боль в сердце от своего и того страдания. И почему-то на лице вся кожа точно стянута, как после ожога. Дни еще кое-как, а ночью все та же рука вновь и вновь выдирает все внутренности,

все entrailles[17], что Прометей с его печенью и что его орел! А если заснешь, то просыпаешься с памятью, уже нацеленной на тебя, еще острее отточенной твоим сном. Как четко и как страшно думается и вспоминается ночью... Мой бесконечно родной, прости мне мое косноязычие, мое ужасное смоковничье неумение выразить то, что чувствую, думаю, знаю. Но ты, который понимаешь язык ветра, дождя, травы, конечно, поймешь и меня, несложную.

Целую тебя и желаю тебе.

Твоя Аля

19 февр. 1950

Дорогая Аля! Зачем ты называешь свое большое, полное души и мысли письмо короткой временной запиской и собираешься сверх неисчислимо многого, сказанного уже в нем, написать мне еще что-то о стихах, точно я такой ненасытимый вампир, – не надо, Аличка. Эти книжки я послал тебе после твоих слов о «пареньке», в клубной библиотеке, на случай, если кому-ниб[удь] понадобится.

Я долго болел гриппом с очень высокой температурой и чувствую себя еще и сейчас совсем разбитым. Тут было какое-то подытоживающее потрясение всего жизненного существа, и чем-то вроде обвинительного приговора после болезни, как после судебного разбирательства, над душой повисла растерянность и слабость.

Я боюсь заговаривать с тобой на эту тему, потому что каждый такой мой намек будет вызывать бурю твоих возражений, но мое авторское барахтанье в жизни чересчур затянулось, у многих гораздо раньше опускались руки, и ведь это недоразумение, я давно смирился и вообще никогда ни на что не притязал.

---

[17] Все нутро.

Я рад, что я житейски нужен семье и нескольким близким и хотел бы быть нужным двум-трем людям вроде тебя, которых люблю. Потребность в заработке, которая, бог даст, долго еще у меня будет, оправдывает в моих глазах мое существование, а средством заработка останется для меня литературный перевод. А об остальном нечего и думать, всему было свое время, и надо быть благодарным прошлому.

Мне трудно писать, слабость отражается даже на почерке. Целую тебя.

Твой Б.

Сообщи, пожалуйста, Асе, что я хвораю и не так скоро напишу ей.

22 *февр. 1950*

Дорогая Аля!

Я тебе написал на днях в состоянии такой хандры и, вероятно, умственной расслабленности, что не уверен, не были ли в письме нарушены законы смысла и согласования частей речи, – ты оставь без внимания то письмо.

Мне гораздо легче сейчас, не беспокойся обо мне. Все же одно соображение, высказанное там, остается в силе. Не воображай, пожалуйста, что ты в каком-то нравственном долгу передо мной, что ты меня в чем-то недостаточно убедила, чего-то не договорила или не дописала. Ты всегда исчерпывающе красноречива и сильна, я чувствую и знаю твою любовь и горжусь твоей одаренностью и одухотворением. Я все знаю, не трать времени и сил на меня, они так нужны, так нужны тебе в твоих чудовищных условиях. Говорю не обиняками, это причины прямые, никаких других нет.

Всего тебе лучшего. Будет время и возможность – опять напомню о себе. Спасибо тебе.

Твой Б.

6.3.50

Дорогой Борис! Получила два твоих гриппозных письма, одно за другим. Нет, дорогой мой Борис, я очень далека от того, чтобы «чувствовать себя в долгу» перед тобой, и от мысли, что я могу или должна что-то «доказать» тебе. Неужели на старости лет мои письма, мои попытки писем, делаются такими же настырными, утомительными и по долгу человечности требующими ответа, как Асины? (В жизни не встречала более мучительного чтения!) Прочтя твои отповеди, смягченные неизменным дружелюбием, я почувствовала себя «militante № 2»[18] и ужасно смутилась. Видишь ли, когда мне хочется написать тебе, ну, скажем, о твоих стихах, то это вовсе не по какому-либо долгу службы или дружбы, а просто потому, что это для меня очень большая радость, тем большая, что у меня их совсем не осталось. В прежней, теперь кажущейся небывалой, жизни было все – плюс стихи. В теперешней жизни ничего не было. Потом появились твои стихи, и сразу опять все стало, потому что в них все, бывшее, будущее, вечное, все, чем душа жива. Вот об этом мне тебе хотелось рассказать, но, видимо, все мое здешнее бытие настолько насыщено тревогой и неустойчивостью, что ничего, кроме тревоги и неустойчивости, я не сумела выразить. По себе знаю, насколько утомительны и лишни такие письма, да и такие люди, как их ни люби, ни уважай, ни сочувствуй им. Во всем этом виноваты мои нелепые обстоятельства больше, чем я сама. Правда, все эти пятидесятиградусные, безысходные морозы, теснота и темнота в избушке, непрочность на работе, угнетенное, неравноправное состояние все делают как-то шиворот-навыворот, как в «Алисе в стране чудес». Я не буду больше тебе писать, чтобы не усугублять твоего гриппа, и такого, и душевного.

[18] Здесь в смысле: настырница.

Мне хотелось тебе писать еще и потому, что ты сам о себе многого не знаешь, т. е. не о себе, а о своих стихах. Вот на днях я получила письмо от одной молоденькой приятельницы, студентки последнего курса Литфака. Она разошлась с мужем, сдала трехлетнего сына бабке и ушла к какому-то юноше, в пользу которого пишет только четыре слова: «чудесные волосы, ярый пастернаковец». Т. к. она существо не типа Далилы, то дело тут явно не в чудесных волосах. Позабавил и тронул меня этот случай, я так живо представила себе, как обладатель вышеупомянутых волос и нескольких книжек твоих стихов очаровал эту двадцатитрехлетнюю женщину несколькими *твоими* ливнями, грозами, «Вальсом со слезой» и «Рождеством», разбил ее жизнь и умчал ее «на ранних поездах» куда-то под Москву, где она и обретается сейчас, вполне счастливая до той поры, пока не сообразит, что все это – какой-то плагиат. Стихи-то ведь – твои, а что касается волос, то ведь он может облысеть!

Ты их не знаешь, ни его, ни ее, ни многих, многих, для которых твои стихи та же самая радость, которую мне никак не удается выразить. Да я теперь и пробовать не буду.

На днях к нам приезжал наш кандидат в депутаты Верховного Совета. Мороз был страшный, но все туруханское население выбежало встречать его. Мальчишки висели на столбах и на заборах, музыканты промывали трубы спиртом, а также и глотки, и репетировали марш «Советский герой». Рабочее и служащее население несло флаги, портреты, плакаты, лозунги, особенно яркие на унылом снежном фоне. И вот с аэродрома раздался звон бубенцов. Мы-то знали, что с аэродрома, но казалось, что едет он со всех четырех сторон сразу, такой здесь чистый воздух и такое сильное эхо. Когда же появились кошевки, запряженные низкорослыми мохнатыми быстрыми лошадками, то все закричали «ура!» и бросились к кандидату, только в общей сутолоке его сразу трудно

было узнать, у него было много сопровождающих – и у всех одинаково красные, как ошпаренные морозом, лица. И белые шубы – овчинные. Я сперва подумала, что я уже пожилая и не полагается мне бегать и кричать, но не стерпела и тоже куда-то летела среди мальчишек, дышл, лозунгов, перепрыгивала через плетни, залезала в сугробы, кричала «ура» и на работу вернулась ужасно довольная, с валенками, плотно набитыми снегом, охрипшая и в клочьях пены.

Ты знаешь, я так люблю всякие демонстрации, праздники, народные гулянья и даже ярмарки, так люблю русскую толпу, ни один театр, ни одно «нарочное» зрелище никогда не доставляло мне такого большого удовольствия, как какой-н[и]б[удь] народный праздник, выплеснувшийся на улицы – города ли, села ли.

То, чего мама терпеть не могла.

И опять я написала тебе много всякой ерунды, такой лишней в теперешней твоей жизни. Как я хорошо себе представляю ее, чувствую, да просто знаю!

Крепко тебя целую. Не болей больше!

Твоя Аля

29 марта 1950

Дорогая Аля!

Получил замечательное твое, по обыкновению, письмо в ответ на мои гриппозные и отвечаю, по обыкновению, коротко и второпях.

Чудно ты пишешь о приезде депутата, о встрече его и о себе. Ты сама это знаешь. И на притворную тему «militante № 2» тоже великолепно ломаешься. И тоже все чудно знаешь. Я тебя крепко целую.

Если «Воскресение» с частью отцовских иллюстраций я по забывчивости посылаю тебе вторично, ты меня прости и книгу подари кому-ниб[удь] другому.

В книгу я всунул несколько страниц новых стихов, продолжение прежних (Из романа в прозе), я их написал в ноябре и декабре. Они сразу оттолкнут тебя, покажутся неяркими и чересчур (нехудожественно) личными. Но если, перечтя их, по прошествии некот[орого] времени, ты их допустишь, и если то, что я тебе сейчас предложу, покажется тебе имеющим смысл, исполнимым и удобным, перепиши их (хотя бы от руки) и пошли Асе.

Но вопрос, дойдут ли они вообще по почте п[отому] ч[то] я всунул их в книгу и м[ожет] б[ыть] этого нельзя делать.

Я обрадовался твоему письму еще и оттого, что начал беспокоиться о твоем здоровье.

Твои Б.

У меня ничего не изменилось, но сам я здоров, много и хорошо работаю.

Напиши, когда все получишь и спишешься с Асей.

29 марта 1950

Дорогая Аля! Я тебе сегодня написал авиаписьмо, но в почтовом отделении я сдавал еще другие отправления, и теперь у меня не осталось в памяти, опустил ли я его в ящик. Очень возможно, что оно пропало там среди клочков оберточной бумаги где-ниб[удь] в корзине и не пошло к тебе.

В письме были, немногим подробнее, чем тут (так что ты не жалей), восторги по поводу твоего описания приезда депутата и того, как ты притворно клевещешь на себя (militante № 2), великолепно все зная и понимая.

Кроме того, было несколько просьб:

1) если бы оказалось, что посланное тебе «Воскресение» я уже однажды подарил тебе, чтобы ты извинила мою забывчивость и книгу подарила кому-ниб[удь] другому.

2) Чтобы, в случае если бы ты в конце концов привыкла к нескольким стихотворениям, всунутым в «Воскресение»

(продолжению стихов «Из романа в прозе»), и они перестали бы отталкивать тебя, и если бы ты нашла это возможным и целесообразным, ты переписала их и послала Асе. Я написал их в начале зимы.

Милый друг, глупо, что написав с нечеловеческой торопливостью то послание, я ухитрился потерять его, вынудив эту еще более обидную скороговорку.

Прости меня. Целую тебя.

Твой Б.

10 апреля 1950

Дорогой Борис! Твои письма, оба, дошли до меня в тот же день и час, – и книга, и стихи. Спасибо тебе.

О стихах: среди всего твоего, мною прочитанного когда-либо, нет и не было «отталкивающего», да, пожалуй, и не может быть, слишком велика *притягательная* сущность твоих стихов, чтобы была возможна хоть в какой-то мере какая-то контр-притягательная сила. Насчет же «неяркости» и «нехудожественно-личного», то, по-моему, ни «яркостью», ни «художественностью» стихи твои никогда, слава Богу, не грешили. Для меня «яркость» синоним «внешнего», а «художественность» граничит с искусственностью. В последнем я, может быть, неправа, понимая это по-своему, а м[ожет] б[ыть] у меня это атавизм типа галлицизма, т. е. «art»-«artificiel»[19]. По-моему, неспроста отсутствует у галлов понятие «художественности», при наличии понятий искусства и ремесла. Как ты думаешь? Да и вообще, может ли *твое* личное оказаться «нехудожественным», претворясь в *стихотворение?* Подчеркнула «твое», т. е. у многих – может, а у тебя не получается.

[19] «Искусство» – «искусственное».

Стихи твои – прекрасны. Спасибо тебе за них, за то, что ты их пишешь, за то, что ты – ты.

Асе перепишу и пошлю.

Что же до «militante № 2», то эта тема не притворна и не разыграна. Потому что со мной тоже не раз случалось – получать письма, написанные от души, но так, что их душа не приемлет, ибо ужасно трудно любить так, как нужно любимому, а не любящему (не прими это как-н[и]б[удь] узко!), и писать так, как это нужно адресату, особенно гриппозному. Тут дело не в том, чтобы «подладиться» как-то, а – чтобы это было именно *то самое.*

Один экз. «Воскресения» ты мне подарил в Москве, но я не смогла захватить его сюда с собой. Очень рада, что ты прислал мне эту книгу, не из-за Толстого, а из-за отца, осуществившего тему лучше, чем автор, т. е. с неменьшей любовью, но абсолютно без сентиментальности. Ты понимаешь, вторая половина книги расхолаживает меня к первой, прекрасной, тем, что напряжение, по теме и замыслу долженствующее нарастать, падает, расплывается, захлебывается в лжи толстовской «правды», точно уже не Толстой, а его вегетарианцы писали.

Жаль, что репродукции неважные и часть иллюстраций срезана – видимо, чтобы не уменьшать до искажения. Вот, например, в иллюстрации к заутрене (или к чистому четвергу?) – там, где все со свечками, – срезана чудная фигурка мальчика, который крестится, с силой вжимая пальчики, сложенные щепоткой, в лоб, как бабушка учила. Беленькая головка наклонена, только темя видно и эта ручонка. А особенно сильна сцена, где Катюша, в арестантском халате, почти спиной к зрителю, видит там, вдали, Нехлюдова, а за ее спиной конвоир, так вот *настороженность* руки конвоира.

Часть этих иллюстраций, в чудесных репродукциях, я видела в монографии твоего отца в Рязани – писала тебе тогда

об этой книге и до сих пор не могу себе простить, что не догадалась украсть ее, там столько чудесного, и много портретов вас, детей и подростков, и матери.

Живу все так же. Жду весны, как никогда в жизни. Бывало, весна приходила своим чередом, а здесь, чтобы она пришла, нужно все сверхчеловеческое напряжение человеческой воли, ибо здесь она не просто весна, а такое же чудо, как воскресение Лазаря, настолько все мертво и спеленуто. (Как хорошо у тебя про Лазаря в последних стихах!) И вот я все время из недр своих взываю и вопияху, но вызвала пока что только один-единственный весенний день с настоящей капелью и попытками луж. Обрадовалась – и все пропало. Пурга, заносы, морозы.

А наше село чем-то похоже на Вифлеем. Каким-то библейским убожеством, м. б. таящим в себе Чудо, а м. б. только ожиданием его, чаянием.

Снега и снега, лачуги, лохматые коровы, косматые псы. Все время приходится перебарывать возникающее от пейзажа и окружения желание волочить ноги и сутулиться, насколько город подтягивает, настолько село, да еще северное, размагничивает.

Работаю много, часто свыше своих, теперь небольших, сил, но работа эта не утоляет жажды настоящей работы и даже не заглушает ее, несмотря на то, что считаюсь художником и работа близка к специальности.

Чувствую себя неважно, плохо переношу климат. Постоянная противная температура в окрестностях 37,5, и постоянно чувствую сердце, это, плюс многое другое, очень утомляет.

Но, в общем, все, как всегда, терпимо.

Спасибо тебе за все.

Целую тебя.
Твоя Аля

17.4.50

Дорогой Борис! Большое тебе спасибо за деньги, ты и представить себе не можешь, как они меня выручили и как кстати пришли. А главное, спасибо за заботу. Я с каждым годом становлюсь все беспризорнее, все забвеннее (?), и тем большим чудом кажется мне человеческое внимание, человеческое добро. Сама я, мне кажется, черствее прежнего не стала, но сантиментальности лишилась абсолютно, также как и слезного дара, которым в молодости обладала превыше всякого другого – лет до 20-ти рыдала над чеховской «Каштанкой», плакала в кино и т. д. И, представь себе, израсходовала весь свой слезный запас лет около 10 тому назад, теперь способна плакать только если очень радуюсь, что со мной случается редко.

У нас один за другим подряд три весенних дня. Снег чернеет, делается губчатым и рассыпчатым, с крыш бежит вода, а по небу – серые, теплые облака. Тайге еще далеко до зелени, но она голубеет, покрывается сливовой дымкой, и, когда солнце заходит за полосу леса на горизонте, тень падает на снег нежно, как тень огромных ресниц. От солнца все становится гибким, и веточки лиственниц, и пышные, как лисьи хвосты, ветви пихт, а очертания теряют свою зимнюю сухость, четкость, схематичность. На свет божий выползают ребятишки и щенята, урожая этой зимы, выращенные в избах наравне с телятами и курами. Птиц еще не видно и не слышно, только однажды увидела какую-то случайную стайку странных хохлатых воробьев с белой грудкой.

Как удивительно, что в последнее время я совсем не живу, а, скажем, «переживаю» зиму, «доживаю» до весны и т. д. (Прости за гадкую бумагу, здесь и такую трудно добыть.)

Сегодня ходила к врачу, она сказала мне, что нельзя в таком возрасте иметь такое сердце, посоветовала мне побольше отдыхать и беречься волнений и переживаний. И прописала

всякой дряни внутрь. Причем, насколько я соображаю, дряни взаимоисключающей. Насчет отдохнуть, не волноваться и не переживать сам догадываешься, а насчет сердца – неправда, оно еще повоюет.



Рисунок А. С. Эфрон

Какая меня всегда тоска за душу хватает от казенных помещений и присущих им казенных же запахов – милиций, амбулаторий, контор и т. д. Сегодня просидела в амбулатории часа четыре подряд, в очереди разнообразных страждущих, – обросших щетиной мужчин, бледных женщин с развившимися волосами, подростков с патетическими веснушками на скуластых мордочках. Скамьи со спинками, отполированными спинами, плакаты «Мы излечились от рака», «Берегите детей от летних поносов», отполированные взглядами, ай-ай-ай, какая тоска! И все эти разговоры вполголоса о боли под ложечкой, под лопаткой, в желудке, в грудях, в висках, о боли, боли, боли! У меня тоже сердце болит тихой скулящей болью, но от этого обилия чужих болезней начинаю себя чувствовать неприлично здоровой, хочется встряхнуться и удрать.

А зато как хороши гостиницы, пристани и вокзалы! И какая там иная тоска, живая, с огромными сильными крыльями, вот-вот готовая превратиться в радость, правда? и по силе не уступающая счастью. Тоска приемных покоев совсем другая, заживо ощипанная и бесперспективная (чудесное словечко!). Осенняя муха, а не тоска.

Пишу тебе всякую несомненную ерунду. Кругом так шумно, тесно, неудобно, и, несмотря ни на что, так хочется хоть немного поговорить с тобой, т. е. вернее, смотря на все, так хочется поговорить с тобой! Все бы ничего, но я ужасно тоскую, грущу и по-настоящему страдаю о и по Москве. Как никогда в жизни. А ведь жила я там так мало, до 8-ми лет ребенком и потом взрослой года три в общей сложности, вот и все. Это – самая страшная тоска, тоска – неразделенной любви, что ли! Сколько же я видела в жизни городов, стройных, и прекрасных, сколько любовалась ими, понимала и ценила, но не любила, нет, никогда. И, покинув их, не больше вспоминала, чем декорации когда-то виденных пьес.

Но этот город действительно город моего сердца и сердца моей матери, *мой* город, единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. И во сне вижу – в самом деле, и не для красного словца – московские улицы, улички и переулочки, именно московские, а не какие-н[и]б[удь] другие. А вместе с тем *жить* в Москве я бы не хотела, не хотела бы, чтобы этот город стал для меня будничным городом нескольких привычных маршрутов. И с удовольствием – если бы жизнь моя была в моих собственных руках, жила и работала очень далеко от Москвы, и именно на севере, еще севернее, чем здесь, – жила и работала бы по-настоящему, не так, как сейчас приходится. Книги писала бы о том, что немногим приходится видеть, хорошо писала бы, честное слово! Крайний Север – непочатый край для писателя, а никто решительно ничего настоящего о нем не написал.

А потом прилетала бы в Москву, окунулась бы в нее – и опять улетала бы.

Все «бы» да «бы».

Крепко целую тебя. Спасибо тебе.

Твоя Аля

5.5.1950

Дорогой Борис! Огромная к тебе просьба: мне очень нужны мамины стихи: 1 – цикл стихов к Пушкину, 2 – цикл стихов к Маяковскому и 3 – цикл стихов о Чехии. Последний цикл написан был мамой в период захвата Гитлером Чехословакии. М. б. все это есть у тебя, если нет, то может быть у Крученых, у ко[торо]го много маминых вещей, рукописных и перепечатанных. Если нет ни у тебя, ни у Крученых, то есть у Лили в черновиках. Мне нужны обязательно все три цикла. Теперь так – если ты обратишься к Крученых, то очень попрошу тебя – не от моего имени. Мы с ним не очень ладим,

и мне он может отказать, а тебе наверное нет. И последняя инстанция – Лиля. Там труднее всего, т. к. они обе устали, больны, им это очень утомительно и трудно, и кроме того действительно нелегко разыскать нужное в черновиках, если у них нет оттисков или хотя бы переписанного набело. Только мне очень хочется, чтобы все мамины тетради остались на месте, т. к. даже при самом бережном отношении что-н[и]б[удь] может пропасть, как это случилось с письмами, а рукописи – невосстановимы.

Я знаю, что тебе это будет очень трудно, но просить мне больше некого, т. к. только тебе могу доверить эту просьбу, во-первых, и вообще во-вторых. Очень прошу тебя, сделай это, и если возможно – поскорее.

Кроме того, если есть возможность, пришли немного хотя бы своих книг, т. е. книг своих стихов, у меня на руках осталось только надписанное тобою мне, а читателей, и среди них таких, которые заслуживают иметь твои книги, много. Если нельзя прислать несколько экземпляров, то пришли хоть немного, и я отдам в библиотеку, где часто тебя спрашивают и где нет ничего твоего.

Прости за эти трудновыполнимые просьбы. Один бог знает, кажется, с какой радостью я все это сделала бы сама!

Пишу тебе поздно вечером, в нетрезвом от усталости состоянии. Сегодня – день печати, и пришлось много поработать, да и от предмайской усталости еще не очухалась. Время приближается к полуночи, а на улице еще совсем светло. Если не теплом, так светом хороша северная весна. А она уже в полном разгаре. Совсем недавно осознала, почему именно весну я люблю меньше всех остальных времен года. С утра – снег огромными хлопьями, потом солнце проталкивается сквозь облака, тает, с крыш вода, под ногами лужи, проталины, ручьи. Потом резкий холодный ветер, гололедица, сосульки. Потом теплый, ленивый и уже почти душистый

ветерок, и вновь снег хлопьями, а затем дождит. И так – целыми днями и ночами. И вот, шла я по мостику через овраг, на меня накинулся влажный ветер и начал рвать с меня платок и хватать за колени, бросил мне в лицо несколько угрожающих пригоршней снега, заставил запахнуться и чертыхнуться. Еще несколько шагов – овраг позади, тишина, солнце светит, все кругом мирно, тепло и ярко. Весь предыдущий гнев оказался шуткой, м. б. даже инсценировкой! Тут меня и осенило, почему к весне я не так благоволю: она ведь женщина, настоящая, с вечной сменой настроений, с такой искренней легкостью переходящая от смеха к слезам, от слов к делу и даже от поцелуев к пощечинам! Женщина, т. е. я сама, и поэтому только видимо я предпочитаю ей, со всей неустойчивостью ее характера, определенность лета, выдержку осени и суровость зимы. (Последнее желательно в более умеренном климате!)

Скоро ледоход. Я впервые увижу его на такой большой реке. Енисей – огромный, шире Волги намного. Я боюсь ледохода, даже на Москва-реке. Это страшно, как роды. Весна рожает реку. Последний ледоход я видела в прошлом году на Оке, и мне было в самом деле и страшно и немного неловко смотреть, как на что-то личное и тайное в природе, несмотря на то, что все было так явно!

У меня опять очередное несчастье – через две недели я буду без работы, т. е. нашему учреждению не на что нас, не-бюджетных, живущих на «привлеченные средства» – содержать. А работу найти очень трудно, почти невозможно. Господи, как жить, что делать, о какую стенку головой биться, и ума не приложу! М. б. за эти две недели что-н[и]б[удь] чудесным образом наклюнется, хотя шансов на это никаких. Никак не вылезу из серии плохих чудес, никак не попаду в хорошие! (чудеса).

Крепко тебя целую. *Твоя Аля*

25 мая 1950

Дорогая Аля!

О Чехии пришлет тебе Елиз. Як., к Пушкину достанет Крученых, разыщем и о Маяковском. Сейчас все разъезжаются по дачам, это затрудняет.

Каждый раз как заходит разговор о маминых книгах или рукописях, это мне как нож в сердце. Разумеется, это укор уничтожающий и убийственный, что у меня ничего не осталось отцовского, Цветаевского, Рильковского, близкого как жизни и как жизнь растекшегося[20]. Этому нет имени, и ссылки на то, как я живу, как складывалась жизнь и пр., оправдать меня не могут, а разве только послужить успокоением, что из многих видов преступности это не самый худший. Так, проезжая на антифашистский съезд, где я тебя видел, я не захотел встретиться с родителями, потому что считал, что я в ужасном виде, и их стыдился. Я твердо верил, что это еще случится с более достойными возможностями, а потом они умерли, сначала мать, а потом отец, и так мы и не повидались. Это все одного порядка, и этого много у меня в жизни, но клянусь тебе, не от невнимания или нелюбви!!

У тебя очень хорошо о весне, о ледоходе.

У меня все так же нет ничего своего, что я мог бы послать тебе. Посылаю тебе однотомник Гете нарочно без надписи, чтобы ты могла подарить его Вашей библиотеке с твоею собственной, если это тебе будет интересно.

В однотомнике есть мой перевод Фауста, и не будет ничего удивительного, если он удовлетворит тебя. Сколько принесено было в жизни жертв призванию, какая создана замкнутость и пр., пора, кажется, научиться. Гораздо удивительнее

---

[20] Это все в чьих-то руках, но поди вспомни в чьих, когда их так неисчислимо много!

совершенство остальных переводов, мелких и крупных, людей с более скромным именем, среди которых мой Фауст затерялся.

Это было для меня открытием. И переводить, как оказывается, не стоит, все научились.

Крепко целую тебя.

Как только будет возможность, переведу тебе денег.

Твой Б.

28 мая 1950

Дорогая Аля!

Вот «к Пушкину», доставили только вторую половину, первую разыскивают. О Чехии пришлет Елиз. Яковлевна. Это переписал своей рукой Крученых, и я не даю переписывать на машинке, чтобы не задерживать.

Осталось о Маяковском, делают и это.

Прости меня за торопливость, послал тебе заказной бандеролью однотомник Гете, просмотри, что тебе будет интересно, и потом от себя со своей подписью подари в Вашу библиотеку.

Твой Б.

7.6.50

Дорогой Борис! Получила твое письмо, и второе со стихами, и только сейчас осознала, до какой степени разрознено все мамино. То, что переписал Крученых, лишь незначительная часть пушкинского цикла, а не то, что «первая» или «вторая». Там было не менее десяти стихотворений – я, конечно, могла бы восстановить в памяти хоть названья, если бы голова не была сейчас так заморочена и не похожа на самое себя.

Когда я думаю об огромном количестве всего написанного ею и потерянного нами, мне страшно делается. И еще страшнее делается, когда думаю, *как* это писалось. Целая жизнь труда, труд всей жизни. И еще многое можно было бы разыскать и восстановить, и сделать это могла бы только я, единственная оставшаяся в живых, единственный живой свидетель ее жизни и творчества, день за днем, час за часом, на протяжении огромного количества лет. Мы ведь никогда не расставались до моего отъезда, только тогда, когда я уехала, она писала без меня, и то уже совсем немного.

Я никогда не смогу сделать этого, я разлучена с ее рукописями, я лишена возможности разыскать и восстановить недостающее. Я ничего не сделала для нее живой, и для мертвой не могу.

Мне очень понятно все, о чем ты говоришь. Конечно, тогда ты не мог увидеться с родителями, тогда еще казалось, что главное хорошее – впереди, тогда еще многое «казалось», а жизнь проходила, и для многих – прошла уже. Как же тяжело чем дальше, тем больше сталкиваться с невосстановимым и непоправимым.

Я ужасно устала. Такая длинная, такая темная и холодная зима, постоянное, напряженное преодоление ее, а теперь вот весна – дождь и ветер, ветер и дождь, вздыбившаяся свинцовая река, белые ночи, серые дни. Ледоход начался 20 мая, и до сих пор по реке бегут, правда все более и более редкие, все более и более обглоданные льдины. Пошли катера, этой или будущей ночью придет первый пароход из Красноярска. Но пока что нигде никакой зелени, по селу бродят грустные, низкорослые, покрытые клочьями зимней шерсти коровы и гложут кору с жердей немудреных наших заборов.

Одним словом, мне ужасно кюхельбекерно и скучно – надеюсь, что только до первого настоящего солнечного дня.

Пишу тебе ночью. Без лампады. Спать не хочется и жить тоже не особенно. Тем более, что живется так нелегко, так дергано и так неуверенно! Утешаю себя мудростью Соломонова перстня, на котором было начертано, как известно из Библии и из Куприна, – «и это пройдет». Нежеланье жить пройдет так же, как желанье, да и как сама жизнь. И ты отлично понимаешь, что такая нехитрая философия навеяна вот этой самой белой ночью, вот этим самым атлантическим ветром, вот этим самым ливнем, пронзающим всю нахохлившуюся природу.

И сквозь все это – архангельским гласом гудок парохода – первый гудок первого парохода. Значит, пришел «Иосиф Сталин», теплоход, чьим капитаном – наш депутат, о встрече с которым я тебе как-то писала.

Сбилась с ног окончательно со всеми своими неполадками с работой и квартирным вопросом, который здесь острее и необоснованней, чем в Москве. В каких углах, хибарах и странных жилищах я только не побывала! Но все ничего, только бы солнца! У меня без него какая-то душевная цинга развивается! Книгу, о к[отор]ой пишешь, еще не получила, жду с нетерпением и вряд ли отдам. Самой нужны стихи. По уши увязла в прозе.

Спасибо тебе за все, за все, мой дорогой. Как только у меня что-н[и]б[удь] «утрясется», напишу тебе по-человечески, а сейчас только по-дождливому пишется.

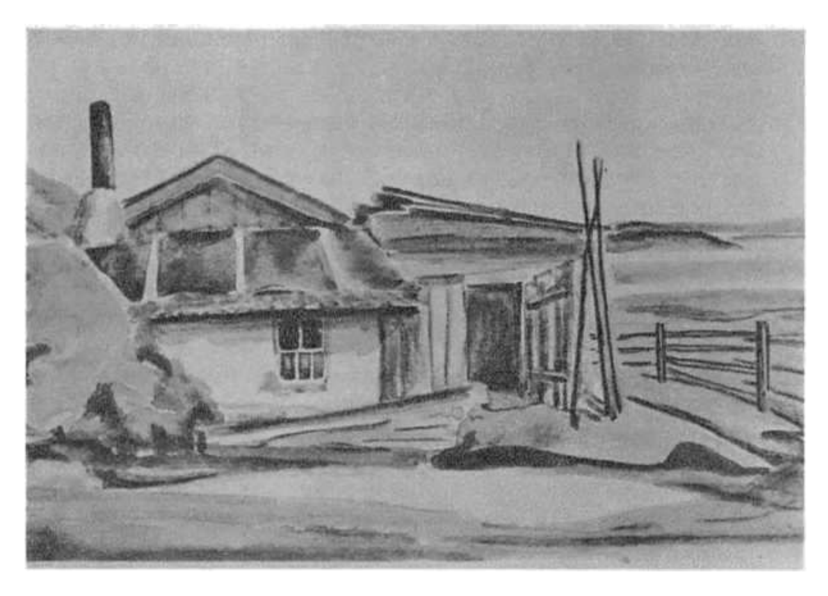
Очень люблю тебя за все.

Твоя Аля

24 июня 1950

Дорогой Борис! Большое спасибо тебе за посланное, все получила. Благодаря тебе смогла переехать на другую квартиру, хоть и далекую от центра и от совершенства,

но несравненно лучшую, чем та, в которой буквально и фигурально прозябала всю страшную зиму. Это – крохотный домик на самом берегу Енисея, комнатка и маленькая кухонька, три окошка, на юг, восток и запад. Огород в три грядки и три елочки. Домик продавался, и приятельница, с которой я живу, мечтала купить его, но для приобретения не хватило как раз присланной тобой суммы, а как только я ее получила, мы сразу его купили, и таким образом я, в лучших условиях никогда не имевшая недвижимого имущества, вдруг здесь, на севере, стала если не вполне домовладелицей, то хоть совладелицей. Впрочем, в недвижимости этого жилища я не вполне уверена, т. к. оно довольно близко от реки и при большом разливе, пожалуй, может превратиться в движимое имущество. Но до разлива еще целый год, и пока что я просто счастлива, что могу жить без соседей, без хозяев и тому подобных соглядатаев.



«...крохотный домик на самом берегу Енисея...»
Рисунок А. С. Эфрон. 1950 г.

Долго не писала тебе, т. к. переезд с места на место здесь дело чрезвычайно долгое, сложное и трудоемкое. Устала я бесконечно и к тому же все время хвораю чем-то непонятным и, вероятно, северным. Температурю и сохну – видно, климат неподходящий, никак не пускаются корни в этой бесплодной, каменистой, насквозь промерзшей почве.

22 июня вновь пошел, и к счастью скоро прошел, снег. Все время ветер и дождь, холодно. За все время было 3–4 хороших, ясных, солнечных дня, когда все кругом преобразилось: сколько красок скрывается в этой сумрачной природе, и, для того, чтобы вся тоска превратилась в радость, нужно только одно: солнце! Оно не закатывается сейчас круглые сутки, но его все равно не видно. А ночи, правда, совсем нет, «и изумленные народы не знают, что им предпринять, ложиться спать или вставать!».

Гете я еще не читала, т. к. все мучаюсь с водой, дровами, огородом, стиркой, приведением в порядок и отеплением жилища, да и на работе, где мне урезали наполовину мою и так небольшую ставку, в то же время забыли сократить рабочий день, т. ч. работаю не меньше, чем зимой, а зарплату в последний раз получила в апреле!

М. б. в конце концов работы у меня не так много, как мне кажется. Дело, очевидно, в силах, которых все меньше. Оттого и времени убиваешь значительно больше, чем нужно бы, на то, что раньше делалось походя.

Стихов от Лили еще не получила, не знаю, сумела ли она их разыскать до отъезда на дачу. Она выслала мне посылки со всяким моим старьем, но я еще не все получила, т. ч. м. б. стихи окажутся в какой-н[и]б[удь] из них. Писем от Лили давно не получаю, но по талончику от извещения на посылку узнала, что она переехала на дачу. Дай ей бог хоть немного поправиться, она ведь очень слаба, и я над ней дрожу – на таком огромном расстоянии. Разумом знаю, что мы с ней больше не увидимся, а все же надеюсь на чудо встречи.

Спасибо тебе, родной мой. Когда чуть очухаюсь, напишу тебе по-человечески. Сейчас пишу – как и все делаю в последнее время – через пень-колоду.

Целую тебя.
Твоя Аля

1 августа 1950. Дорогой Борис! Так давно не писала тебе – болела, с трудом выкарабкалась, и теперь опять вроде живу, хотя ноги еще слабые и кажутся поэтому чересчур длинными, вроде верблюжьих, или как в «Алисе в стране чудес». Здесь воистину страна чудес, только несколько дней, как хоть ненадолго стало закатываться солнце, и ему на смену выползает огромная багровая луна, страшная, точно конец мира, но небо еще совсем светлое, и, кажется, луна совсем ни к чему. Коротенькое лето уже прошло, почти без тепла, все в беспокойных дождях, ветрах, в сплошной «переменной облачности». И уже с севера всерьез тянет холодом, и солнце греет как-то поверхностно, не сливаясь с воздухом, а, главное, в не успевшей как следует потемнеть зелени, в ее еще по сути дела весенней, цыплячьей желтизне появляется уже настоящая осенняя ржавчина. Знаю, что скоро зима, что она неизбежна, что в сентябре уже снег и мороз, а еще не верится. Кажется, что еще долго по Енисею будут ходить пароходы, тащиться баржи, рыскать катера, что еще долго будут крякать утки, и ночью посвистывать кулики, и надоедать мошки и комары и что двери покосившихся хаток еще долго будут открыты и побледневшие до синевы за долгую зиму дети будут розоветь и подрастать на глазах, неумело играя в летние игры на сером, каменистом берегу. А всему этому счастью остались считанные дни, и в это не верится, как в смерть.

Ты очень давно не писал мне и, хоть предупредил в последнем письме о том, что летом будешь очень занят, мне все же тревожно. Правда, я еще не совсем такая безумная,

как Ася, которая вся состоит из тревог, предчувствий и вещих снов, но все же и я на этот счет слегка тронута. Когда долго нет писем – схожу с ума, а когда, наконец, получаю их и узнаю, что все живы и здоровы, то мне, неблагодарной, это кажется настолько естественным, что до следующего почтового перебоя свято верю в то, что все – хорошо, всем – хорошо, отныне и до века.

Ася пишет редко и под копирку, вписывая от руки обращение и финал, и в письмах ее столько жалкого, что заранее хочется отложить, не читая, якобы потому, что в почерке ее можно разобраться только на досуге. Я рада, что побывала у них под Вологдой, но тем не менее это был настоящий Эдгар По – даже хуже. От Лили за все лето не получила ни одного письма и с ужасом думаю о ее старости, о ее слабости, о сердце, которое скоро откажется служить, обо всем том, что осталось ею нерассказанным, последней старшей в семье, о родителях, ее и моих, о всей долгой жизни, которая так неотвратимо подходит к концу. Я очень, очень люблю ее, и просто так, и за необычайную ее чистоту и благородство, простоту и жизненность, и еще за чудесное несоответствие в ее лице трагических бровей и глаз с легкомысленным носом и легко смеющимся ртом. А главное – она старшая в семье, нескольким поколениям заменявшая мать и не знавшая материнства. Почему в нашей семье у всех женщин такие удивительные судьбы? Причем каждая из нас помимо своей – несет еще и груз остальных судеб, понимая их, вникая в них.

Я не помню, писала ли тебе о том, что мы с приятельницей, с которой ехали с самой Рязани и здесь вместе живем, купили маленький домик на берегу Енисея. Осуществить такое несбыточное мы смогли – она – благодаря домашним сбережениям, я – благодаря тебе. Домик – крохотный, комната и кухонька, сейчас своими силами пристраиваем сени, чтобы зимой было теплее. Окна – на восток, юг и запад.

По материалам, из которых он построен, домик вполне диккенсовский, так что совершенно невозможно угадать, как он будет переносить зимние непогоды и прочие бури. Во-первых – его может унести ветром (это зимой), а весной – унести водой. Впрочем, все остальные туруханские постройки такие же, и ничего себе, стоят. Наш домик оштукатурен и побелен снаружи и внутри. Мы обнесли его загородкой из жердей, чтобы не лазили мальчишки и коровы, вокруг посадили березки и елочки, но принялись только три деревца. Вид – чудесный, кругом спокойно и просторно, а главное – никаких хозяев, соседей, соглядатаев. Спасибо тебе за всё, дорогой мой!

Заболела я совершенно неожиданно дизентерией, видимо, от енисейской водички, которая хотя и светла и приятна на вкус, но летом пить ее не рекомендуется. Это ужасно противная болезнь, от которой так слабеешь, что каждое движение вызывает какое-то тошное, как наверное перед смертью, чувство. Какая тоска, когда тело перестает повиноваться, страдая и слабея, и с ним вместе страдает и слабеет душа, отказываясь от бессмертия и цепляясь за жизнь, да и так ли уж цепляясь? Но правда, наступил и в моей жизни период, когда гляжу вперед несмело, чувствуя, что сил остается все меньше. И вдруг получится так, что жизни будет больше, чем сил? Прости, что я такой нытик, вот встану на ноги, и душа будет бодрее. А сейчас так и тянет повыть на луну.

Крепко тебя целую и жду двух-трех слов на открытке.

Твоя Аля

8.9.50

Дорогой Борис! Все никак не удается написать тебе, а вместе с тем нет ни одного дня, чтобы не думала о тебе и не говорила бы с тобой. Но занятость и усталость такие, что всем

этим мыслям и разговорам так и не удается добраться до бумаги. Большое, хоть и ужасно запоздалое, тебе спасибо за твоего «Фауста». Для меня он – откровение, т. к. до этого читала (уже давно) в старых переводах, русских и французских, где за всеми словесными нагромождениями Гете совершенно пропадал, вместе с читателем. Я, любя твое, очень к тебе придирчива, но тут о придирках не может быть и речи – безупречно.

Вообще – прекрасен язык твоих переводов, шекспировские я все читала, ты, как никто, умеешь, помимо остального, передавать эпоху, не вдаваясь в архаичность, что ли, благодаря этому читающий чувствует себя современником героев, их язык – его язык. Необычайное у тебя богатство словаря. Фауста прочла сперва начерно, сейчас перечитываю медленно и с наслаждением, по-настоящему наслаждаюсь каждым словом и словечком, рифмами, ритмами и тем, что все это – живое, крепкое, сильное, настоящее.

Милый мой Борис, жестоко ошибаются те, кто не чувствует в твоем творчестве жизнеутверждающего начала. Тебе, конечно, от этого не легче! Не тот критик плох, который писать не умеет, – а тот, который не умеет читать!

Как всегда, пишу тебе поздно, как всегда усталая, и поэтому, опять-таки как всегда, не в состоянии рассказать тебе все, что хочется и так, как хотелось бы. Здешний быт пожирает все время без остатка, и в первую очередь то, что дается человеку для того, чтобы быть самим собою. А я – *я* тогда, когда пишу, иногда, когда рисую, иногда, когда читаю. Читать удается чуть-чуть за счет сна, а насчет писаний и рисования – ничего не получается, как ни пытаюсь отстоять хотя бы один час своего собственного времени в сутки.

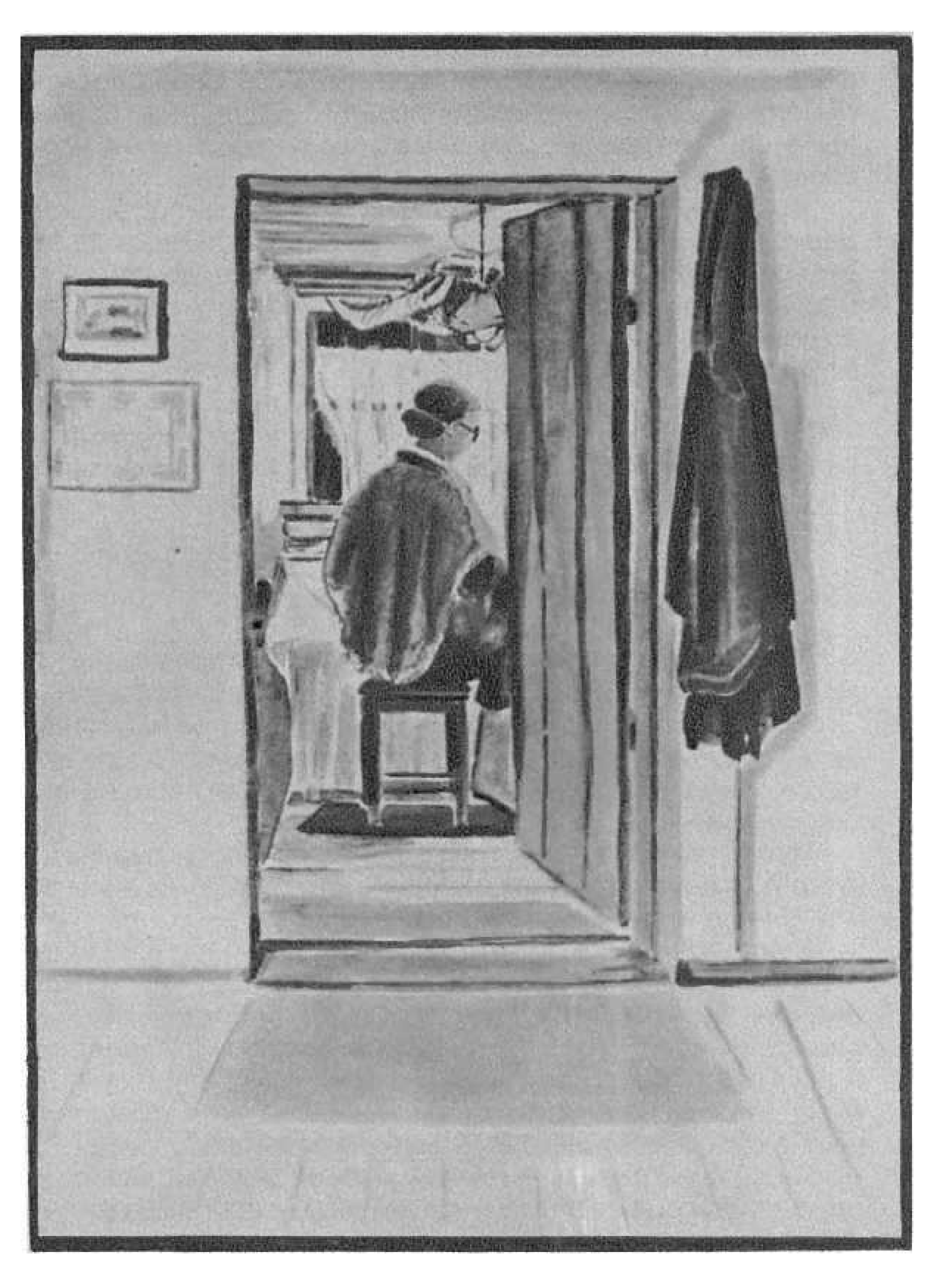
Но в жизни остается много радостного. В этом году здесь чудная осень, холодная и ясная, я несколько раз ходила в лес за грибами, за ягодами и чувствовала себя просто счастливой

среди золотых осин, золотых берез, счастливой, как в детстве, которое в памяти моей связано тоже с лесом. Как я люблю шелест листьев под ногами и пружинящий мох – мне всегда кажется, что мама – близко. Верующие служат панихиды по умершим, а я в память мамы хожу в лес и там, живая среди живых деревьев, думаю о ней, живой, даже не «думаю», а как-то сердцем, всей собою, близко к ней.

Благодаря тебе с жильем все у меня налажено и улажено, славный маленький домик на берегу Енисея, комната и кухня, живем вдвоем с приятельницей, и с нами собака. Пристроили сени, все оштукатурили снаружи и внутри, все – сами, и теперь все побелила, и известка так съела пальцы, что перо держу раскорякой, особенно большой и указательный пальцы пострадали. Все лето провозилась с глиной, навозом и пр. стройматериалами. Трудно, т. к. обе работаем, но зато надеемся, что зимой теплее будет, чем в прежней хибарке. И главное – ни хозяев, ни соседей, так хорошо! Осталось осуществить еще очень трудное – запасти топливо и картошку на зиму, особенно трудно с дровами, их надо очень много, а пока еще нет ни полена. Вот-вот начнутся дожди, а тогда к лесу не подступишься. Трудно здесь с транспортом.

Все домашнее делаю сама, готовлю, стираю, мою полы, таскаю воду, пилю, колю, топлю. Как вспомню о газе и центральном отоплении – завидно становится: сколько же свободного времени дают они людям! Боюсь, что в Туруханске такие вещи заведутся в самую последнюю очередь – когда правнукам, хоть не лично моим, а моих односельчан, надоест жить по старинке.

Скоро, очень скоро зима. Уже холод и тьма берут нас в окружение. Как-то удастся перезимовать! Скоро полетят отсюда гуси-лебеди, скоро пройдут последние пароходы – да что гуси-лебеди! Даже вороны улетают, не переносят климата!



Вид из сеней. Акварель А. С. Эфрон

Когда будет минутка, напиши хоть открытку, я очень давно ничего о тебе не знаю. Даже Лиля, и та чаще пишет. Жалуется она на дождливое лето. Надеюсь, дождь не помешал тебе хорошо работать и, работая, хоть немного отдохнуть от города. А я бы уже с удовольствием отдохнула от деревни.

На днях впала в детство – затаив дыхание смотрела «Монте-Кристо» в кино. Только, к сожалению, не дублировано, почему-то все говорили по-французски.

Крепко тебя целую. *Твоя Аля*

21 сент. 1950

Дорогая Аля!

Прости, что давно не пишу тебе, и не тревожься. Как здоровье твое? Боюсь об этом и думать, бедная ты моя.

Позволь не рапортовать тебе, откуда мое молчание, какие у меня бывают огорчения и отчего мне надо и нравится так нечеловечески гнать работы, свои собственные и переводные.

Писал ли я тебе, что за один июнь месяц перевел и сдал в отделанном и переписанном виде Шексп. «Макбета»? И все в таком темпе.

Была тревога, когда в «Нов. Мире» выругали моего «Фауста» на том основании, что, будто бы, боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все «иррациональное» передано слишком хорошо, а передовые идеи Гёте (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится.

Прости, и толкового письма жди от меня не скоро. На пристройку к енисейскому домику хочу послать тебе, но смогу не раньше ноября.

Бросаю писать, потому что ничего путного все равно не смогу сказать: не вижу подходящих эпистолярных форм.

Мне написала со своей дачи Елиз. Яковл., в письме тревожится о тебе и хвалит твою акварель с видом Енисея.

Как мы с тобой похожи! Все, что ты писала об Асе, об ее способе переписываться через копирку и об ее обстоятельности и пр., – в точности повторяется со мною.

Целую тебя *Твой Б.*

25 сентября 1950

Дорогой Борис! От тебя так давно нет ни слова, что я по-настоящему встревожена: здоров ли ты? Если здоров и даже если болен, то по получении этого письма напиши мне открытку для успокоения, пойми, насколько это выматывает силы, постоянно тревожиться о нескольких последних близких, оставшихся в живых. В самом деле – каждая весточка с «материка» прибавляет бодрости, они – последнее горючее для моего мотора («а вместо сердца пламенный мотор»!), каковой в это лето работает с большими перебоями.

А лето для здешних мест было хорошее, много дней подряд стояла ясная погода, и благодаря этому все тайное в природе становилось явным и было очень красиво. Только схватывать эту красоту удавалось урывками из-за постоянной, непрерывной занятости. «Мелочи жизни» заели окончательно и меня, и жизнь мою. В таком постоянном барахтанье, суете, борьбе за хлеб насущный я еще никогда не жила, хоть и приходилось по-всякому. Но всегда, при любых обстоятельствах, удавалось урывать хоть сколько-то времени «для души». Здесь – невозможно, и поэтому я всегда неспокойна, все мои до отказу заполненные дни кажутся безнадежно пустыми, обвиняю себя в лени, а на самом деле это совсем не так. Ты представляешь себе, какой ужас – трудовой день, результатом которого является только сытость и только сон!

Все спавшее во мне ранее до того дня, когда можно будет проснуться, теперь определенно проснулось и бодрствует вхолостую, с полным сознанием безвозвратности каждого проходящего часа, дня, месяца. А их прошло уже немало. Жить же иначе здесь невозможно, либо в живых не останешься, либо нужно выигрывать самую крупную сумму при каждом тираже каждого займа и жить чужим трудом, что всегда нестерпимо – даже мама, которая вполне имела на это право, всегда старалась все делать сама – как я ее понимаю!

Но все же надеюсь, что дальше будет легче, м. б. даже зимой будет оставаться свободное время на что-то свое, т. к. лето – сплошная подготовка к зиме, и таким образом теоретически зимой должно быть свободнее и спокойнее. Но как только вспомнишь, что зима тоже является подготовкой к лету, так и чувствуешь, что до конца дней своих так и будешь кружиться, сперва как белка в колесе, потом – как слепая лошадь, только не помню где, в чем кружатся слепые лошади, но знаю, что кружатся! Между прочим, кстати о белке, у меня была белка, сразу в клетке и в колесе, т. е. белка в квадрате. Я была маленькая, беличья клетка стояла на окне в моей детской, белка была рыжая с белой грудкой, и смотреть на то, как она крутится в колесе, было совсем неинтересно.

За лето мы с приятельницей, с которой живем вместе, утеплили и оштукатурили домик, в котором живем, сами пристроили к нему сени, которые также оштукатурили, – а это только написать легко! Строительный материал добыть было очень и очень нелегко, т. к. частным лицам такие вещи не продаются, но, в конце концов, притворившись организацией, кое-как купили необходимое количество горбылей, которые по одному нужно было притащить на себе. Потом всеми правдами и неправдами искали и находили гвозди. Потом заказали дверь, которую нам сделали сначала

слишком узкой, потом слишком короткой, но потом она как-то разбухла, села, одним словом, как-то исковеркалась и стала такой, как нужно.

Потом мучились со всякими замками, крючками, рамами, стеклами, планками, дранками и т. д.

Таскали из леса мох, из оврагов глину, собирали, делая вид, что это не мы, конский и коровий навоз для штукатурки и затирки, «то соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет». Все это – до и после работы, и плюс к этому – готовка, стирка, мытье полов и прочие мелкие домашние дела. И все – на себе, и картошка, и дрова, и вода – все нужно таскать. И все нужно рассчитывать и страшно экономить. И несмотря на то, что все делается своими руками, обходится это «все» очень дорого. Сейчас я больше всего на свете хотела бы жить в гостинице, желательно в Москве, ходить в музеи, в гости и просто по улицам. Я даже во сне всегда вижу город, города, в которых не бывала, но во сне узнаю, а сельская местность, слава богу, достаточно надоедает наяву, чтобы еще сниться.



Ариадна Сергеевна зарисовала свой домик после того, как его оштукатурили и побелили

Но в конце концов получился у нас славный маленький домик, белый снаружи и внутри, чистенький и даже уютный, когда прихожу с работы, всегда радуюсь тому, что угол – свой, никаких соседей и хозяев, тихо и кругом – просторный берег и во все три окошка видна большая, пока еще сравнительно спокойная река.

Были в лесу несколько раз, собрали довольно много грибов, насолили, намариновали, насушили. Варенья сварили три банки, можно было бы хоть три ведра, ягод достаточно, но сахар дорог. Ягоды здесь – черника, голубика, есть где-то брусника и морошка, но мест мы не знаем, а слишком углубляться в тайгу боимся, каждое лето кто-нб. пропадает, в этом году, например, заблудилась теща начальника милиции, ее искали и пешком и самолетами и так и не нашли.

Домик наш – самый крайний на берегу, под крутым обрывом. Слева есть соседи метров за 300, живут в землянке, справа – никого. Однажды ночью было очень страшно, нас разбудил отчаянный стук, сопровождавшийся отчаянным же матом. Мы не открывали – стук продолжался, потом ночной гость стал ломать дверь, сорвал крючок и ввалился в сени. Я, собрав остатки храбрости, заперла приятельницу в комнате, а сама вышла в сени. Нашла там вдребезги пьяного лейтенанта в мыльной пене и в сметане – когда он ворвался в сени, на него свалилась банка кислого молока, а сам он попал в ведро с мыльной пеной, оставшейся от стирки. На мои негодующие вопросы он ответил, что по его мнению он находится в горах на границе, где каждый житель рад приютить и обогреть озябшего пограничника. Я сказала, что кое-какие границы он, несомненно, перешел, и предложила ему отвести его в такой дом, где его приютят, обогреют и примут с распростертыми объятиями. Сперва лейтенант слегка упирался, считая наиболее подходящим для отдыха с обогревом именно наш дом, но потом сдался, я взяла его

под ручку и с трудом дотащила до... милиции, где сдала очень удивленному именно моим (у меня скорбная репутация женщины порядочной и одинокой!) появлением дежурному. И правда, одета я была легкомысленно – тапочки на босу ногу, юбка и телогрейка, распахнутая на минимуме белья. И под руку со мной мыльно-сметанный лейтенант. Но такие случаи здесь очень редки, так что, надеюсь, этот лейтенант был первым и последним.

Сейчас мучаюсь с дровами – на зиму нужно 20–25 куб., а у нас – только 5. Купили 5 кулей картошки.

Немножко очухиваюсь только в постели, когда, зажегши лампу, в полнейшей тишине перечитываю самые чудесные места твоего «Фауста» и еще кое-какие переводы. Ты прав – общий уровень переводов этого сборника – высок, и Гете освобожден от тяжеловесности переводов прошлого, а также от чужих вариаций на его тему. Какое счастье, что я совершенно лишена чувства зависти и ревности и совсем беспристрастна и бесстрастно сознаю, насколько я отстала от всяких хороших дел, в частности и от стихотворных переводов. До того заржавела, что сейчас ничего путного не смогла бы сделать, обеднел до ужаса мой словарь. Тем более радуюсь именно богатству словаря этих стихотворных переводов.

Моей приятельнице случайно прислали среди всяких стареньких носильных вещей маленький томик с золотым обрезом – Виньи «Стелло», по-французски. Вещь написана в 1823 г., а не перечитывала я ее уже больше двадцати лет. И сейчас перечла как бы заново, вспомнила маму, очень любившую эту книгу, рассказывающую о судьбах трех поэтов разных эпох – Жильбера, Четтертона и Шенье. Помнишь ли ты ее? Давно ли читал? Меня немного раздражал разнобой между темой и языком – язык какой-то чересчур «барокко» и весь в жестах, если можно так сказать. Но как страшно было быть *настоящим* поэтом в те далекие времена! И о своих

современниках и о своих предшественниках Виньи, пожалуй, справедливо говорит, что «Le Poéte a une malédiction sur sa vie et une bénédiction sur son nom»[21], но зато немало и дикого говорит с нашей сегодняшней точки зрения.

Итак, очень буду ждать хотя бы открыточки. Ты пойми, уже треугольники гусей улетают на юг, и такая неумолимая зима впереди, а тут еще и писем нет.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля

Ты знаешь, сегодня день рожденья папы и мамы.

30 сент. 1950

Дорогая моя Аля!

Я опять получил от тебя письмо, полное души и ума, про лес, про твою маму, про мои переводы. Я всегда кому-нибудь показываю твои письма, хвастаю ими, так они хороши.

Но зато я тебе пишу в последнее время пустые, бездушные, торопливые записки, лишенные содержания, просто, чтобы ты не думала, что я забыл тебя, и не беспокоилась.

Отчего, кроме недостатка времени, я стал в последнее время так тих и односложен, этого не объяснишь[22]

...неумелое выражение моей сущности, отнюдь не мрачной, а ясной и радостной, наводит на них тень и заражает превратно постоянными настроениями, что людям, которым и без того трудно, вредно слушать меня.

---

[21] Поэт рожден на муки, но имя его прославится.

[22] На оборванном листе приписка: (половина листка оторвана и сожжена мною тогда же, в 1950 или позже, в 1953 г. – *А. Э.).* На обороте – продолжение письма.

Может быть, это приступ мнительности, но вот именно я стал сдерживаться, чтобы как-нибудь не огорчить тебя большими посланиями. Прости меня.

Наверно, перед тем, как ты написала мне о Фаусте, тебе попался ругательный отзыв о переводе в Новом мире. Не тревожься, все это пустяки...

7 октября 1950

Дорогой Борис! Как я обрадовалась, увидев наконец твой почерк на конверте! В самом деле, твое такое долгое молчание все время грызло и глодало меня исподволь, я очень тревожилась, сама не знаю, почему. Наверное потому, что вся сумма тревоги, отпущенная мне по небесной смете при моем рождении на всех моих близких, родных и знакомых, расходуется мною теперь на 2–3 человек. Тревог больше, чем людей. Я не жду от тебя никаких «обстоятельных» писем, во-первых, потому, что не избалована тобой на этот счет, а во-вторых, знаю и понимаю, насколько ты занят. Но я считаю, что две немногословных открытки в месяц не повредили бы ни Гете, ни Шекспиру, а мне определенно были бы на пользу, я бы знала основное – что ты жив и здоров, а об остальном, при моей великолепной тройной интуиции (врожденной, наследственной и благоприобретенной) – догадывалась бы.

У нас с 28 сентября зима вовсю, началась она в этом году на 10 дней позже, чем в прошлом, когда снег выпал как раз в день моего рождения. Уже валенки, платки и все на свете, вся зимняя косолапость. Все побелело, помертвело, затихло, но пароходы еще ходят, сегодня пришел предпоследний в этом году. Две нестерпимых вещи – когда гуси улетают и последний пароход уходит. Гусей уже пережила – летят треугольником, как фронтовое письмо, перекликаются скрипучими, тревожными голосами, душу выматывающими. А какое это чудесное выражение – «душу выматывать», ведь

так оно и есть – летят гуси, и последний тянет в клюве ниточку из того клубка, что у меня в груди. О, нить Ариадны! В лесу сразу тихо и просторно – сколько же места занимает листва! Листва – это поэзия, литература, а сегодняшний лес – голые факты. Правда, деревья стоят голые, как факты, и чувствуешь себя там как-то неловко, как ребенок, попавший в заросли розог. Ходила на днях за вениками, наломала – и скорей домой, жутко как-то. И белизна кругом ослепительная. Природа сделала белую страницу из своего прошлого, чтобы весной начать совершенно новую биографию. Ей можно. А главное, когда шла в лес, то навстречу мне попался человек, про которого я точно знала, что он умер в прошлом году, прошел мимо и поздоровался. Я до сих пор так и не поняла, он ли это был или кто-то похожий, если он, значит – живой, если нет – то похожий, и тоже живой.

Здоровье ничего, только сердцу тяжело. Это такой климат – еще севернее – еще тяжелее. На пригорок поднимаешься, точно на какой-н[и]б[удь] пик, а ведро воды, кажется, весит вдвое больше положенного – вернее, налитого. Лиля прислала мне какое-то чудодейственное сердечное лекарство, от которого пахнет камфарой и нафталином и еще чем-то против моли. Я не умею отсчитывать капли и поэтому глотаю, как придется, веря, что помогает, если не само средство, так то чувство, с которым Лиля посылала его. А вообще живется не совсем блестяще, т. к. моя приятельница, с которой живу вместе, больше не работает и мы неожиданно остались с моей половинной ставкой pour tout moyen d'existence[23], т. е. 225 р. в месяц на двоих, с работой же очень трудно, т. к. на физическую мы обе пойти неспособны, а об «умственной» и мечтать не приходится. Как ни тяжелы мои условия работы, как ни непрочна сама работа, я буквально каждый день и час

[23] И больше никаких средств существования.

сознаю, насколько счастлива, что есть хоть это. Кроме того, я очень люблю всякие наши праздники и даты, и вся моя жизнь здесь состоит из постоянной подготовки к ним.

Хорошо, что пока мы обе работали, успели подготовить наше жилье к зиме, обзавестись всем самым необходимым – у нас есть два топчана, три табуретки, два стола (из которых один мой собственный, рабочий), есть посуда, ведра и т. д. Есть 5 мешков картошки и полбочки капусты насолили (здесь у нас не растет, привезли откуда-то), кроме того насолили и намариновали грибов, и насушили тоже, и сварили 2 банки варенья, так что есть чем зиму начать. Только вот с дровами плохо, смогли запасти совсем немного, а нужно около 20 кубометров. Тебе, наверное, ужасно нудно читать всю эту хозяйственную ахинею, но я никак не могу удержаться, чтобы не написать, это вроде болезни – так некоторые всем досаждают какой-н[и]б[удь] блуждающей почкой или язвой, думая, что другим безумно интересно.

Статьи о «Фаусте» я не читала, а только какой-то отклик на нее в «Литературной газете», писала тебе об этом.

Дорогой Борис, если бы ты только знал, как мне хочется домой, как мне ужасно тоскливо бывает – выйдешь наружу, тишина, как будто бы уши ватой заткнуты, и такая даль от всех и от всего! Возможно, полюбила бы я и эту даль, м. б. и сама выбрала бы ее – *сама!* Когда отсюда уходит солнце, я делаюсь совсем малодушной. Наверное, просто боюсь темноты!

Крепко тебя целую, пиши открытки, очень буду ждать. Если за лето написал что-нб. свое, пришли, пожалуйста, каждая твоя строчка – радость.

Твоя Аля

Недавно удалось достать «Госпожу Бовари» – я очень люблю ее, а ты? Замечательная вещь, не хуже «Анны Карениной». А «Саламбо» напоминает музей восковых фигур – несмотря на все страсти. Да, ты знаешь, есть еще один Пастернак, поэт, кажется литовский или еще какой-то, читала его стихи в Литер, газете.

10 октября 1950

Дорогой Борис! Сегодня получила твое второе, почти вслед за первым, письмо, и хочется сейчас же откликнуться, хоть немного, сколько позволяет время, вернее – отсутствие его. Твое письмо очень тронуло и согрело меня, больше – зарядило какой-то внутренней энергией, все реже и реже посещающей меня. Спасибо тебе за него. Нет, я не читала отзыва в «Новом мире», а только отзыв на отзыв в «Литературной газете». Я и этим слабым отголоском той статьи была очень огорчена, не потому, что «выругали» то, что мне нравится, а оттого, что у критика создалось впечатление, по моему мнению, настолько же ложное, насколько «научно обоснованное», я не поверила в ее, критика и критики, искренность, что меня и огорчило главным образом. В твоем «Фаусте» преобладает свет и ясность, несмотря на все чертовщины, и столько жизни и жизненности, даже здравого смысла, что все загробное и потустороннее тускнеет при соприкосновении, даже, несмотря на перевод, чуть отдает бутафорией. (Занятная это, между прочим, вещь – этот самый Гетевский здравый смысл, в конце концов, всюду и везде преодолевающий стиль, дух времени, моду, фантазию, размах. Что-то в нем есть страшно terre-á-terre[24], и его «бог деталей» с деталями вместе взятый – очень хозяйственный дядя,

---

[24] Приземленное.

все детали ладно пригнаны и добротны, а остальное – украшение, позолота. Так чувствуется, что именно в «Германе и Доротее» он у себя дома, да и в «Страданиях молодого Вертера», там, где еще только дети и бутерброды и самоубийством еще не пахнет. И фаустовские чертовщины, если разобраться, и не подземны, и не надземны, и сами духи в свободное от служебных дел время питаются здоровой немецкой пищей. Между прочим, не люблю я Маргариту его, она слабее всех остальных.) Да, так вот, весь этот Гетевский здравый смысл, жизненность его, грубоватый реализм даже в нереальном, я впервые узнала именно из твоего перевода (а читала их до этого немало, все были малокровными и многословными), из чего совершенно справедливо заключено, что именно тебе удалось донести до читателя «передовые идеи» Гете и что критик из «Нового мира» плохо вчитался и еще хуже того написал.

Ты, конечно, ужасно неправ, говоря о том, что «не приносишь счастья своим друзьям» и т. д. И, конечно, это просто мнительность (сверх-!) и сверхделикатность по отношению к друзьям. Ты и в горе остаешься светлым и добрым, именно это в твоих письмах (и в тебе самом!) дает ту зарядку, когда читаешь их, о которой говорила выше. Трудно это все выразить, определить, мысли мои, от недостатка общения с людьми, от невозможности писать, ужасно расплывчаты, и как чувства, плохо поддаются описанию. Но мне думается так – пройдет время, и внуки теперешних критиков будут писать об оптимистичности твоего творчества, им легко будет доказать ее, это будет бесспорным, как бесспорна сейчас возникшая из раскопок древняя Греция. Утешительно ли это, когда живешь и дышишь именно сегодня, – не знаю, но знаю, что это удел избранных, бесспорный и вечный, как звездное небо. Почему я так тянусь к тебе, так глубоко радуюсь твоим письмам, так чувствую себя самой собой, когда думаю о тебе

и пишу тебе? Не только потому, что ты – старый друг, что твое имя навсегда связано у меня с маминым, что я люблю тебя за них и сама – и еще и оттого, что я, ничего не создавшая, зрячая и слышащая, но немая, ничего никогда не сотворившая, тянусь к тебе, как к творцу, тянусь к твоему земному (единственному, в которое верю, наиблагороднейшему, ибо – делу рук человеческих) – бессмертию. Очень я люблю и уважаю тебя и за то, что ты не зарыл свой талант в землю, и за то, что ты не сделал ему мичуринской прививки, и вообще за все на свете. Прости меня за мою проклятую бессвязность и за всю бестолковость, с которой я пытаюсь высказать то, что так стройно складывается в голове! И не думай, что, как ты написал мне однажды, я пытаюсь «завязать роман на расстоянии» (написал-то ты не так, но смысл был приблизительно таков). Нет, это все вне всяких романов, как окружающая меня сейчас северная ночь, как волочащий льдины на своем стальном хребте Енисей, как тисками охватившее холодную землю небо, пронзенное звездами.

А все-таки трудно живется, честное слово. Жизнь как-то изнашивается, понимаешь, не столько я сама, как именно моя жизнь, так должно быть или перед смертью, или накануне какой-то другой жизни. Мне просто снится иногда, что я вновь в Москве, и никакой иной жизни мне не хотелось бы. Это – единственный город, к которому привязано мое сердце, остальные в памяти, пусть я к ним несправедлива, – как альбомы с открытками. От Москвы начинается мое чувство родины и, описав огромный круг по всему Советскому Союзу, возвращается к ней же. Так у меня было и с мамой, жизнь моя началась любовью к ней, тем и кончится – от чувства детского, наполовину праздничного, наполовину зависимого (от нее же) до чувства сознательного, почти что, после всего пережитого, на равных правах (с нею же).

Сегодня вечером пришел последний пароход – по темной реке, по которой идет «шуга» – легкий светлый ледок,

из которого через несколько дней сольется, спаяется зимний панцирь, противного цвета свежемороженной рыбы. Славный нарядный пароходик, похожий на те, что ходят по Москва-реке, шел, расталкивая льдины, везя последних пассажиров, последние грузы – до следующей весны. Коротенький промежуток от зимы до зимы, небольшой скачок времени со льдины на льдину, неужели же так оно и будет до конца дней!

Скоро начинается серия зимних праздников, я ужасно много работаю, устала сверх всякой меры, зарабатываю обидные гроши и, несмотря на это последнее обстоятельство, держу дома двух щенков с их мамашей и кота. Кот никаких мышей не ловит, щенки спят в ящике с песком и гадят везде, что вносит некоторое разнообразие в мое весьма монотонное существование. У нас 1 ч. ночи, у вас – только 9 ч. вечера. Целую тебя.

Твоя Аля

Если возможно, пришли что-нб. новое твое, давно ничего не присылал!

8 ноября 1950

Дорогой Борис! Спасибо тебе, я все получила, и, как всегда, очень во-время. Не могла сразу отозваться из-за предпраздничных дел – работала ужасно много и ужасно беспрерывно весь октябрь и начало ноября, и сегодня, в первый день, когда можно слегка очухаться, чувствую себя неуверенно и расхлябанно, как после болезни. Большая есть прелесть в донельзя заваленных работой днях, когда все заданное понемногу поддается твоему упорству, прелесть не меньшая, чем в днях сплошного отдыха, когда сам поддаешься свободному времени, книгам, природе. Только теперь таких дней почти совсем не бывает, вечно угнетает сознание несделанного

и неоконченного. Раньше я была несколько менее щепетильна на этот счет, и лучше было, легче.

Холода у нас нестерпимые, вчера, в день 33-й годовщины Октября, было 52° мороза, так что пришлось отменить митинг и то подобие демонстрации, что бывает у нас в праздничные дни, когда позволяет погода. Мне было очень жаль, потому что нигде после Москвы я так не чувствую и не ощущаю праздников, как здесь, именно потому, что здесь так глухо и далеко, снежно и тихо, да и вообще в Москве праздновать немудрено, Красная площадь уже сама по себе праздник, ей отроду идут сборища и знамена, здесь же красные полотнища лозунгов, флагов, знамен радуют как-то особо, как свет в окошке, признак жилья, как признак того, что не только труд есть на свете, а еще и общая радость, пусть ограниченная сугробами!

И так вот все время с середины октября – морозы, морозы, морозы. Просыпаемся в морозном тумане, сквозь который, на небольшом расстоянии друг от друга, еле просвечивают солнце с луной и еще две-три огромных, неподвижных, как в Вифлееме, звезды. Дышать невозможно, глотаешь не воздух, а какой-то нездешний сплав, дырявящий грудь. Все звенит – и поленья дров, которые, обжигаясь от мороза, хватаешь в охапку, и снег под ногами, и далекий собачий лай, и собственное дыхание, и дым, вылетающий из трубы. Туман не рассеивается и днем, только светлеет, вечером же опять то же самое, солнце, луна и три ярких звезды, и опять то же самое, только без солнца. Через несколько дней, наверное, начнется пурга, вместо знакомых, скрипучих, как свежая капуста под ножом, тропинок, встанут горбатые, с острым хребтом, сугробы, и наш домик совсем увязнет в снегу. Несмотря на такие холода, Енисей еще не совсем скрылся подо льдом, еще кое-где видна живая вода, почему-то совсем золотая под серебром льда, так что похоже на оклад с огромного образа.

И вот эти кусочки фольги – воды – дымятся, от них идет пар, сливаясь с туманом. Вообще – красиво, только трудно терпеть такой холод.



Ариадна Сергеевна оформляет стенную газету

Тунгуска же стоит давно и прочно, и надолго. Через нее возят сено, накошенное на том берегу и оставленное до морозов, возят дрова, и то и другое чаще всего на собаках. Лайки уже давно обросли зимней непроницаемой и непродуваемой шерстью и сами похожи на возы с сеном, которые таскают.

Спят они на снегу, пряча черный нос в белый хвост, когда проходишь мимо, лениво открывают карий круглый глаз и опять дремлют. Они никогда не кусаются и, несмотря на свое название, очень редко лают. У нас тоже есть собачонка, только не настоящая северянка, а так, вроде дворняжки. Шерсть у нее не такая густая, как нужно бы здесь, поэтому она живет вместе с нами дома, но сторожит хорошо – лает и даже кусается. Есть у нас и сибирский кот Роман, которому живется неплохо, несмотря на то, что единственная, одолевавшая нас мышь поймана и съедена им уже больше двух месяцев тому назад. Вместо мышей он ловит пса за хвост и всякие мои бумажки и рисунки гоняет по комнате. Недавно было у нас три щенка, дворняжкины дети, но так как они вносили чересчур большое оживление в нашу тихую жизнь, мы их благополучно пристроили в хорошие семейные дома и теперь от них и без них отдыхаем.

Ничего мне не удалось ни сделать, ни прочесть за этот предпраздничный месяц. С самого раннего утра и до самой поздней ночи я писала лозунги, и еще и еще лозунги, оформляла стенные газеты и доски почета и в конце концов выучила наизусть все существующие призывы и проценты выполнения плана по рыбодобыче и пушнозаготовкам, все полагающиеся цитаты и т. д. Около двух недель болела – держалась высокая температура, но работать все равно нужно было, что с нею, что без, как угодно. В конце концов прошло, как и пришло, само собой. В этом году что-то никто меня не ругал и ничего не заставляли переделывать, сама не знаю, почему. Обычно перед праздниками всегда ругают, торопят и всем недовольны, и не потому что «плохо», а потому что «не нравится», причем одному не нравится то, а другому это, и трудно бывает работать в таких условиях. Вообще нелегко. Теперь с 1-го ноября я буду получать полную ставку, а то уже много месяцев получала только полставки. Так что будет

полегче, я очень довольна, хоть и полная моя ставка не ахти, но все же хорошо. На присланное тобой я купила дров и наняла двух пильщиков, которые дрова распилят, расколят и сложат, хоть и не тяжелая эта работа, но очень одолевает мороз и не хочется делать самой, когда есть возможность. И еще у меня остались деньги в запас на всякие текущие нужды и дела. Главное, что удалось купить дров, без них здесь в самом деле, в самом буквальном смысле слова не проживешь. Спасибо тебе, дорогой мой, за все данное тобой тепло. Как оно облегчает жизнь!

А сейчас я перечитываю – с неизменным удовольствием – «Тома Сойера»; хотя с самого детства помню эту книгу не только наизусть, но даже в разных вариантах разных переводов наизусть. Так, например, в той книжке, что была у меня в детстве, в воскресной школе девочка декламирует стишки «У Мери был ягненочек», а в переводе 1949 г. «У Мери был барашек», одно и то же, а ведь ягненочек лучше, ибо барашек что-то съедобное, а ягненочек явно «воскресная школа».

Нам, Туруханску, все же повезло благодаря ранней зиме: последний пароход вез еще дальше на Север яблоки и лук, а сгрузил у нас, т. е. боялся не дойти до последней пристани (совсем по-библейски звучит!), и поэтому впервые за долгие годы продавался здесь настоящий лук и настоящие живые яблоки!

В нашем маленьком домике сейчас хорошо, тепло и уютно, я просто счастлива тому, что есть свой угол, без ведьм и домовых в лице квартирных хозяев и прочих соседей. Дров есть около 10 куб., т. е. половина зимнего запаса, есть картошка и даже кислая капуста, и есть грибы, соленые, сушеные и маринованные, и даже немного черничного варенья есть. Так что по сравнению с прошлой зимой все, тьфу, тьфу, не сглазить, лучше, и все благодаря тебе. Наша летняя возня по ремонту и утеплению домика оказалась весьма полезной,

т. к. пока что нигде не дует и не промерзает, даже в пятидесятиградусные морозы. Тебе, наверное, ужасно скучно читать все эти хозяйственные подробности, я же пишу просто с увлечением, и мне кажется очень интересной тема «покорения Севера» даже в таких миниатюрных масштабах!

Очень прошу тебя, когда будет возможно, пришли что-нб. свое из написанного и переведенного.

Крепко целую тебя.

Твоя Аля

5 дек. 1950

Аля, родная, прости, что я так редко и мало пишу тебе, настолько реже и меньше, чем хотел бы, что кажется, будто не пишу совсем. Не сочти это за равнодушие или невнимание.

В конце лета я полтора-два месяца писал свое, продолжение прозы, а теперь по некоторым соображениям решил двинуть вперед перевод второй части Фауста. Это нечто вроде твоих лозунгов, подвигается медленнее, чем у меня в обычае, непреодолимо громоздкая смесь зачаточной и оттертой на второй план гениальности с прорвавшейся наружу и торжествующей Вампукой. Вообще говоря, это труд, решительно никому не нужный, но так как нужно делать что-нибудь ненужное, лучше буду делать это.

Алечка, все это я написал для того, чтобы записать чем-нибудь эти пол-страницы. То, что я хочу сказать тебе, выразимо в нескольких строках. Жизнь, передвижения, теснота квартир научили меня не загромождать жилья, шкапов и ящиков стола книгами, бумагой, черновиками, фотографиями, перепиской. Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все это, ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она в ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастью, растаскивают).

Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что кроме тебя я ни с кем не был знаком.

Ты опять поразительно описала и свою жизнь, и северную глушь и морозы, и было бы чистой болтовней и празднословием, если бы я упомянул об этом только ради похвал. Вот практический вывод. Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила и даже ни пугала временами, он вправе с легким сердцем вести свою, с детства начатую, понятную и полюбившуюся линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя.

Радуйся, Аля, что ты такая. Что твои злоключения перед этим богатством! Крепко тебя целую.


Твой Б.



«...за ночь домик наш обрастает сугробами выше крыши...»
Рисунок А. С. Эфрон

6 декабря 1950

Дорогой мой Борис! Трудно преодолевают наши с тобой весточки все эти снега и пространства – нет писем ни к тебе, ни от тебя. Ты, конечно, беспредельно занят, меня тоже одолевает работа – чуть ли не больше, чем я ее. Изо дня в день в спешке по мелочам, без отдыха, с головой, загроможденной всякими неизбывными недоделками и переделками, даже сны из мелочей, как разрозненное лото или головоломка. Оказывается, «бог деталей» – свирепое существо, и я чувствую себя очень несчастной потому, что из мелочей, которым отдаю все свое время, а значит, и всю себя, ничего цельного, целого не получается. Все какие-то черепки. Правда, месяцы сейчас идут самые праздничные, значит – самая работа. Уже в январе будет полегче. Эта зима совсем не похожа на предыдущую. Тогда было сплошь морозно-нестерпимо! а нынче – пурга, бураны, вихри, все в однообразном движении, за ночь домик наш обрастает сугробами выше крыши, вместо вчерашних тропинок – гора снега, вместо вчерашних снежных гор – какие-то пролежни, голая земля с попытками прошлогодней травы – ветром сдуло. Кажется, совсем рядом, где-нб. на полюсе пустили огромный пропеллер и – вот-вот полетим! Потом небольшая передышка в 2–3 дня – ясных, как настоящий божий день, все на местах, все бесспорно и прочно – движутся по белому фону только люди, лошади и собаки. И опять все вверх тормашками, шиворот-навыворот – подул ветер «с Подкаменной» («Подкаменная Тунгуска» – это река) – опять пурга. И все это вместе взятое – великолепно. Великолепны небеса летные и нелетные, звездные и забитые до отказу облаками, великолепна земля – то прочно звенящая под ногами, то полная снежных подвохов, чудесен ветер, тот самый, пушкинский, «вихри снежные крутя». А чудесно это все главным образом потому, что в нашем маленьком домике очень тепло и уютно, есть дрова под навесом, и стихии

остаются по ту сторону – домика, дров и навеса. В прошлом же году стихии очень легко забирались в дырявую хату, и поэтому любовалась я ими гораздо меньше, чем теперь.

Завтра мы ждем приезда – вернее прилета – нашего кандидата в депутаты краевого совета, я написала ужасно много лозунгов и к этому дню в частности и к предвыборной кампании вообще. Уже по всему городку собирают всякие колокольчики и бубенчики, и опять будет чудесно, как в прошлом году, – настоящий праздник. Нигде так не чувствуешь праздник, как в Сибири, не знаю, почему. Вероятно, тут люди проще и непосредственнее, и самый настоящий снег, и будни скучнее. Ну, ты представляешь себе – среди снежных будней вдруг тройки с бубенцами, лозунги, флаги, знамена, крики и клики, и все это в самом деле, не в кино.

А несколько дней тому назад к нам приехали тунгусы на нескольких оленьих упряжках и разошлись по своим делам, осталась с оленями только миловидная плосколицая женщина с темной матовой кожей и глазами нежными и блестящими, как у оленя, была она в вышитых бисером и украшенных цветными лоскутками меховых мягких сапожках – торбазах и в длинной оленьей шубе с капюшоном и без застежек, прямо через голову надевается. Это было как в сказке – лес оленьих рогов над прелестными палевыми оленьими мордами, и сами олени, светлые, в коричневато-золотистых пятнах, и один-единственный среди них совершенно белый, прямо серебряный, волшебный, драгоценный, свадебный олень.

В нашем клубе как раз к зимнему сезону не оказалось художественного руководителя, и мне разрешили организовать драмкружок «в плане общественной нагрузки». Я поставила два скетча, которые прошли неплохо, а сейчас мы взялись за «Лекаря поневоле». С первых же шагов меня постигла неудача, – ребята наотрез отказались выступать в коротких

штанах и чулках («просмеют!») и предложили мне на выбор – брюки штатские, военные, флотские и летные с голубой полоской – сапоги, ботинки, меховые унты или валенки. Мольер пошевелился в гробу, поднялась очередная пурга, но увы, ребята пока что непреклонны – я очень тревожусь за оформление спектакля!



Ариадна Сергеевна с котом Романом



А. С. Эфрон и А. А. Шкодина в своей кухоньке

Устала я ужасно, сна мне не хватает, а, казалось бы, когда же отсыпаться, как не в декабрьские ночи? День сейчас такой коротенький, но все равно ослепительный, как вспышка магния. А летом спать совсем нельзя, слишком светло, никто не спит.

У меня есть собака и кот, когда я прибегаю в обеденный перерыв, меня встречают два умильных существа – одно лежит на пороге, как полагается сторожу, второе вылезает из печки, как домовой. Вообще же никто у меня не бывает и я никуда не хожу, некогда и не хочется. Живу я, видимо,

одиноко, но одиночество никогда меня не тяготит и тяготить не будет, пока трудоспособна. А нетрудоспособной и жить не буду. Так все ничего, только сердце с климатом не ладит – авось привыкнет.

А по радио передают, что в Москве все +2° да –2°, завидно и смешно, вот так зима! Вообще же по радио нам 4 раза передают урок гимнастики – из разных городов Советского Союза, потом много всякого для младшего, среднего и старшего школьного возраста, и все московское кончается для нас в 8 ч. вечера по московскому времени – тогда у нас полночь. Да и не только московское, а вообще радиоузел спать ложится.

Прости за всю эту чушь. Крепко тебя целую.

Твоя Аля

12 февраля 1951

Дорогой мой Борис! Почему ты совсем ничего не пишешь (имею в виду мне)? Я знаю, что времени не хватает, на собственном опыте знаю, но от этого не легче. Я соскучилась по твоим письмам, даже по одному виду конвертов, надписанных почерком настолько крылатым, что кажется – письма твои преодолевают все эти пространства без помощи каких бы то ни было «авиа». У меня же с письмами получается так: раньше у меня было чувство, что я ими радую тех, кому пишу, таким образом в писании их заключалась частица *долга,* вечный стимул. Теперь же, когда пишу их, то радую главным образом самое себя – это моя отдушина, мой «глазок» в мир. *Долг* перешел в другое – в работу, в дрова, в хозяйственные дела, и письма, ставшие только моим удовольствием и развлечением, на цыпочках отошли на последнее место, понимаешь? У меня еще ни разу не было случая, чтобы я не успела написать лозунг, почистить картошку, наколоть дров, вымыть пол, а вот письма – не успеваю. Я, конечно, пишу это

тебе вовсе не для того, чтобы вызвать твои опровержения, вроде того, что, мол, мои весточки безумно радуют тебя, нет, говорю об этом потому, что оно действительно так и есть на самом деле, если вдуматься. Да и не вдумываясь – тоже.

Эта зима показалась мне просто ужасной, несмотря на то, что довольно бодро борюсь с ней и одолеваю ее. М. б. и предыдущая была не лучше, но я сгоряча ее не раскусила, как следует, или же просто с каждым годом выдыхаюсь все более, но только осточертели эти пятидесятиградусные морозы, метели, душу и тело леденящие капризы сумасшедшей природы и погоды. Каждый шаг, каждый вздох – борьба со стихиями, нет того, чтобы просто пробежаться или просто подышать! И плюс ко всему – темнота, а я ее от роду терпеть не могу, она ужасно угнетающе действует, хоть и прихорашивается звездами, северным сиянием и прочими фантасмагориями. Мрак и холод – а православные-то дурни считают, что грешники обязательно должны жариться, кипеть и еще вдобавок лизать что-то горячее. Впрочем, грешницей себя не считаю, чистилища – зала ожиданий – не признаю, а если праведница, то по моему месту нахождения рай, выходит, очень прохладная штучка! А в общем, ничего не скажешь – красиво, великолепно задумано и великолепно осуществлено творцом, только вот насчет освещения и отопления плохо позаботился. Кстати, этот старик все-таки, по-моему, и не довел до конца ни одного своего хорошего начинания.

Чудесным контрастом зиме – черной и ледяной – наш домик, маленький, теплый и милый, как живое существо. Он стоит под горой, под защитой от ветров, а кругом такая безбрежность, что почти – небытие. Ни рек, ни берегов, ни неба, все едино в пургу, в мороз, в ночи. А что будет весной, когда тающий снег пойдет потоками под обрыв, к нам, навстречу же придет Енисей? Я надеюсь, что он будет

плескаться у порога, а потом тихонечко отойдет вспять, но может быть и иначе – огромные глыбы льда выворачивает он на берега весною, глыбы значительно более увесистые, чем наш домик!

Работаю по-прежнему много, по-прежнему устаю и как-то вся от этой усталости тускнею. Здоровье мое не по климату, и климат не по здоровью, но все же скриплю пока что довольно успешно. Во сне вижу только Москву и только города, наяву – только сельскую местность. Читаю мало и все какие-то неожиданные открытия делаю. Перечла Бальзака и в ужас пришла, фальшивка, дешевка, но, как всегда у французов, с проблесками настоящего. Вот они, тысячи тонн словесной руды! А ранний Алексей Толстой – сплошной сценарий для немого кино! А вечный – будь он ранним или поздним – Лев Толстой! Вообще пришла к выводу, что писатели, самые лучшие, самые настоящие – в большинстве случаев очень злые люди. Дар наблюдательности – злой дар. Тургеневские герои, за исключением нескольких девичьих образов – написаны так, будто у автора личные счеты с каждым из них. А Лев Толстой-то какой злой! И вообще – чем лучше, тем злее. Добрые только Горький да Роллан, Чехов же был бы злым, да жалко людей огорчать, читающих и написанных. Прости, дорогой Борис, за всю эту ахинею – пишу и на часы поглядываю, пора кончать, еще ничего не начав толком, и опять Марфа тянет Марию за край одежды и «ставит ей на вид» все неизбывные хозяйственные недоделки. Так как я на старости лет начинаю забывать все на свете («слабеет разум, Таня, а то, бывало, я востра»...), то сейчас толком и не знаю, которая из них была «домохозяйкой». У мамы об этом неплохо сказано: «обеих бабок я вышла внучка: чернорабочий и белоручка».

Крепко тебя целую, жду вестей.

Твоя Аля

5 марта 1951

Дорогой Борис! Очень обрадована твоим письмом, приободрена и внутренне собранна им, правда! Во всех твоих письмах, даже самых наспех написанных, даже самых гриппозных, столько жизнеутверждающего начала, столько неведомого душевного витамина, что они действуют на меня вроде аккумуляторов, я ими заряжаюсь – и дальше живу.

Не знаю почему, но эта зима дается мне труднее предыдущей, хотя живется несравненно легче – домик теплый и «свой собственный», значит – по-своему уютный, не лишенный андерсеновской и диккенсовской прелести, которая еще более заметна благодаря контрасту с окружающей природой, ее размаху, суровости и титаническому однообразию ее проявлений. Снег, ветер, мороз, пурга, и опять сначала. И вот меня ужасно утомляет это постоянное единоборство со стихиями, или бушующими, или замирающими в почти нестерпимых морозах до нового неприятного пробуждения. Я просто физически устаю от продолжительности этой зимы, от ее ослиного упрямства, от ее непреоборимого равнодушия. С одной стороны, я уже настолько привыкла к ней, что дикая ее красота перестает на меня действовать, а с другой, настолько не отвыкла от всего остального, что не могу не чувствовать ее безобразия.

Одним словом, как говорят французы, шутки хороши только короткие, так же и зимы.

Но вдруг температура поднимается до –15°, –20°, и всем нам кажется – весна! Мы расстегиваем воротники, дышим полной грудью, оживаем, щурясь от солнца, озираем свои владения – голубовато-серые обветренные деревянные домики под белыми лохматыми ушанками крыш, твердо-утоптанные дороги, дорожки и тропинки, полоску тайги, отделяющую небо от земли, кручи и скаты енисейских берегов, и, господи,

до чего же все хорошо и красиво! А потом опять задувает отвратительный северный ветер и начисто сбривает все наше благодушие...

Март же здесь такой, что даже кошки его не считают своим месяцем – никаких прогулок по крышам, сидят на печках, а то и внутри, жмутся к теплу и ни о чем таком не думают.

Но вот звезды здесь поразительные. Вчера возвращалась поздно с работы домой, было сравнительно тепло и очень тихо, чудная звездная ночь поглотила меня, растворила меня в себе, выключила из меня все, кроме способности воспринимать, ощущать ее. Я, казалось, спокойно вошла в великое движение светил, и вселенная мне стала понятной и своей изнутри, а не снаружи, не как, скажем, человеческий организм хирургу, а как весь организм какой-нибудь части его, понимаешь? И тьмы не стало, не то что появился свет, нет, просто тьма оказалась состоящей из неисчислимого количества световых точек, т. е. «тьма» светил, количество их и давало иллюзию темноты земному моему зрению.

Нет, это, конечно, все не то и не так. Рассказывать о звездах дано только музыке и очень немногим поэтам. Да и что говорить о них – они о себе лучше скажут!

Нет, все же это было чудесно, эта ночь, эти звезды и доносящийся с земли мирный и мерный звук движка, дающего электроэнергию соседнему колхозу!

Конечно, страшно перечесть, а поэтому не буду. Крепко тебя целую, желаю тебе сил – физических, духовных, творческих, а остальное – приложится! Пиши!

Твоя Аля

О деньгах не беспокойся, во-первых, ты мне ничего не обещал, во-вторых, когда бывает очень трудно, я сама прошу, а не прошу – значит, не трудно. Целую.

2 апреля 1951

Дорогой мой Борис, спасибо тебе. Теперь я могу безбоязненно встретить такую всесторонне трудную в здешних условиях весну. Весна здесь – это подготовка к будущей зиме, сплав леса, ремонт жилья и прочие тяжести (это только в плане своем, домашнем, не считая текущей работы и всяческих общественных нагрузок). И ты, родной мой, всегда тут как тут, в любое тяжелое для меня время, и я не чувствую себя одинокой в своей постоянной борьбе с постоянными бытовыми стихиями.

Ася вернулась домой, операции ей не делали, она прошла длительный курс лечения, зрение несколько улучшилось, но общее состояние – нет, а как раз от общего состояния и зависит главным образом ее зрение. В июне-июле она ждет к себе невестку с детьми, Андрей же, видимо, подпишет договор на несколько лет в отъезд, как сама она работала в ДВК. Ася с одной стороны рада их приезду, с другой – беспокоится, сможет ли Нина устроиться там на работу, сможет ли Ася присматривать за младшей девочкой (будет ли в состоянии) и т. д. А главное – у нее большой огород, который она должна будет посадить до приезда Нины, и Ася не представляет себе, как она, при своей теперешней слабости здоровья, сможет справиться с этим делом.

У нас в этом году необычайно ранняя, наверное обманная, весна. Все сразу отсырело, а небо от сырости и тяжести даже как будто бы провисает посередине. А ночи настолько настороженно-тревожные, что, кажется, достаточно какого-нб. резкого звука – паровозного гудка, скажем, чтобы большой истерикой – ливнями, ветрами, снегопадами – началась настоящая весна. Тут ведь очень тихо, особенно когда утихает ветер; тихо и просторно, а это действует на нервы не меньше, чем одиночка. Между прочим, к такой тишине я не привыкла, моей тишине всегда аккомпанировал или город, или лес,

или море, или, в последние годы, гул человеческих жизней, никогда не раздражавший меня гул голосов. Северное же молчание, особенно в пасмурные дни, беспокоит меня. Жду не дождусь, когда же заговорит эта серая, седая, северная валаамова ослица – природа? (Ты помнишь, как Журавлев читает «Пиковую даму»? – «Графиня молчала»...)

Боюсь ледохода: река перед самым носом, как бы нас не прихватила, разливаясь!

В апреле, предмайском месяце, у меня будет очень много работы, а я загодя устала. Сердце у меня стало плохое, вместо того, чтобы подгонять – тормозит, я его постоянно чувствую и одно это уже утомляет. Хорошо хоть, что я не задумываюсь ни о смерти, ни о лечении. Слава Богу, некогда. Без работы я, конечно, сошла бы с ума. А так – просто усыхаю и седею помаленьку, утешаю себя тем, что приобретаю окраску окружающей среды. Тут и звери-то белые – лайки, олени, песцы, горностаи. Какие чудесные, кстати, олени! Совсем белых не так много, в основном они такого цвета, как когда снег тает и сквозь него уже земля проглядывает, знаешь? цвета самой ранней весны. Вот за это-то я их и люблю особенно, в самые лютые морозы они все равно весну напоминают.

В первую свою следующую передышку напишу тебе, надеюсь, более толково, эта записочка только, чтобы сказать тебе, что я получила твою весточку, и поблагодарить за нее. Пиши мне и ты, не жди, «когда будет время», его ведь все равно не будет.

Целую тебя.
Твоя Аля

4 апреля 1951

Дорогой мой Борис! Только что получила твое письмо, и только что отправила свое тебе – т. е. сперва отправила, а потом получила. Спасибо тебе за все доброе, что ты пишешь

обо мне и для меня! – Но я – не писательница. Не писательница, потому что не пишу, а не пишу, потому что могу не писать, иначе я подчиняла бы все на свете писанию, а не подчинялась бы сама всему на свете – всяким большим и малым обязанностям. Это во-первых. Во-вторых, я не писательница потому, что никогда не чувствую конца и начала вещи, которую, скажем, хотела бы написать. Никогда не смогла бы, как Чехов, что-то и кого-то выхватить и бросить на полпути, придав этому видимость законченности. Так и барахталась бы в истоках, устьях, потомках и предках, и получилось бы ужасно. Это у меня какая-то ненормальность, которую я сознаю, но отделаться не могу, так у меня и в жизни. Например, знаю, что мама умерла, знаю, как и когда, а чувства *конца* ее нет, и это без всякой мистики, без всякой «загробности» – смерть не всегда и не для всякого значит – конец. И то, что она родилась тогда-то, еще не обозначает для меня начала ее судьбы, уже предопределенной, скажем, встречей ее родителей, таких трагически несхожих, и т. д., понимаешь? Впрочем, я опять говорю что-то не по существу, а около.

Я люблю Чехова. И знаю, что неправа, втайне притом думая, вернее, чувствуя, что писать рассказы это то же, что любить кошек и собак за неимением детей.

В-третьих, я не писательница, потому что дико требовательна к себе, до такой степени, что с первых же строк перестаю понимать, «что такое хорошо, что такое плохо», и в поисках лучшего дохожу до белиберды самой очевидной, в чем неоднократно убеждалась, набредая на какую-нб. старую тетрадь с какими-нб. попытками чего-то.

Не писательница я еще и потому, что, не пройдя необходимого каждому творящему пути – от творчества слабого и подвластного кому-то к творчеству сильному и своему

собственному, я не могу позволить себе сейчас, в свои 37 необыкновенных лет писать слабо, а быть самой собой творчески – не могу, ибо своего собственного (творческого) лица нет. Виденное, слышанное, прожитое, пережитое, воспринятое, понятое еще не дают в руки способов выражения, да и слава богу, а то писатели поглотили бы читателей!



Ариадна Сергеевна Эфрон. Начало пятидесятых годов

И еще много есть причин, по которым я не писательница, несмотря на то «яркое и смелое», что, как ты говоришь, иногда оказывается в моих письмах. Слишком мало яркого, и еще меньше смелого и во мне самой, и в любых моих проявлениях – это не скромность и не эпистолярное кокетство, а правда. Жизнь моя так пошла, и слишком рано, чтобы во мне могло образоваться настоящее смелое и яркое ядро, что-то, на что я могла бы опираться в себе самой. («Пошла» от «идти», а не от «пошлость», хоть от нее господь миловал!)

Мне очень жаль, что ты не смог ничего написать о себе из того, что я не знаю и не угадываю. А знаю я тебя очень хорошо. О тебе – мало. Был ли в поликлинике насчет шеи, что тебе сказали, как лечат, помогает ли? У меня, кстати, эти дни она тоже болела ужасно, ни с того, ни с сего, или это твоя боль передалась мне на расстоянии, или это родство шей и их нагрузок, не знаю, во всяком случае у меня уже прошло, само собой.

Ты знаешь, у меня ничего не получается с душевной ясностью и спокойствием, когда плохая погода и небо низко. Не выношу ни морально, ни физически. Оживаю и успокаиваюсь, когда солнце, а оно тут так редко, хотя день все удлиняется. Как при солнце все осмысленно, прочно, ясно и красиво! И какая без него на земле и на душе тошная, серая кутерьма!

У нас уже несколько дней оттепель, на центральной улице чудесное оживление – мальчишки на коньках, привязанных к валенкам веревочками и прикрученных огрызками карандашей, девушки в стандартных ботах, с прическами secotid Empire, лайки в зимних грязных шубах, хребтастые коровы в географических пятнах, одним словом – кого-кого только нет! И над всей этой весенней мешаниной плывут не приземляясь торжественные звуки Бетховена (трансляция из Москвы). Хорошо!

Я сейчас достала и перечитываю «Детство и отрочество» Толстого. В последний раз читала (вернее, в первый!) чуть ли не 30 лет тому назад и все отлично помню, и книгу, и свое восприятие ее. Сейчас, конечно, читается иначе, и, знаешь, хуже читается, потому что все время останавливаешься перед тем, *как* написано, а тогда никакого *как* не было, одно только что, т. е. полное слияние содержания с формой. У меня и музыка сейчас так же расслаивается на замысел и исполнение автора, на восприятие и осуществление исполнителя, а когда оркестр – то слежу и за автором и за каждым инструментом. А раньше была только «музыка», вообще.

Как хорошо читается в детстве и в юности! И как все принимается всерьез! Только сейчас, перечитывая «Детство и отрочество», я поняла, что и Толстой писал об этой поре своей жизни с доброй и немного иронической усмешкой, без которой невозможна книга о детстве.

Дорогой Борис, тебя раздражают неизбежные мои оговорки в конце каждого моего письма, что, мол, прости, все так сумбурно и нелепо, а иначе не выходит, потому, что я очень устала и не могу собраться с мыслями. Но и на этот раз я так же и тем же закончу, потому, что это правда истинная. Мне никогда не удается вложить в письмо и сотой доли того, что хотелось бы, пишу не так, не то и не о том, потому что в голове шумит и в ушах звон – я стала так легко утомляться от работы вовсе не трудной физически, и от этого рассеиваюсь и размагничиваюсь. Я бесконечно благодарна тебе за твои письма, ты мне дорог давно и навсегда, наравне с мамой и Сережей, но чувство мое к тебе без личной горечи, а перед ними я непоправимо виновата во многом. Дети – всегда плохие, и наказание их в том, что сознают они это всегда слишком поздно.

Спасибо тебе за все. Целую тебя.

Твоя Аля

Напиши о своих. Как твой сын? Я была у тебя, и ты был один, и мне трудно представить себе твою семью. Сколько лет сыну? Он родился, наверное, году в 35–36, или даже в 1937-м. Единственный мой ориентир это то, что ты мне как-то, давным-давно, накануне моего отъезда из Москвы, говорил о своих беседах с трехлетним (кажется) сыном, да ты, наверное, не помнишь, а я так хорошо все помню! Потому что мы с тобой редко встречались. И теперь ты мне о нем рассказал немного. И вот я уже и письма не пишу, и спать не ложусь, а вспоминаю, вспоминаю...

А ты говоришь – рассказы писать! Нет, нет, Борис, лучше я буду хорошим твоим читателем. Не по моим силам материал. Пока.

Целую тебя.

4 июня 1951

Дорогой Борис! Пишу тебе, а по реке еще идут льдины. 4 июня! Просто наглость. Круглые сутки светло, и круглые сутки пасмурно. Величественно и противно. Правда, когда солнце появляется, тогда чудесно, но это бывает так редко! Вообще же – освещение – это настроение природы, а здесь она вечно плохо настроена, надута, раздражена, ворчлива, плаксива, и все это в невиданных масштабах, с неслыханным размахом.

Было у нас сильное наводнение, многие береговые жители пострадали, лачуги, лодки, ограды унесло водой. Я, как молитву, шептала «Медного Всадника», удивляясь, до чего же верно, и собирала чемоданы, но нас наводнение не тронуло, слава Богу! Все же было очень тревожно. Теперь вода отступает, но под окнами еще настоящий атлантический прибой. Я так люблю море, океан еще больше, а реку – нет, с самого детства боюсь и противного дна, и течения, вообще чувствую

себя почти утопленницей. Кроме того, река, самая спокойная, тревожит меня, а море и в тишь и в бурю радует. Ну, это все неважно. Я пишу тебе, чтобы попросить тебя написать мне хотя бы открытку. Я очень давно ничего от тебя не получала и ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты одним из первых подписался на займ, о чем прочла в «Литературной газете». Главное – как здоровье, как работа?

Я – дохлая, ужасно от всего устаю, когда есть работа – от работы, когда ее меньше – от страха, что совсем не будет. Зимой уставали глаза от постоянного мрака, сейчас – от неизменного дневного света. А кроме того, все же всегда очень труден *быт* во всех его проявлениях, здесь, конечно, особенно. Но я пока что бодра и вынослива, особенно, если есть хоть немного солнца. Мне кажется – только солнце, настоящее, вольное, щедрое, вылечило бы меня от всех моих предполагаемых недугов, предполагаемых потому, что к врачам не хожу, дабы не узнать, что вдруг я в самом деле чем-нб. больна.

Поговорить здесь решительно не с кем, а мысленно я обращаюсь только к тебе, правда. Когда в какой-нибудь очень тихий час вдруг все лишнее уходит из души, остается только мудрое и главное, я говорю с тобой с тою же доверчивой простотой, с которой отшельник разговаривает с богом, ничуть не смущаясь его физическим отсутствием. Ты лучше из всех мне известных поэтов переложил несказанное на человеческий язык, и поэтому когда мое «несказанное», перекипев и отстоявшись, делается ясной и яркой, как созвездие, формулой, я несу ее к тебе, через все Енисеи, и мне ничуть не обидно, что оно никогда до тебя не доходит. Молитвы отшельника тоже оседают на ближайших колючках, и от этого не хуже ни богу, ни колючкам, ни отшельнику!

Прилетели гуси, утки, лебеди. И вот я думаю, почему же это ни один из русских композиторов, переложивших

на ноты русскую весну, не передал тревожного гусиного разговора, ведь гуси в полете не просто гогочут, они переговариваются, повторяя одну и ту же коротенькую музыкальную фразу в разных тонах, и эта фраза колеблется в воздухе плавно и грустно, и вторят ей сильные, ритмичные удары крыльев. И еще – плещется только что освободившаяся от льдов река, закрой глаза и слушай, смотреть не надо, и без того ясно – весна! Русская, с таким трудом рождаемая природой, такая скупая в первые дни и такая красавица потом!

Целую тебя, будь здоров и пиши.

Твоя Аля

15 августа 1951

Дорогой Борис! Получив твое письмо, я почувствовала то, что обычно испытывают родители, когда ребенок, которого считали погибшим (утонувшим, заблудившимся в лесу, упавшим с дерева и т. д.), – преспокойно возвращается домой, слегка развязный от небольшого смущения, что, мол, опоздал. В таких случаях обычно (знаю по себе) приходят в бешенство, и только что оплакиваемого первенца жестоко наказывают. Так и я, получив твое письмо, сперва обрадовалась, потом рассвирепела. Потом опять обрадовалась. Но, ты понимаешь, я настолько истревожилась твоим таким долгим молчанием, что просто вышла из себя, узнав, что главной причиной его был какой-то доктор Фауст. (Впрочем, это лучше, чем Маргарита!) Хорошо было Гете – взял набредил, а потомки – расхлебывай, думала я, шагая с почты. Нет, Борис, в самом деле, нельзя так долго не писать мне, именно *тебе* нельзя, ты же все знаешь и понимаешь, и потом, в конце концов, я уже столько тревоги в жизни перенесла, что больше не хочу, тем более из-за Фауста. А если тебе писать больно, то посылай телеграммы. Мне больнее без писем сидеть, чем тебе их писать.

На случай же, если я переоцениваю твою способность все знать и понимать, м. б. в последнее время отчасти отнятую у тебя переводным Мефистофелем, то скажу тебе еще раз, что ты мне бесконечно дорог потому, что именно ты напоминаешь мне отца и мать, сильнее и подлиннее, чем *Лиля* – папу, а Ася – маму, что пока ты живешь, дышишь и пишешь (пишешь вообще и иногда мне тоже) – я не чувствую себя осиротевшей. Это, конечно, без всякой мистики. Я росла вдали от тебя, но чувствовала твое влияние, наверное, больше, чем твои настоящие дети, с детства привыкла к твоим стихам, ко всему твоему, и не собираюсь отвыкать. Ты не тревожься, я не напрашиваюсь в «дочери», я вообще «ни в кого» не напрашиваюсь; и мне досадно, что приходится тебе все это растолковывать. Да и не только в отце и матери дело, конечно, я просто очень люблю тебя за то, что ты такой – поэт и человек, и очень счастлива, что живу в одно время с тобой и могу тебе писать и раз в десять лет говорить с тобой – это одно из моих редких, но несомненных преимуществ перед потомками, которые о наших днях и людях будут знать по книгам да памятникам.

Лето здесь было плохое, все возможные и невозможные варианты дождей и ветров, холодное, некрасивое, главное – холодное. После такой холодной зимы, и предвкушая другую такую же, мы ничуть не отогрелись, не отдохнули, не оттаяли. И вот уже осень в полном разгаре. Кончились белые ночи, с севера движется тьма, отхватывающая все по большему куску от каждого дня. Работаю много, да и хозяйство заедает – с самой весны начинаешь готовиться к зиме, а это очень трудно. Скоро обещают дать очередной отпуск – 12 рабочих дней, которые постараюсь посвятить ягодам и грибам – тоже зимние запасы.

Чувствую себя неплохо, только очень устала да сердце болит постоянно. Лечусь «необращением внимания» – хорошо помогает.

Ты скажи, обязательна ли тебе операция? У меня была такая опухоль на руке, ее лечили прогреванием, она становилась мягче и потом рассосалась. Боюсь операций.

31 августа будет десять лет со дня маминой смерти. Вспомни ее – живую! в этот день.

Крепко тебя целую. Пиши!

Твоя Аля

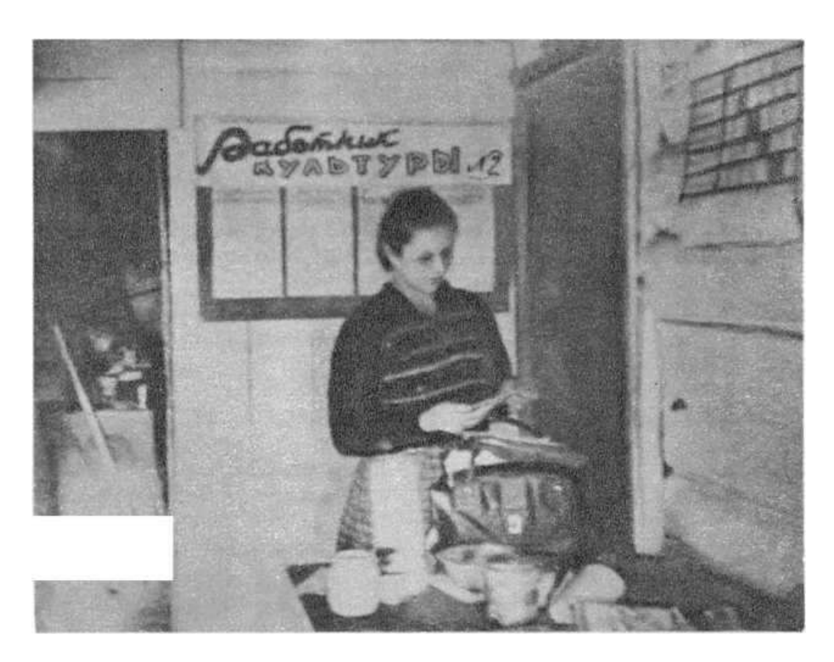
На днях получила письмо от Аси, к ней приехала жена сына с детьми, чему Ася, как будто бы, рада, но не безоговорочно. Во всяком случае Нина снимет с нее физическую работу, это уже очень хорошо. Андрею исполнилось 16 лет, просто не верится! Как идет время!

9 октября 1951

Дорогой мой Борис! Только сейчас получила твое письмо, не потому, что оно долго шло, а оттого, что меня самой не было в Туруханске, только что вернулась из соседнего колхоза, где проработала целый месяц на уборке урожая. Вначале было очень интересно, под конец ужасно устала, да и зима нагрянула, что меня всякий раз очень расстраивает. Еще сейчас не совсем очухалась, т. к. немедленно начала работать в клубе, и к усталости колхозной тотчас же добавилась художественная.

Колхоз – 28 километров от Туруханска, добраться туда можно только по Енисею, ехали на колхозной моторной лодке, когда мотор испортился – на веслах, когда руки устали – пешком по берегу, когда ноги устали – опять на веслах и т. д.

Наконец на крутом скалистом берегу возникла деревушка – Мироедиха, с десяток прочно построенных, но одряхлевших избушек цвета времени, церковь без колокольни, кругом – тайга, да такая, что перед каждым ее деревом хочется идолопоклонствовать.



Ариадна Сергеевна пришла на работу

Все как полагается, жидкие дымки из покосившихся труб, собачий лай, ребячий крик и хватающая за душу русская деревенская тоска, усугубляемая неверным, неярким, неопределенным вечерним освещением. Заходим на «заезжую» – там темно, пахнет ребятишками. Зажигают лампу, и – о Боже мой! Венские стулья, кованые сундуки по углам, старинное зеркало в резной раме – глянешь туда и видишь утопленницу вместо живой себя. На стенах – портреты невероятной упитанности блондинов с усиками и в железобетонных негнущихся одеждах, как дешевые памятники. Круглый стол, на столе – самовар, за столом – большеносая седая старуха пьет чай из позолоченной чашки кузнецовского фарфора, на коленях у нее – старый кот с объеденными ушами. Две маленькие беленькие девочки в ситцевых коротеньких платьишках тщательно застятся от гостей, но зато без всякого смущения показывают голые животы, мне кажется, что попала я

в те времена, о которых знаю только понаслышке, да так оно и оказалось. Носатая старуха с умными пристальными глазами живет здесь уже 40 лет – она вышла сюда «взамуж» из Енисейска, а вот и другая старуха, ей 87 лет, она сестра мужа первой, здесь родилась, здесь и состарилась. Она зашла на огонек, к самовару, к гостям, ее тело, похожее на выброшенную прибоем корягу, одето в дореволюционный заплатанный сатинчик, а глаза, хоть и обесцвеченные временем, посматривают зорко и хитро. Так вот и прожила я месяц в «заезжей», днем работала на поле, а вечерами чинно беседовала со старухами, и чего они мне только не рассказали! Я замечала – у неграмотных часто бывает изумительная память. Лишенная книжной пищи, она впитывает в себя все события своей и чужих жизней и до самой могилы хранит, ничего не отсеивая, все нужное и ненужное. Старухи рассказали мне, как жили мироедихинские купцы, как шаманы приезжали к ним за товаром – тогда старшая старуха была маленькой, – «шаман всю ночь, бывало, не спит, и мы не спим, боимся, молитву творим, "да воскреснет бог"... а еще была шаманка, так та была больно вредная. Померла, похоронили ее у Каменного ручья, бубен над могилой повесили, а она ночью встает да за проезжими гоняется, так и гонялась, пока священник молебен не отслужил на ее могиле да после молебна осиновый кол всадил ей в спину – полно ей людей морочить-то!» – и т. д. Рассказывали, как священники сгоняли местных жителей в Енисей и крестили их, как купцы за пушнину и рыбу платили водкой, бусами и топорами. Рассказывали, как пригоняли сюда ссыльных, и те получали «способие», и рыбачили, и ходили по ягоды, и собирались вместе, и читали книги, и спорили. На этой самой «заезжей» останавливался Сталин, бывал Свердлов и многие сибирские ссыльные большевики. «А был тут Иона-урядник, ему, как беспорядки начались, приказали большевиков, которые в лесу таились, ловить... он

полну котомку хлеба наберет и, когда кого встретит, хлебушка ему даст и говорит – идешь, мол, ну и иди, мол. Потом зато Сталин и приказал – Иону никогда никому не трогать, и что он урядником был – не поминать. Не знаю, сейчас живой Иона аль нет, а работал он на стекольной фабрике в Красноярске вместе с сыном...»

Я тебе потом дорасскажу про колхоз, потому что сейчас до того устала, что нет сил даже писать. За мое отсутствие такой накопился завал дел домашних и служебных, что никак не расхлебаю, а силенок так мало, а они так нужны! Дрова, картошка, двойные рамы, лозунги, плакаты, стенгазеты, монтажи, все нужно успеть, а оно все такое разное и такое утомительное! Особенно после всех этих гектаров картошки, тронутой морозом, турнепса, присыпанного снегом, и пр. Спасибо тебе за обещанное, когда бы ни прислал – кстати, тем более, что за месяц работы в колхозе я заработала 60 р., 2 ½ литра молока и мешок картошки! Целую тебя крепко, скоро напишу еще, если не надоела.

Твоя Аля

9 ноября 1951

Дорогой мой Борис! Спасибо за твое чудесное письмо. Я долго читала его и перечитывала, вошла в него, как в дверь, открытую в те годы, годы вашего творчества и простора, когда вы были, как два крыла одной птицы. Дорогие мои крылья, светлые, сильные, чистые, вы и сейчас со мной, совсем бескрылой, и не оставите души моей до самого земного предела. Простора – еще может быть и потому, что те годы связаны в моей памяти с океаном, атлантическими ветрами, волнами, облаками, закатами и восходами на самых дальних в моей жизни горизонтах – все *это* так великолепно аккомпанировало получаемым от тебя и посылаемым тебе строкам! Все это незаметно и прочно вошло в меня, настолько незаметно, что я

и сейчас вспомнить не могу, когда я впервые услышала о тебе, прочла тебя, точно так же, как не помню первой своей встречи с океаном. Точно вы всегда были.

Здесь тоже ветры океанские, но очень уж свирепые. Так хотелось бы, чтобы зимой океан спал – и дышал возможно реже и тише! Зима в этом году началась чуть ли не с августа. Давным-давно все укутано и частично удушено снегом, только над серединой Енисея стоит пар, там еще не замерзло. Конечно, 7 ноября демонстрация у нас не состоялась «из-за климатического условия и плохой погоды», но на площади, которая превращается в таковую только по большим праздникам, был митинг, как всегда очень трогательный и красивый, и в три цвета – белый снег, красные лозунги и люди цвета времени. Помнишь «Цвет времени» в сказках Перро? Это просто неправильный перевод «temps» – погода. Так же, как хрустальный башмачок Золушки должен был быть сафьяновым – vair вместо verre. У тебя, наверное, тоже была такая книга, большая, в красном переплете с золотым обрезом и, главное, с иллюстрациями Доре. До сих пор помню поворот головы «Ослиной кожи», едущей в темном, волшебном лесу, и Красную шапочку с круглой плоской лепешкой в корзиночке – une galette[25], и другой почти такой же, только с лентами, на голове. И спящие в золотых коронках на огромной деревенской кровати дочери людоеда. У меня хорошая память на всякие нелепости, я знаю и помню не менее тысячи сказок разных народов – а к чему? Но зато до сих пор задумываюсь над семью девять и восемью девять с не меньшим, чем в детстве, тупоумием. Я давно уже не живу на свете, Борис, я уснула, ибо другого выхода для меня нет – работать так, как нужно, нельзя – а жизнь – это работа, творчество, плюс все остальное, даже пусть без всего

---

[25] Хлебная лепешка.

остального. Я сплю под всеми этими снегами, не зная даже, придет ли моя поздняя весна, когда я докажу, что я настоящая ветвистая пшеница, а не цепкая и прожорливая сорная трава. Или не пробить мне ледяной корки никогда? Только твои редкие письма доходят до меня солнцем – но потом опять льды, снега да трудности, все не от меня зависящее и не имеющее ко мне никакого отношения.

Скрябин! Ты помнишь, где он жил? Борисоглебский или Николо-Песковский, кажется. Я играла с его дочками, Ариадной и Мариной, а жена его и мать все не могли пережить этой смерти, и жена его, красивая, черноглазая, вся бархатная, плакала над его нотами и никому не давала прикоснуться к его инструменту. Ее звали Татьяна Федоровна. У нее всегда болела голова, она умерла от этого – от воспаления мозга. Только после ее смерти квартира Скрябина была превращена в музей и там все стало тихо и чинно – без шагов твоего божества.

Я ужасно устала от всей предпраздничной подготовки, устала и вся промерзла, работать приходится в нетопленом помещении, нетопленом и шумном – все бесчисленные лозунги и плакаты пишу на полу, так что от умственного труда страдают главным образом ноги, все время на коленях, как в Страстную неделю. Работаю много, а результатов не видно – кроме лозунгов. Ну и быт тут какой-то, по сравнению с Москвой и даже Рязанью, – доисторический, и все это отнимает все время и все силы.

Опять я тебе написала, как по кочкам проехала, и тряско, и нелепо. Совсем не так хотелось бы говорить с тобой, но и то слава богу.

Если у тебя будет желанье и возможность, пришли хоть немного своего нового написанного и пиши мне.

Целую тебя.
Твоя Аля

5 декабря 1951

Дорогой Борис, пишу тебе очень наспех, т. к. работаю, как оглашенная, дата за датой догоняют и обгоняют меня, и я должна успеть все «отметить и оформить». Большое спасибо тебе за присланное. Я понимаю, насколько это трудно тебе сейчас, так, как если бы была совсем близко. Все эти сумасшедшие пространства не мешают мне отлично представлять себе все, связанное с твоей жизнью и работой. Я так часто и так, не сомневаюсь в этом, *верно* думаю о тебе! Это почти забавно, видела я тебя всего несколько раз в жизни, а ты занимаешь в ней такое большое место. Не совсем так, «большое место» – слишком обще и пусто. Вернее – какая-то часть меня, составная часть – так в незапамятные времена вошла в меня мама и стала немного мною, как я – немного ею. А вообще все то, что чувствуется ясно и просто, превращается в далекую от этого чувства абракадабру, как только пытаюсь изложить это на бумаге.

Мне так хорошо думается, когда я тороплюсь куда-нибудь недалеко, и вокруг снега и снега, кое-где перечеркнутые иероглифами покосившихся заборов, и провода сильно и тоскливо поют от мороза. Хорошо и просто думается, как будто бы достаточно нескольких глотков свежего воздуха да нескольких взглядов на туруханскую зиму, для того, чтобы все встало на свои места и пришло в порядок. К сожалению, это лекарство, такое доступное, не надолго помогает.

Я стала легче уставать, и это меня злит и тревожит. Нет никаких сил, осталась одна выносливость, т. е. то, на что я рассчитывала, как на последний жизненный ресурс под старость! А иногда думается, что если бы вдруг по чудесному случаю жизнь моя изменилась – коренным и счастливым образом, силы вернулись бы. Не может быть, чтобы они совсем иссякли, ни на что дельное не послужив!

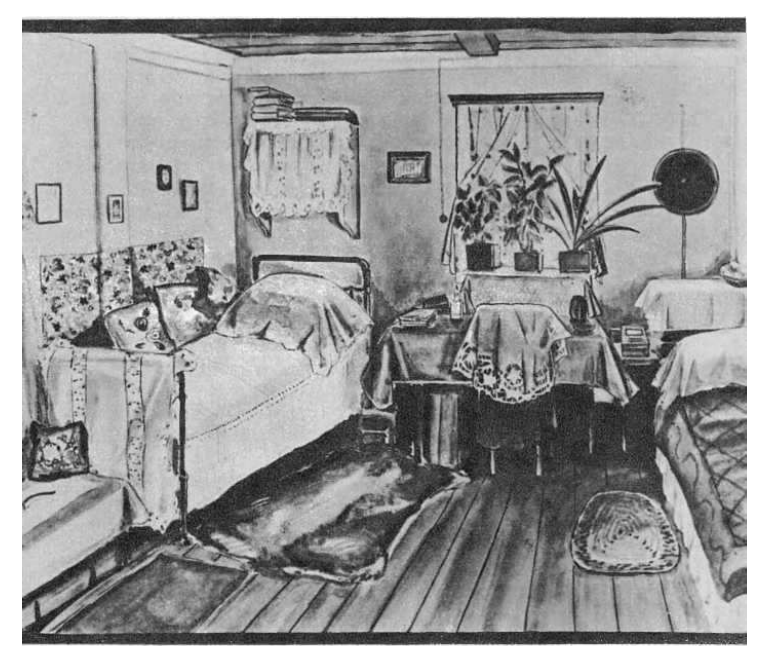
Зима у нас началась с ноябрьских праздников пятидесятиградусными морозами, в декабре же чуть не тает, и я немного ожила. Ужасно трудно работать в большие холода, когда стихии одолевают со всех сторон! Спасаюсь только тем, что красива здешняя зима, чужда, но хороша, как красивая мачеха. Терпишь от нее столько зла, и – любуешься ею.

Пиши мне хоть изредка. Твои письма – да еще Лилины весточки – единственное, что греет душу. Остальному достаточно березовых дров.

Крепко целую тебя, всегда с тобою.

Еще раз спасибо за всё. Будь здоров, и пусть все у тебя будет «не хуже»!

Твоя Аля



«...Женщины невероятно быстро обрастают всякими вещами и вещичками...» Акварель А. С. Эфрон. Комната, в которой она жила в Туруханске

14 января 1952

Дорогой мой Борис! От тебя так давно нет писем – и сама не пишу: устаю, тупею от усталости, от нагромождения усталостей. Моя голова становится похожей на клуб, в котором работаем: помещение нетопленое, в одном углу свалены старые лозунги, в другом – реклама кино, в третьем – бочка, в четвертом – что-то начатое и неоконченное, посередине – ободранные декорации. Впрочем, чтобы у тебя не было превратного мнения о клубе как таковом – это у нашей «рабочей комнаты» такой вид, а вообще-то клуб как клуб, все на месте, только очень холодно.

В январе у меня стало немного полегче со временем, работаю часов по 8–9, но все равно ничего своего не успеваю, кроме стирки, уборки, готовки и пр., – быт пожирает всяческое бытие. Впрочем, зимой в нем (быту) есть своеобразный уют – жилья, тепла, очага. И еще уют от собаки – настоящей Каштанки с виду – (и казак душой!) и сибирского кота, лентяя и красавца до последней шерстинки.

Людей здесь интересных совсем нет, или же интересны они только в каком-то очень скоро наскучивающем плане, потолок отношений весьма низок, а дальше требуется только терпение. Которого не хватает.

Наш крохотный домик, по-моему, очень мил. Женщины невероятно быстро обрастают всякими вещами и вещичками. Особенно быстро обросли мы с Адой, получив посылками (особенно она, бедняжка) все, что загромождало домашних, массу всякого ненужного старья и всяких странных предметов – ножниц без концов, сантиметры не в сантиметрах, а в милях и ярдах, какие-то зажимки, заколки, тряпочки, ниточки, пояса от платьев и т. д. – и главное, конечно, выкинуть жаль, – «память»! Аде даже прислали бархатную шляпу с перьями. (Я отнесла ее в пополнение к клубному реквизиту.

В мое отсутствие ее надел один паренек, член кружка художественной самодеятельности. В постановке он изображал американского гангстера – в этой шляпке!)

Да, так вот, наш домик очень мил потому, что мы сложили все сувениры в один сундук и сидим на них. На поверхности их не видно. И все у нас очень просто и чисто, так что теснота помещения не очень заметна. Теснота эта с лихвой возмещается окружающим простором, который вовсе не радует. Все мечты всегда идут *против* течения Енисея, т. е. с севера на юг. На праздники у нас была елка, прелестная, аккуратно-пушистая, я только сегодня убрала ее, стала осыпаться. С самого детства люблю елку, по-настоящему радуюсь ей. И, вместо всяких нудных православных панихид, светло и живо вспоминаю маму, подарившую мне такое чудесное детство, научившую меня видеть, слышать и понимать. А чувствовать даже слишком научила.

Прости меня за корявый почерк – очень плохая бумага, – да и пишу на коленях, за ошибки, которых делаю все больше и больше (имею в виду орфографические) – тут уж не знаю, какое оправдание найти. За вышеизложенную белиберду извинения не прошу, ты по доброте сердечной найдешь, что чудесное письмо. Напиши хоть немножечко. Да, Борис, *если только не трудно,* пришли, пожалуйста, иллюстрированного «Ревизора» или любое гоголевское с картинками, кроме «Бульбы» – единств., что есть в здешней библиотеке. Приближается юбилей, а здесь нет ничего.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля

28 января 1952

Борис мой родной, наконец получила первую твою, уже домашнюю, весточку. Спасибо тебе! Я не сразу почувствовала облегчение, слишком велика была во мне тяжесть твоей

болезни, мне еще не легко и сейчас, я еще страдаю по инерции, но вместе с тем и наступает в душе рассвет дня твоего выздоровления. Как я вымаливала тебя у темного, северного неба, у ледяной северной реки, у всех четырех ветров, у всех суровых северных стихий, как будто бы именно они держали тебя в плену, как будто бы от них все зависело! Я не молюсь, я не умею, я не верю – несмотря на все Асины заклинания, но в час горя, в час беды, я вся по-язычески растворяюсь в небе, не в том, что выдумали люди, а в том, что над головой, я чувствую, как и моя судьба включается в вековечное движение судеб всех светил и всех стихий – боль утихает. Нет больше ни времени, ни пространства, ни условностей, я вхожу в твою палату и беру в руки твое сердце. – Но как недолговечна эта анестезия! И опять бьешься головой об стенку – единственный вид реальной помощи, которую я способна оказать себе и другим!

Живу я все так же, по-прежнему очень много работаю, по-прежнему последние крошки времени отнимает здешнее мудреное хозяйство и все самое нестоящее стоит больших усилий, а на самом-то деле самым главным все время была твоя болезнь, да и не то, что болезнь – жизнь твоя.

Очень хорошо, что вы поедете в санаторий, и очень хорошо, что ты уже дома, и очень, очень хорошо, что ты мне написал, и все очень хорошо. Где ты будешь отдыхать, далеко или где-нб. под Москвой? И как хорошо, что вместе с Зиной. Какая дикая вещь, собственно говоря, что тебя я знаю почти наизусть, гораздо больше и глубже, чем любая мать своего ребенка, – а ее и о ней – совсем ничего. И о том, что ее зовут Зиной, узнала недели три тому назад, из Асиной открытки, где было сказано, что Зина пишет о том, что тебе лучше.

Я помню только, как тогда, давно, ты приезжал к нам на несколько дней, мы сидели среди книг и апельсинов у тебя

в гостинице, и ты был страшно влюблен (в Зину!) и нечленораздельен. Потом мы ходили с тобой в магазин и покупали ей маникюрный прибор и платье, и ты пытался объяснить мне ее рост и размер на моем росте и размере и в это время глядел на меня, но мимо и сквозь. Так с того самого дня Зина, с ее ростом, размером, цветом волос и глаз, сущностью, со всем тем, благодаря чему она, именно она, стала твоей женой, – остается для меня полнейшей тайной. Одним словом, «жена – есть жена», сказал Чехов. Всякая. В том числе и Зина.

Родной мой, поправляйся хорошо, крепко, не торопясь, не обольщаясь хорошим самочувствием и не пугаясь плохого, я знаю, что должно пройти еще порядочно времени, пока все в тебе уравновесится и успокоится.

Как всегда, прошу тебя не удивляться бреду моих записок, я всегда пишу ночью, почти во сне, и, вероятно, не бредовым и не сонным остается одно, основное – я очень люблю тебя, настолько, что вот ты уже и дома, а не в больнице. Мы все отстояли и отпросили тебя, и Зина, и Ася, и все те, кого я не знаю – и я тоже.

Крепко целую тебя, мой родной. Поправляйся.

Твоя Аля

19 марта 1952

Дорогой мой Борис! За всю зиму я, кажется, не получила от тебя ни одного письма и, как ни странно, не собираюсь упрекать тебя за упорное молчание хоть бы настолечко. Я сама виновата, т. к. пишу тебе ужасно нудные послания, которые могут у тебя вызвать в лучшем случае желание ответить в не менее нудных тонах, в худшем – перемолчать. И это у меня получается как-то само собой, как будто бы сидит во мне какая-то зубная боль, невольно прорывающаяся в письмах.

У нас стоит чудесный март, блестящий до боли в глазах, нестерпимо яркий. Окна оттаивают, с крыш свешиваются козьи рожки сосулек, но так еще и не думает таять. Морозы пока что вполне зимние. Очень хороши здешние ночи, тишина такая, будто, в ожидании каких-то необычайных звуков, с тем, чтобы тебя подготовить к восприятию их, у тебя выключили слух. Только собственное сердце стучит, да и то ощущаешь грудью. А звезды! Они как бы потягиваются, выбрасывая и пряча короткие лучики, охорашиваются, как птицы, трепещут, вспыхивают оттенками, которым нет у нас названия, кажется, им ничего не стоит нарушить строгий порядок вселенной, перепутать все четкие формы созвездий. Млечный Путь так хорошо брошен над водным – и зимой тоже млечным – путем Енисея – и все так хорошо и так понятно! Если бы умирая видеть над собой такое небо, и *так* его видеть, то не было бы ни страха, ни горечи и никаких грехов. Только, мне думается, смерть всегда слишком рано приходит, мы начинаем понемногу умирать со смертью первого близкого человека. Я, например, стала умирать ужасно давно, осознав, что Пушкин убит на дуэли. А в дальнейшем пришлось умирать и более больно. (Это стараюсь написать не нудное письмо, Боже мой!)

Живу я, Борис, все так же, бесконечно много и старательно работаю, устаю и глупею. Три дня с наслаждением болела гриппом и впервые за много лет по-настоящему лежала в постели, немного читала, спала и думала только о хорошем, как в детстве. Отдохнула и сразу лучше себя почувствовала, вероятно, я очень переутомлена, ведь отпуск у меня всего 2 недели в год, да и тот проходит во всяких очень трудоемких домашних делах. Ведь беспрестанно что-то нужно делать – то печка разваливается, то крыша течет, то еще что-то, и это все так неинтересно, честное слово! Я бы с удовольствием съездила на месяц хотя бы в Кисловодск с тем, чтобы решительно

ничего не делать и озирать окрестности с балкона санатория. Пусть там нет такого чудесного неба, как здесь – пошла бы на уступки!

Ах, Борис, если бы ты знал, как я равнодушна к сельской жизни вне дачного периода и какую она на меня нагоняет тоску! Особенно когда ей конца-края не видно, кроме собственной естественной кончины. Хочу жить только в городе и только в Москве. И полна глупейшей надежды, что так оно и будет. У моей судьбы должны быть в запасе еще и хорошие чудеса. Очень жду твоего письма, очень хочу о тебе знать. Крепко целую.

Твоя Аля

Есть ли письма от твоей Тристесс, как она и где? Пиши мне!

6 мая 1952

Дорогой мой Борис! Бесконечно спасибо за все, тобой посланное и мною полученное, и не только за это. Во-первых и прежде всего спасибо тебе за тебя самого, за то, что ты – ты! Очень меня взволновало и твое письмо, и мамины стихи. Я помню, как писались те, что красными чернилами, и тот чердак, и тонкий крест оконной рамы, и весь тот – девятнадцатый – год. Первое из чердачных – не полностью, видимо, не хватает странички, а конца наизусть я не помню. А те, что черными чернилами, – из большого цикла «Юношеских стихов». Полностью они никогда не были опубликованы и в рукописи не сохранились: есть один машинописный оттиск всего цикла. Спасибо тебе, родной мой!

Да, вообще-то я очень люблю тебя и за то, что ты мне так редко пишешь, и ты, конечно, мог бы мне не объяснять, почему, я и сама все знаю. Я люблю тебя не столько, может быть, или не только за талант, а и за рамки, в которые ты умеешь его загонять, рамки данной цели, рамки долга, за рабочий

мускул твоего творчества. За это же я горжусь и мамой, недаром назвавшей одну из своих книг «Ремеслом» – не помню дня ее жизни без работы за письменным столом, прежде всего и невзирая ни на что. *Это* дано очень немногим, очень избранным, ну а вообще талантливых, и в частности поэтов куда как много, и в конце концов невелика цена их вдохновению! А почему «Ремесло» так названо, ты, наверное, знаешь? Мама очень любила это четверостишие Каролины Павловой: «О ты, чего и святотатство Коснуться в храме не могло, Моя печаль, мое богатство, мое святое Ремесло!» (Вот только не уверена, что «печаль», так мне запомнилось в детстве.)



Вид из окна. Рисунок А. С. Эфрон

Только, однако, не злоупотребляй моей любовью к тебе и не за не-писанье писем во имя писанья основного. Мне просто, время от времени, нужно знать, что ты жив и здоров, это можно сделать даже открыткой, даже телеграммой.

Пусть это дико звучит, но я до сих пор не могу простить себе, среди прочего невозвратно не сделанного мною, то, что я в свое время попросту не стащила в библиотеке училища,

где работала, монографию твоего отца, о котором тогда писала тебе. Как она была чудесно издана, какие великолепные репродукции хотя бы тех же иллюстраций к «Воскресенью», сколько зарисовок детей, в том числе и тебя, подростка, юноши. И какой-то семейный праздник, когда все с подарками. И твой портрет, тот trois-quarts[26], на который ты и по сей день похож. Там было много Толстого и Шаляпина, а главное, там было так непередаваемо много жизни – жизни в пол-оборота, с незаконченным жестом, стремительной и вечной в вечной своей незавершенности и незавершаемости.

Не смейся, но я в самом деле была бы не только менее несчастлива, но даже более счастлива, если бы эта книга была у меня здесь. А ведь ее нигде не найдешь. Да и искать-то негде.

Одним из итогов прожитого и пережитого у меня оказалось то, что отпало много лишнего и осталось много подлинного, т. е. отнято всяческое кино, всяческое легкое чтение и смотрение, всякий интерес к этому, всякая потребность. И, если не дано мне творить, то хоть хочется дочитать, досмотреть, довидеть, дочувствовать настоящее. Творить же не дано по чисто внешним причинам, дай бог, чтобы они отпали прежде, чем отпаду я сама!

Вот я недавно писала Лиле о том, что у меня странное чувство, будто бы я живу не свою, а чью-то чужую жизнь. Все, что было до Туруханска, определенно было *моим, а* здесь – какой-то пробел, точно настоящая, живая я просто осталась ну, хотя бы, на пароходе. Так у меня впервые, и причины сама не найду. Ни причины, ни самой себя. Очень редко встречаюсь я с самой собой – на первомайской демонстрации, иногда в настоящей книге, или вот на днях мы провожали в армию одного нашего молоденького работника, и вот представь себе вокзал аэропорта, изредка нарастающий и пропадающий

---

[26] Три четверти.

рев самолета, идущего на посадку, звук провожающей новобранца гармошки, пляски и песни среди стандартных пейзажей в золоченых рамах и кресел в холстяных чехлах – каменные лица матери и сестер, а за застекленной дверью бледная, вялая, слабая весна: снег подался, осел, из-за этого тайга стала выше, точно все деревья встали на цыпочки, зелени еще нет и в помине, просто обнажились ранее скрытые зимой последние осенние оттенки. Опять гармошка и стук каблуков и песня, но лица все равно не теплеют, чтобы проводить сына, брата, товарища без слез. А ведь провожая всегда хочется плакать, даже на заведомо хорошее провожая! И вот здесь я немного «встретила себя» – м. б. оттого, что на минуту пахнуло настоящей жизнью? а уж на обратном пути опять я – не я.

Еще раз тебе спасибо. Мне очень хочется, чтобы ты не болел и чтобы это лето было у тебя всесторонне удачным. Скажи, а твои боли в спине не могут быть какою-нб. разновидностью вегетативного невроза или чем-то в этом духе? Такие истории длительны, болезненны, но, к счастью, не опасны. Только обычно трудно бывает поставить диагноз – обращался ли ты к хорошему невропатологу?

Крепко тебя, родной, целую. Будь здоров и спокоен.

Твоя Аля

5 июня 1952

Дорогой мой Борис! Еще плывут по Енисею редкие льдины, а уже июнь! Никак не могу привыкнуть к тому, что здешняя природа и погода так отстают от общепринятого календаря, да и вообще от всего на свете. За окном – безнадежный дождь, мелкий, нудный, и все вокруг – цвета дождя, и небо, и земля, и сам Енисей, шумящий возле дома. Этот дождь назревал как болезнь уже несколько суток и наконец

разразился, сперва, а потом и пошел и пошел однообразно стучать и скучать по крыше. Ночей у нас уже больше нет, стоит один и тот же непрерывный огромный день, сразу ставший таким же привычным, как недавняя непрерывная ночь. Еще нигде ни травинки, ни цветочка, весна еще ленится и потягивается, пасмурная и неприветливая, как старухина дочка из русской сказки. Навигация пока что не началась, но на днях ждем первого пассажирского парохода из Красноярска. Гуси, утки, лебеди прилетели. Кажется, все готово, все на местах, дело за весной. Я живу все так же, без божества, без вдохновенья и без настоящего дела, несмотря на постоянную занятость и благодаря ей. Сонмы мелких и трудоемких работ и забот не снимают с меня все обостряющегося чувства вины и ответственности за то, что все, что я делаю, – не то и не так и по существу ни к чему. Быт пожирает бытие, и все получается вроде сегодняшнего дождя, не нужного здешней болотистой почве, и к тому же такого некрасивого!

Поговорить даже не с кем. Правда, все мои былые собеседники остаются при мне, но ведь это же монолог! А о диалоге и мечтать не приходится. Тоска, честное слово!

Ты прости меня, что я к тебе со своими дождями лезу, как будто бы у тебя самого всегда хорошая погода. Но кому повем? Ты знаешь, когда вода близко шумит и шум ее сливается с ветром, я всегда вспоминаю раннее детство, как мы с мамой приехали в Крым, к Пра, матери Макса Волошина. Ночь, комната круглая, как башенная (кажется, и в самом деле то была башня), на столе маленький огонек, свечка или фонарь. В окно врывается чернота, шум прибоя с ветром пополам, и мама говорит – «это море шумит», а седая кудрявая Пра режет хлеб на столе. Я устала с дороги, и мне страшновато.

Мне иногда кажется, что я живу уже которую-то жизнь, понимаешь? Есть люди, которым одну жизнь дано прожить, и такие, кто много их проживает. Вот я сейчас читаю книгу

о декабристах, и все время такое чувство, что все это было недавно, на моей памяти – м. б. просто потому, что все *живое* близко живым? Ведь Пушкин – совсем современник, а Жуковский – далек. Я хорошо помню Сергея Михайловича Волконского, внука декабриста, и в самом деле все близко получается – ведь его отец родился в Сибири!

Нет, бог с ним, с дождем, а жить все равно интересно. И все равно – *живые* – бессмертны!

Когда ты устанешь переводить и захочешь пойти покопаться в огороде, вот в эту самую минутку, между переводом и огородом, напиши мне открытку. (Хотя бы.) Пусть у меня будет хоть иллюзия диалога. Мне очень хочется узнать о твоем здоровье, и очень хочется, чтобы никакие боли тебя не мучили. Когда ты долго молчишь, я думаю (и, увы, иногда угадываю!), что ты болеешь. И не столько из-за дождя я написала тебе, и не столько из-за свободного вечера (а их будет так мало летом – дрова, картошка, всякие общественные сенокосы, уборочные, народные стройки!), сколько из-за желания сказать тебе что-то от всего сердца хорошее. И опять не вышло.

Крепко тебя целую. Будь здоров!

Твоя Аля

14 июня 1952 г.

Дорогая Аля!

Я еще по поводу предыдущего твоего письма хотел повторить тебе, какая у тебя замечательная и близкая мне наблюдательность. У меня в продолжении романа, только что написанного и которого ты не знаешь, есть о том же самом, что у тебя в прошлом письме: о земле, выходящей весной из-под снега в том виде, в каком она ушла зимой под снег, и о весенней желтизне жизни, начинающейся с осенней желтизны смерти, и т. д.

Я очень хорошо поработал для себя в апреле и мае и читал нескольким друзьям большой новый кусок прозы, еще не переписанной. Это было большое счастье, и было совсем недавно, неделю с чем-то тому назад.

Я здоров, я живу незаслуженно хорошо, Аля, с блажью, фанабериями (проза, чтение), которые позволяю себе.

Мы завтра переезжаем на дачу, и я тебе пишу эти поспешные строки в обстановке подведенных итогов и валяющихся на полу обрывков веревки и оберточной бумаги.

Мне хорошо, Аля, я стал как-то шутливо-спокоен. Я не остыл в жизни, а готов загореться и горю как-то шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь сглазить, я боюсь это говорить. Меня нечего жалеть, я что-то вроде Хлестакова, я заедаю чужой век, мне выпала даром, неизвестно за что, м. б. совсем не мне предназначенная судьба, незаслуженно, неоправданно.

Вот моя открытка тебе, между переводом и огородом. Я летом хочу кончить роман, так, как он был начат, для себя самого. Tout á toi[27].

Б.

1 октября 1952

Дорогой мой Борис! Спасибо тебе за твое чудесное письмо, пришедшее ко мне с первым снегом, выпавшим в Туруханск, еще не очухавшийся от прошлогодней зимы. Оно пришло с юга на север, упрямой птицей, наперекор всем улетающим стаям, всем уплывающим пароходам, всему, всем, покидающим этот край для жизни и тепла. Душу выматывает

[27] Весь твой.

это время года – вот, пишу тебе, а за окном пароход дает прощальные гудки – у них такой обычай: в свой последний рейс они прощаются с берегами – до следующей весны. И гуси, и лебеди прощаются. А снег падает, и все кругом делается кавказским с чернью, и хочется выть на луну. Из круглосуточного дня мы уже нырнули в такую же круглую ночь – круглая, как сирота, ночь! И, когда переболит и перемелется в сердце лето, солнце, тогда настанет настоящая зима, по-своему даже уютная.

А вообще-то жить было бы еще несравненно труднее, если бы я не чувствовала постоянно, что ты живешь и пишешь. В этом какое-то оправдание моей не-жизни и не-писания, как вышеназванная ночь оправдывается вышеназванным днем. Почему – не додумала, но именно так. Я пишу тебе эту записочку, чтобы успеть отправить ее до того, слава Богу, короткого, но все же промежутка времени, когда из-за погоды будет работать только телеграф. Я убийственно устала, и у меня нет секунды на передышку, я, кажется, и во сне тороплюсь. Трудные домашние и утомительные служебные дела и вообще самое всесторонне тяжелое время года. Я скоро напишу тебе, более или менее как следует, ответ на твое письмо, а пока просто коротенькое за него спасибо, радость ты моя! Целую тебя, главное – будь здоров!

Твоя Аля

10 октября 1952

Дорогой мой Борис! Только что получила твое извещение о переводе и несколько таких чудесных строк на таком казенном бланке! Спасибо тебе, мой родной, спасибо тебе бесконечное за все, а главное за то, что все исходящее от тебя для меня праздник, т. е. то, чего я абсолютно лишена и без чего я абсолютно жить не могу. И каждый раз, когда я вижу

твой почерк, у меня то же ощущение глубокого счастья, что и в детстве, когда я знала, что завтра – Пасха, или Рождество, или, в крайнем случае, день рождения. Вообще, я ужасно тебя люблю (м. б. это – наследственное?), люблю, как только избранные избранных любят, т. е. не считаясь ни с временем, ни с веком, ни с пространством, так беспрепятственно, так поверх барьеров! Но, зная твою повадку, уверена, что ты мне в ответ, поняв эти строки как написанные во времени и пространстве, ответишь, что у тебя грипп, что тебе ужасно некогда и вообще. Ты меня уже несколько раз так учил – и, конечно, не выучил.

У нас зима, и на первых порах, пока не приелось, это чудесно. Опять вся жизнь написана черным по белому – снег совсем новый, и все на нем кажется новым и маленьким, все избушки, человечки, лошадки, собачки. Лишь река, как всегда, совершенно лишена уюта, и по-прежнему душу тревожит ее неуклонное движение, пусть сковываемое льдами.

Небо здесь всегда низкое, близкое и более, чем где-либо, понятное. До солнца и до луны здесь рукой подать (не то, что до Москвы), и своими глазами видишь, как и из чего Север создает погоду и непогоду, и ничему не удивляешься. Только северное сияние иногда поднимает небесный свод на такую высоту, что за сердце хватает, а потом опять опускает, и опять ничего удивительного.

Если бы не ты, я, наверное, была бы очень одинока, но ведь все я вижу немного твоими глазами, немного с тобой вместе, и от этого легче.

А так – здешняя жизнь похожа на «Лучинушку».

Сегодня ушел последний пароход. Отчалил от нашего некрасивого берега, дал прощальные гудки, ушел на юг, обгоняя ненадолго зиму. А мы остались с берегом вместе, люди, плоты, стога бурого сена, опрокинутые лодки, все запорошенные снегом. Еще тепло, но горизонт розов, как взрезанный

арбуз, – к морозу. И зачем я тебе все это пишу? Зима есть зима – с той же интонацией, что чеховское «жена есть жена».



Зимний пейзаж. Рисунок А. С. Эфрон

С весны и до самого снега я мучилась со всякими хозяйственными делами – ремонтом, дровами, мучилась потому, что все делала через силу, не любя – не потому, что это тяжело и трудно, а потому, что это только для себя, все необходимо и все совершенно мне не нужно, понимаешь? а вечером ложилась спать и видела один и тот же нелепый сон – иду поздно вечером по городу и ищу магазин «Printemps», он, весь в огнях, возникает из-за какого-то угла, я вхожу и всю ночь брожу по всем этажам, до головокружения от шелков, кружев, безделушек. Надо сказать, что этот магазин мне так же нужен, как и все мое туруханское бытие. Так вот, во сне и наяву все лето встречались полюсы – тот, от которого я ушла, с тем, к которому пришла. Одним словом, пропало лето!

Перечитывала Чехова, которого очень люблю, прочла «50 лет в строю» Игнатьева, там чудесные слова Клемансо о Бриане – «человек, который ничего не знает и все понимает». И я тоже.

Кончаю свое очередное сумасшедшее послание, т. к. устала до одури, остальное доскажу засыпая, не заходя на этот раз в свой сонный магазин. Просто побродим с тобой по городу и проговорим – всю ночь.

Спасибо тебе еще раз огромное помимо всего прочего и за деньги, это каждый раз такая помощь и всегда в такую трудную минуту! Кстати, первое, что я на них сделала, – купила себе целлулоидного льва лимонного цвета, просто чтобы себе доказать, что вот что хочу, то и делаю – без всякого расчета!

Целую тебя крепко, и, конечно, давай обнимемся!

Твоя Аля

Я с нетерпением жду чего-нб. твоего, написанного или хотя бы переведенного!

8 декабря 1952

Дорогой мой Борис! Недавно получила открытку от Лили, а вслед за ней телеграмму – о том, что тебе лучше. Слава богу! Я не то что волновалась и беспокоилась, п. ч. и так почти всегда о ком-то и о чем-то беспокоюсь и волнуюсь, а просто все во мне стало подвластно твоей болезни, я ничего, кроме нее, по-настоящему не понимала и не чувствовала. Одним словом – все время болела вместе с тобой и продолжаю болеть. Правда, после весточек о том, что ты поправляешься, на душе стало легче, но у меня всегда бывало так, что всякую боль и тревогу я переносила труднее и помнила дольше, чем нужно, и с физическим прекращением боли она все равно еще долго жила во мне. Так же и теперь – ты все болишь во мне, хоть я и знаю, что тебе легче.

Не писала тебе все время из-за какого-то внутреннего оцепенения, которое по-настоящему прекратится только тогда, когда я получу от тебя первые после болезни строки. Все время думала о тебе и с тобою и все свои силы присоединяла к твоим, чтобы скорее побороть болезнь. Это не слова.

А так у меня все по-прежнему. Зима в этом году, кажется, особенно лютая, все время около 40°, несколько дней доходило до 50°, и все время ветры. Мы обе на работе с утра до вечера, придешь, а дома все промерзло и снег выступил на стенах. К счастью, печка у нас хорошая, сразу дает тепло. Еще больше холода донимает темнота, день настолько короткий, что о нем и сказать нечего. С утра и до ночи керосиновые лампы, только в редкие солнечные дни как бы рассветает ненадолго. Очень устают глаза, да и вообще все устает от холода и темноты, от их неизбежности и однообразия. Однообразно здесь все, редки просветы нового или чего-то, по-новому увиденного. Поэтому всегда – здесь особенно радуют праздники, это по-настоящему «красные» дни, в лозунгах и знаменах, дни, с красной строки вписанные в белым-белые страницы зимы. Я живу так далеко от всего, что перестала ощущать и понимать расстояния, объемы, размеры. Стоишь на высоком берегу и только и чувствуешь, что спиной упираешься в полюс, лицом – в Москву, головой – в небо. Все близко, просто и ведомо, и аравийские восходы над ледяной пустыней, и звездные дожди, и... и... и... Кстати, об «и», я прочла «За правое дело», все, кроме окончания. Не могли не понравиться отдельные места, и не могла не разочаровать вся книга в целом. Рассыпчатая она, без стержня, без хребта, без героя – записная книжка, а не книга. Гроссман, конечно, талантлив и бесспорно наблюдателен, но меня всегда раздражает такая форма повествования (вот у Эренбурга, например, да и у многих, начиная, кажется, с Дос-Пассоса) – будто бы автор

8 декабря 1952

Дорогой мой Борис! Недавно получила открытку от Лили, а вслед за ней телеграмму — о том, что тебе лучше. Слава Богу! Я не то, что волновалась и беспокоилась, т. к. и так почти всегда о ком-то и о чём-то беспокоюсь и волнуюсь, а просто всё во мне стало подвластно твоей болезни, я ничего, кроме неё, по-настоящему не понимала и не чувствовала. Одним словом — всё время болела вместе с тобой и продолжаю болеть. Правда, после вестей о том, что ты поправляешься, на душе стало легче, но у меня всегда бывало так, что всякую боль и тревогу я переносила труднее, и помнила дольше, чем нужно, и с физическим прекращением боли она всё равно ещё долго жила во мне. Так же и теперь — ты всё болишь во мне, хоть я и знаю, что тебе легче.

Не писала тебе всё время из-за какого-то внутреннего оцепенения, которое по-настоящему прекратится только тогда, когда я получу от тебя первые после

Автограф письма А. С. Эфрон

сценарий пишет, заранее представляя себе, как все это будет выглядеть на экране. А некоторые вещи как-то (с моей точки зрения) бестактны – как, например, одна подруга прикалывает другой брошку, там, в бомбоубежище, чувствуя, что больше они не встретятся. Накинь одна пожилая женщина другой платок на плечи, вот уже правдоподобно, а брошечку могла восемнадцатилетняя восемнадцатилетней же приколоть – тем брошка и ценность и память даже при бомбардировке. И кроме того, мне кажется, не характерно для интеллигенции подчеркивать *прощальность* встречи. Пусть ты знаешь, что навсегда, а другому, близкому, ни за что не покажешь, чтобы *он* не знал, не почувствовал, чтобы *ему* легче было. И много-много такого как-то огорчило меня в этой книге-хронике. Вернее всего – придираюсь, смотрю со своей колокольни, я бы, мол, не так сделала, я бы по-другому написала... А отдельные места хороши, хороша разговорная речь, природа.

Крепко, крепко целую тебя, поправляйся, мой родной. Представляю себе, как измучила тебя болезнь и неподвижность! Будь здоров!

Твоя Аля

25 февраля 1953

Дорогой мой Борис! Сегодня я видела тебя во сне (это начало не сулит ничего путного, и сейчас же вспоминается Ася в худших ее проявлениях, т. е. в видениях и снах!). Но все равно я расскажу. Мы шли с тобою рядом, и слева был бледно-зеленый и сверкающий ледоход, он же – море, и ты говорил о том, что все – условно, что те же сосны в Туруханске и в Крыму, а я плохо слушала и смотрела на твой профиль, темный против солнца, и была отчего-то преисполнена гордости и лукавства. Мы шли, и нас обгоняли грузовики – цистерны с волго-донской водой, потом был город, у входа

в который ты остановил грузовик и попросил у шофера воды – запить лекарство. Лекарство было в маленьком четырехугольном флакончике, и принимать его нужно было четыре раза в день. Мы искали стакан и смеялись над тем, что ищем его, и ты запивал свой порошок из моих ладоней, я смотрела на твой затылок свысока и с нежностью. Потом ты похлопал цистерну по боку, как коня, и сказал, что вода – святая и живая. «Привет!» – сказал шофер, и святая и живая вода уехала. Еще потом, когда мы шли по городу, ты вдруг как-то очень по-простецки сказал: «Нужно все-таки будет отхлопотать тебя у мамки!» Потом подумал и добавил: «Голову преклонить негде. Положу ее тебе на колени». И я подумала о том, что всё тебе идёт, даже говорить «мамка» (то про мою-то маму!) и «отхлопотать». Я проснулась с чувством, что ты и в самом деле был рядом, вот уже вечер, а чувство радости от того, что я встретила тебя, не растворилось, не иссякло. Вполне наяву я сбегала на почту и получила твою открытку из Болшево. Слава богу, что ты чувствуешь себя лучше. Ты и не представляешь себе, как я извелась за твою болезнь, и какое это счастье – вновь держать в руках твои весточки! Только не работай слишком много, не переутомляйся. Ведь ты, наверное, и не замечаешь усталости, работая. Я устаю только от хозяйственных дел и безумно – от разговоров, так что вполне понимаю тебя с твоей жаждой одиночества во время прогулок. Вообще же под старость лет меня, видимо, одолевает мания величия, мне все кажется, что только я одна «разговариваю», а остальные – «болтают». Впрочем, избегаю и того и другого.

Так значит, ты в Болшево. Да, мы все жили там, наша дача была недалеко от станции. Я там была по-настоящему счастлива, и сознавала, что счастлива. Не потом, путем сравнения, поняла, что то было счастье, а так просто – жила, и каждый день был сознательным, вернее – осознанным счастьем. Невероятно! И ведь та же самая я!

Работаю я по-прежнему много, но успеваю читать и думать о прочитанном.

Кстати, читал ли ты в «Правде» рецензию Бубеннова о «Правом деле» Гроссмана? (как правильно: рецензию «о» или «на»? Эпитафия, я знаю, «на». Рецензия тоже, наверное!).

Это письмецо я рискну послать тебе в Болшево, хотя точного адреса не представляю себе. Значит, ты там!

Помнишь, как мы сидели с тобой в сквере против Жургаза и тебе было так тяжело, а я была полна своего «осознанного» болшевского счастья? Ты говорил, что завидуешь мне, что я молода и что у меня все так просто в жизни. Это, кажется, был единственный раз, что ты меня обманул!

Дни у нас становятся длиннее, теплее: около –15, –20°. Приближается моя сороковая весна, но с точки зрения чисто женской меня это мало трогает, т. к. здешний климат сохраняет молодость даже мамонтам!

Крепко целую тебя, поправляйся!

Твоя Аля

Туруханск 6 мая 1953 г.

Дорогой мой Борис! Устала, как здешняя собака (именно здешняя, т. к. на них всю зиму возят воду и дрова), и поэтому только сейчас в состоянии написать тебе немного и поблагодарить тебя за неизменную твою заботу. Спасибо за всё, мой родной! Я писала тебе по какому-то фантастическому адресу в Болшево, когда ты там отдыхал, но не знаю, дошло ли письмо, если нет, то беда очень невелика. Да, этот год полон событий и перемен, я немного понимаю это умом, но ничего не успеваю осознать как следует. Я настолько, видимо, перенасыщена «прожитым и пережитым», что все последующее как-то не достигает души, если ее у меня хоть сколько-нибудь осталось? Вернее всего, я просто дико устала, немного отойду и снова начну всему удивляться.

Опять весна. Здесь она, до явного начала лета, горностаевая, белая с проталинками черной земли. Вначале эта необычайная весенняя масть трогала меня, а теперь я привыкла, и надоел этот бедный полутраур, раскинутый на тысячи километров, на десятки дней. Преснота, грозная по своим масштабам, что может быть противнее? И потом, сколько ни живи, а сирени все равно не дождешься. Птицы не поют, цветы не пахнут, куры не несутся, все назло, все наоборот. А между тем весна здесь, как и всюду, самое доброе время года. Что же скажешь об остальных?

Изредка, с чувством нежности и досады, получаю Асины письма на нарочитых клочках бумаги, без начала, без конца, где под копирку, где – оригинал, какие-то скифские могильники. Роешься, роешься, пока набредешь, да и то не всегда, на какое-нибудь бронзовое украшение, да и то не угадаешь, где и зачем его носили. В ней очень много маминого, но искривленного и изуродованного до неузнаваемости, они схожи и несхожи, как здешняя корабельная сосна и карликовое японское деревцо. Маму я всегда как-то *гордо* люблю, а Асю совсем не так, иначе. И потом Ася, со всем ее бесспорным благородством, цепка и гибка, чего в маме совсем не было. Лиля тоже пишет и тоже редко и мало, но меня всегда бесконечно радуют ее письма. Она полна тепла и света, полна – ну как бы сказать? материнства, что ли? Пожалуй, именно материнства – и в отношениях с людьми, и в отношении к работе, к жизни: добро и чувство ответственности перед всеми, за все. Я только с ней да с тобой чувствую себя родной кому-то, а так сколько лет хожу в падчерицах, и как это опротивело! Главное, внешне к этому привыкаешь, а внутренне – невозможно. Да к тому же падчерицы приемлемы ну, скажем, до двадцатипятилетнего возраста, а к сорока сами ведьмеют. И медведеют.

Оторви хоть маленький кусочек своей, милой, подмосковной весны в мою пользу, напиши мне, как сердце и как работа. Я знаю, насколько ты оправданно – скуп в отношении времени и, следовательно, писем, но все равно напиши мне немножко. Я тоже ведь почти роман (отменно длинный, длинный, длинный...), не весь же век мне ходить в Брокгаузах, и потом, может быть, всевышний автор придумал мне все же не слишком грустную развязку? (Это я к тому, что я вполне заслуживаю письма!)

Да, я почти не заметила, как в этом году прошли здесь майские праздники – только видела много очень живописных пьяных. Один из них даже выбил лбом стекло в нашем клубе, чтобы подышать свежим воздухом. Выбил и ушел, т. ч. теперь свежим воздухом пользуемся мы.

Крепко тебя целую, будь здоров. Спасибо бесконечно за все.

Твоя Аля

29 мая 1953

Дорогой мой Борис! Я очень скучаю по тебе, хоть и пишу так редко. Не только время мое, но и всю меня, как таковую, съедают неизбывные работы и заботы, вернее не съедают, а разрознивают, разбивают на мелкие кусочки. И в редкие минуты, когда я собираюсь воедино, все равно чувствую себя какой-то мозаикой. Или – «лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду» – в одном лице. В таком состоянии трудно даже письмо написать.

Кончается май, а сегодня у нас первый весенний день, голубой и холодный. Холодный оттого, что лед идет. За окном настоящий океанский гул, мощный и равнодушный. Меня с самого детства потрясает равнодушие водных пространств – в любом живом огне больше темперамента, чем в Енисее,

впадающем в океан, и чем в океане, поглощающем Енисей. Вода равнодушна и сильна, как смерть, я боюсь и не люблю ее. Вчера у меня на глазах утонул мальчик, ловивший с берега лес-пловун. На одном конце веревки – железный крюк, другой держат в руках, когда подплывает «лесина» – сильно размахиваются, бросают канат, крюк впивается в дерево. Мальчик же привязал канат к себе, крюк с брошенного им конца зацепился не за дерево, а за проходившую мимо льдину, которая стащила его с берега, уволокла за собой. В двух шагах от берега, от людей его закрыла чудовищная неразбериха ледяных кувыркающихся глыб – и ничто не остановилось ни на секунду, ибо «минуту молчания» выдумали люди! Так же неизбежно шла вода, и дул «сивер», и, растерзанные, неприбранные, косо летели облака, и бог не сделал чуда, и люди не спасли, и с глинистого обрыва голосила мать, рвала на себе кофту. Лицо ее, голые, только что от корыта, руки, грудь, были белы, как расплавленный металл, и люди отводили глаза. Смерть и горе всегда голые, и на них стыдно смотреть.

Борис, родной, мне даже здешняя весна опротивела, не из-за этого мальчика, а вообще. Небо здесь то слишком густое, то пустое, вода – бездушна, зелень – скупа, люди – давным-давно рассказаны Горьким. По селу ходят коровы, тощие, как в библейском сне, и глаза у них всех одинаковые, как у греческих статуй. Они объедают кору с осиновых жердей на огородах и трутся спинами обо все телеграфные столбы. По мосткам ходят лошади, отдыхающие перед пахотой, и люди шарахаются в грязь. На завалинках сидят «ребята» и рассматривают проходящих «девчат», на которых надето все, что можно купить в здешнем магазине, так что каждая вторая – в крапинку, каждая третья – розовая, каждая четвертая – в крупных цветах, как лошадь в яблоках, и все – в голубых

носках. Над всем этим – слабый, доносящийся из-за реки, запах черемухи и такие же приторные звуки всепобеждающей гармони.



Ариадна Сергеевна Эфрон и Ада Александровна Шкодина на крылечке своего домика

Сегодня пришел первый пароход. Среди пассажиров, как мне рассказывали девушки, совсем не было молодых и интересных. Один, правда, сошел молодой и хорошо одетый, но поскольку он оказался инструктором крайкома, приехавшим проверять результаты политучебы в первичных комсомольских организациях, то интерес к нему угас, уступив место священному трепету.

День у нас уже круглосуточный, но от этого не легче. Крепко целую тебя, будь здоров!

Твоя Аля

27 июля 1953

Дорогой мой Борис, очень беспокоит твое здоровье – и молчанье. Что с тобой? Как себя чувствуешь? Напиши несколько слов на открытке, мне этого опять будет достаточно месяца на два вперед.

Я живу все так же, и от этого «так же» настолько отупела, что сделалась какая-то обтекаемая, и даже все необычайные происшествия последнего времени не достают до сердца. Наверное, и сердца-то уж почти не осталось.

Июль у нас был по-настоящему жаркий, первый раз за четыре года. По радиосводке погоды Красноярск все время шел наравне с Ташкентом и Ашхабадом. Туруханск тоже старался не отставать. Все расцвело и выросло на целый месяц раньше, чем обычно – солнце ведь круглые сутки! и все было бы хорошо, если бы не комары и мошкара. Они буквально отравляли существование, оказывались сильнее солнца, голода, сна.

Начинают поспевать ягоды, хожу в лес, но леса не вижу сквозь сетку накомарника и укусы мошки, сосредотачиваясь только на чернике и голубике. Время от времени забредаю в болото или натыкаюсь на корову, похожую в лежачем виде

на бутафорскую скалу. Везде коровы – в лесу, на аэродроме, на кладбище, и уж конечно на каждой улице. А молоко продают только кислое.

Ловлю себя на том, что иногда всерьез рассматриваю в окно клуба прохожих – у кого из знакомых новое платье и «где брали матерьял и почем?». За четыре года узнала в лицо всех местных жителей, сразу распознаю приезжих. Кстати о приезжих – одно время было настоящее нашествие амнистированных, большинство которых устроились в качестве рабочих в геологические разведки, приезжающие сюда на лето. Они внесли некоторое оживление в нашу однообразную жизнь, ограбив несколько квартир и очистив немало карманов. (Конечно, не все они, а некоторые, те, кому не в коня корм.)

В соседней деревне на берегу появился один голый, выплывший из Енисея. Колхозники пожертвовали ему штаны и майку, а потом спросили документы – откуда они могут быть у голого? Голый рассказал, что его амнистировали, что он ехал из лагеря вместе с несколькими такими же товарищами, по дороге они играли в карты, сперва на деньги, потом на хлеб, потом на одежду – кончилось тем, что кто-то проиграл его самого и в качестве проигранного выбросили с баржи в Енисей. Я его видела – он ходил все в тех же колхозных штанах и ждал работы по специальности. На вопрос о профессии отвечал: «вор-карманник».

В общем, все это ерунда.

Перечитываю сейчас твоего Шекспира, он у многих здесь побывал, и все чернорабочие руки читателей очень бережно к нему отнеслись – книги, как новые. А вот Гете гостит по соседним колхозам и, наверное, вернется – если вернется – в очень потрепанном виде. Ну ничего, пусть читают. Последнее, в чем я была собственницей, это в книгах, а сейчас даже твои выпускаю из рук, пусть, пусть читают!

Родной мой, я надеюсь, что у тебя все хорошо и что сердце не тревожит. Мне было бы просто неловко навязываться тебе со всеми своими беспокойствами по поводу твоего здоровья, если бы не огромные расстояния, разделяющие нас; они уничтожают всякую неловкость, оставляя неприкосновенными все беспокойства и все тревоги. Очень прошу тебя, напиши несколько слов!

Твоя Аля

12 сентября 1953

Дорогой друг Борис! Получила твое письмо и стихи, и хочется сейчас же отозваться, не ожидая несбыточного досуга – и таких же несбыточных настоящих слов. Ты знаешь, я ужасно к тебе пристрастна, и не потому, что это хоть сколько-нибудь в моей природе, а потому, что ты сам не позволяешь иначе – начинаешь тебя читать, и вот уже тобой уведена и тебе подвластна, и все понимаешь и чувствуешь так, как это сказано тобой. И, черт возьми, никогда не знаешь, как это сказано и почему это именно то самое! У тебя никогда не видно того, что французы так метко называют «les ficelles du métier»[28], никаких «приемов», все так просто и просторно, как божий мир, а поди-ка сотвори! Конечно, «подвластна» – совсем не то слово, вот в том-то и дело, что ты никогда не порабощаешь и что всегда «печаль твоя светла». Откуда в тебе столько света? где, чем, кем пополняешь ты в себе его запасы? Талант? но он всегда бремя, всегда крест, и большинство творцов хоть часть его возлагают на читателей, слушателей, зрителей, а с тобой всегда легко дышится, будто бы всю тяжесть творчества – да и просто жизни – ты претворяешь в «да будет свет». Я еще не успела как следует вникнуть в твои

---

[28] Тайна ремесла.

комментарии насчет биографичности, полубиографичности или небиографичности стихов – боже мой, да ты же всегда ты, за какой год или век тебя ни открой, как ты ни запирайся или ни распахивайся. (Написала и засмеялась – вдруг вспомнила картинку в «Крокодиле», сфинкс и подпись: «Все изменяется под нашим зодиаком – но Пастернак остался Пастернаком!» Помнишь?) Ты всегда остаёшься самим собой и всегда – нов и, ради бога, прости меня за всю Хиву и Бухару этого сравнения, – напоминаешь мне солнце – всей своей неизменностью, неизбежностью, светом и неподвластностью критическим подходам облаков.

Предыдущая тетрадь у меня есть. Я туда присоединю и это. А сейчас кончаю, время свидания истекло, скоро напишу еще. У нас было сияющее жаркое лето, оно прошло, но вокруг нашей избушки еще догорают астры и настурции, они здесь не боятся заморозков.

Я устаю и старею, ссыхаюсь, как цветок, засушенный в Уголовно-процессуальном кодексе, и первым признаком того, что действительно старею, является то, что это совсем меня не волнует. Спасибо тебе, целую тебя, горжусь тобой. Будь здоров.

Твоя Аля

12 октября 1953

Дорогой мой Борис! У нас – долгие темные ночи, короткие дни и тишина необычайная – все замерло в ожидании зимы, а снега все нет. Южный ветер сбивает с толку даже северное сияние. Осень – странная и тревожная, как весна. Ушли пароходы, улетели птицы, на Енисее же – ни льдинки и на душе – тоже. Так хорошо, когда не по графику, даже в природе! Я недавно перечитывала – в который раз и в который раз по-новому – «Анну Каренину» и в который раз задумалась

о твоем – неясном для меня и вместе с тем несомненном родстве с Толстым. Я не так-то давно (по времени) читала твою прозу, но однообразие моей жизни, изо дня в день засоряемой мелочами, уже заставило меня позабыть многое. Не то что «позабыть», но потерять ключ к этой вещи, понимаешь? Кстати, зачем тебе понадобилось забирать ее у меня? Я люблю перечитывать, и, как ни странно, с первого раза лучше воспринимаю стихи, чем прозу, а вот как раз твою книгу лишена возможности перечитывать вчитываясь. Я не решаюсь просить тебя о том, чтобы ты мне прислал хотя бы то же самое, что тогда, зная, что ты не забудешь об этом, когда найдешь возможным. Так вот, вы настолько с ним разные, что говорить о родстве и сходстве кажется даже нелепым, и меня злит то, что я сейчас брожу вслепую и даже нащупать не могу, в чем тут дело. Ах, Боже мой, и главное, что в этом слепом состоянии я нахожусь почти постоянно, все время «по усам текло, а в рот не попало», о том, чтобы не только *сделать* что-то, но хоть бы додуматься до чего-то, не может быть и речи. Эта жизнь, дробленная на мелкие кусочки, размолотая ежедневными, насущными и никому не нужными мелочами, постепенно и неумолимо превращает меня в клинического идиота. Даже ты это замечаешь, несмотря на все мои усилия казаться умницей, и пишешь мне все реже.

Недавно видела в «Огоньке», посвященном Толстому, пастель твоего отца, и столько мне сразу вспомнилось и подумалось, что я бросила работу и опустила руки – весь тот чудесный мир светлых красок и мягких очертаний, вставший передо мной из синего альбома работ Л. О. там, в библиотеке рязанского училища. Как же он умел передавать силу и самобытность при помощи прессованного угля и пастели, как же он сломал и переделал технику пастели, бывшей до того достоянием нежностей и сладостей французского 18-го и немного 19-го века, – какой же он был мастер! Я ужасно

люблю его иллюстрации к «Воскресению», и твой чудесный портрет, и все о Толстом, все зарисовки, и его Шаляпина. И еще я вспомнила белого плюшевого мишку, которого они с твоей мамой подарили маленькому Муру. Мур назвал его «Мумсом» и спал с ним и ходил гулять, и зацеловал ему мордочку до блеска. И еще я подумала о той великолепной круговой и трудовой поруке людей большого дара и чистой души, побеждающей время и временщиков, о великой, неиссякаемой, всепобеждающей силе правды и человечности. Может быть, именно в этом – твое родство с Толстым? Я совсем не об этом хотела писать тебе, ты сам говорил, что писать нужно только о том, что вполне ясно тебе самому, я хотела очень поблагодарить тебя за присланное и извиниться за то, что не написала сразу. Но что же поделаешь, если меня всегда тянет писать именно о нелепом – и именно тебе!

Крепко целую тебя.

Твоя Аля

12 января 1954

Борис мой дорогой, запоздало поздравляю с Новым годом, желаю тебе здоровья, вдохновенья и побольше возможностей его осуществлять. Я только что получила письмо от Лили – она пишет, что твой «Фауст» вышел, но что «в Москве его достать невозможно, а сам он (т. е. ты) не подарил», и просит, чтобы, если в Туруханске можно достать, я прислала ей. Я думаю, что это слишком длинный путь, уж не говоря о том, что здесь, конечно, не достанешь. Короче говоря, достань ты, и подари ей Фауста ты, и поскорее; она – один из вернейших и благороднейших твоих друзей, да стоит ли об этом упоминать!

Себе-то я не прошу, ты сам пришлешь, когда будет время.

Я ужасно много работаю и устаю, как собака, буквально, т. к. на них здесь воду возят и дрова. Этим только и объясняется мое длительное молчание по твоему безответному – на что, конечно, ничуть не в обиде – адресу.

Но я всегда тебя помню, и ты, наравне с двумя-тремя дорогими мне отсутствующими, все равно всегда со мной, и именно это позволяет мне переживать мое реальное окружение.

У нас зима во всем объеме – моя пятая здесь. И каждую все труднее выносить – не то, что они лютее, а просто сил меньше. А главное, что тратишь их бесполезно и нудно. Когда их было побольше, я не замечала, что трачу их, а теперь замечаю.



Одна из самодельных поздравительных открыток, которые Ариадна Сергеевна посылала друзьям

А вообще-то все идет хорошо. Особенно меня обрадовало, что Берия разоблачили и что елку в Кремле устроили, мне даже во сне снилось, что я побывала на обоих этих праздниках.

Целую тебя и люблю. Главное – будь здоров!

Твоя Аля

20 апреля 1954

Дорогой мой друг Борис! Прости, что я такая свинья и до сих пор не поблагодарила тебя за «Фауста». Благодарить – мало, хочу много написать и из-за этого совсем ничего не пишу. У меня опять миллион всяких терзаний, меня опять «сокращают» (это уже в третий раз), но я пока еще работаю – и очень много – на неизвестных правах. Надоело все это до одури, я устала и отупела, еще и поэтому не пишу тебе. Я напишу, когда немного приду в себя, а сейчас мне просто очень трудно и беспросветно.

Фауст же меня просто ошеломил. Работа гигантская, талантлив необычайно, и, ты понимаешь, с одной стороны, жаль ужасно, что столько труда, времени и себя ты вложил в Гете, лучше бы в свое, а с другой – как хорошо, что это сделано именно тобой. Какой ты молодец – талантливый и трудоспособный, а ведь в России это сочетание встречается раз в столетие, да и то не в каждое. Я очень по-хорошему завидую тебе, за то, что ты – такой, я не только «бы» не могла, – я уже не могу! Только читать умею. Но в Туруханске и это – редкость! Кстати, здесь есть человека четыре, которые очень любят тебя и читают все твое, что можно достать, сетуют, что только переводы. Сейчас Фауст переходит из рук в руки. Я очень дорожу твоими книгами и м. б. поэтому охотно даю их читать. Скоро ли будет печататься твое? Думается, что скоро. Самое-то чудесное, что тебя и так любят. Когда ты

болел и долго не писал, я спрашивала о тебе знакомых, знающих тебя по книгам и понаслышке (потому, что общих знакомых у нас почти нет), и мне все отвечали словами любви и внимания к тебе – звонили в больницу, узнавали о тебе, а, да что там говорить, ты и сам знаешь, а не знаешь, так чувствуешь.

Напишу тебе более или менее по-человечески в начале мая (как та гроза), а пока еще раз спасибо за Гете и за тебя.

Целую тебя.

Твоя Аля

Книга чудесно издана, и это тоже радует!

3 июня 1954

Дорогой друг Борис, прости, что так долго не писала тебе. Получив твое письмо, я почему-то сразу очень обиделась на него и хотела выбрать свободный час, чтобы наговорить тебе уйму любящих дерзостей. И я это непременно сделаю со временем, когда и если приду в себя. Дело в том, что я узнала о гибели С. Д. О болезни его я узнала в прошлом году, но надеялась на выздоровление. Теперь уж надеяться не на что. Знаешь, милый, мне уж давно очень трудно живется, я никогда не могла, не могу и не смогу свыкнуться с этими потерями, каждый раз от меня будто кусок отрубают, и никакие протезы тут не помогут. Живу, как будто четвертованная, теперь осталось только голову снести, тогда все!

А впрочем, я, кажется, уж давно без нее обхожусь.

Кстати, жена его уже вышла замуж. Она, видимо, без протеза не может, или, м. б., сама – протез?

Все же остальное без перемен. Лед идет, летят гуси и утки и еще какая-то мелочь, вроде снегирей. Эти малыши над водой летают низко, и отражение – как будто стайки рыбок,

и я мгновенно представляю себе мир вверх тормашками: Енисей, отражающийся в небе, и рыб, отражающихся птицами.

Видимо, впадаю в детство.

Весна серая, пасмурная, очень холодная. Такое и лето пророчат. И в самом деле, зачем понадобилось Ермаку ее открывать?

Мне сказали, что в четвертом номере «Знамени» что-то твое напечатано, но в библиотеке невозможно добиться, все время журнал на руках.

Пыталась прочесть «Бурю» Эренбурга, но никак не смогла. Язык у него какой-то переводной, не русский, и безвкусица тоже какая-то переводная («Старик Дезирэ признавал только две вещи – коммунистическую партию и хорошее вино» – «моя жена на зимнем спорте» и т. д.). Масса раздробленных эпизодов – похоже на немое кино с громкими комментариями. Прочла с удовольствием «Дипломата» Олдриджа. Читал ли ты? По-моему, хорошо.

Родной мой, целую тебя и люблю. Напиши мне несколько словечек.

Твоя Аля

Мне даже и не тоскливо, сама не знаю, чем я перенасыщена и что во мне выкристаллизировалось. Я, наверное, просто превращаюсь в соляной столп на полпути между Содомом с Гоморрой и Иерусалимом. Пиши столпу, он ведь все же хороший человек!

22 июля 1954

Дорогой друг Борис! Большое спасибо тебе за присланное и за письмо. Я знаю, насколько трудно было осуществить и то, и другое – особенно в такую жару. Да и вообще. Не смогла написать тебе раньше, т. к. меня «угнали» в соседний колхоз

на заготовку силоса и я оттуда вернулась еле живая от усталости и новых впечатлений.

Вот уж действительно край света и почти что его конец. Избы завалились, обвалились, провалились, но все еще держатся, и в них все еще живут – а самое страшное это то, что на них еще сохранились всякие дореволюционные наличники, ставни, петушки и прочие отсталые украшения. И всюду следы чего-то, как после землетрясения – вот здесь была церковь, но ее разобрали, а тут – пекарня, но она сгорела, и т. д.

Именно там до революции находился Туруханск – место ссылки, а здесь, где мы сейчас живем, было село Монастырское. Деревня (по-здешнему станок) стоит не на Енисее, а на маленьком его притоке, Турухане, и жители жалуются, что скучно живется – даже пароходов не видать. В этом году колхоз впервые организовал детские ясли – они находятся в том же помещении, где колхозная контора, красный уголок и заезжая. Заведующая печет на железной печке оладьи, на помосте для сцены сидят, как истуканы, две няньки-девчонки в красных платьях и держат на коленях по грудному младенцу. Младенцы – калмыки, и тоже в красных платьях, и тоже как истуканы. Остальные дети (все, как один, без штанов) с увлечением ползают по грязному полу и отбирают друг у друга оладьи и единственную игрушку – поломанный фуганок. В одном углу играют на гармошке, в другом – огромная рыжая немка ругается с колхозным счетоводом, тихим грузином, который в прошлом году надеялся на то, что в юные годы дружил с Лаврентием, а в этом – не знает, на что и уповать. Причем все эти подробности можно разглядеть только через сетку накомарника, т. к. и небо, и земля, и избы, и ясли, и дети, и оладьи, и счетовод, и его мечты, и вообще все на свете скрыто тучами комаров. Да, товарищи...

После долгих хлопот и ожиданий я, наконец, добралась до «Знамени» с твоими стихами, очень обрадовалась им и тебе.

Дорогой друг мой, если бы ты знал, как изболелось мое сердце по твоей судьбе – и как я горда ею! По-матерински я вечно «молюсь о чаше» и вместе с тем – прости и пойми меня! горжусь и радуюсь тому, что она, предназначенная величайшим и достойнешим, не минула тебя. Ты сам это знаешь, и в конце концов велика ли беда говорить с потомками, перешагнув через современников? И велика ли беда в том, что, пока история движется спиралеобразно, лучшие идут по прямой?

У меня все по-старому. Устала я донельзя. Говорят, что есть какое-то постановление от 31 мая о снятии ссылки со всех нас, но всякое счастье хорошо вовремя – боюсь, что у меня нет сил опять все начинать сначала – куда-то ехать, где-то искать работу в таком возрасте, когда у каждого нормального человека уже есть квартира, дача, прислуга и, за неимением детей, хотя бы внуки. А я, бедная, все только «начинаю жить» и, как Агасфер, кочую от окраины до окраины.

Целую тебя, мой родной. Напиши мне, когда это не будет трудно.

Твоя Аля

20 августа 1954

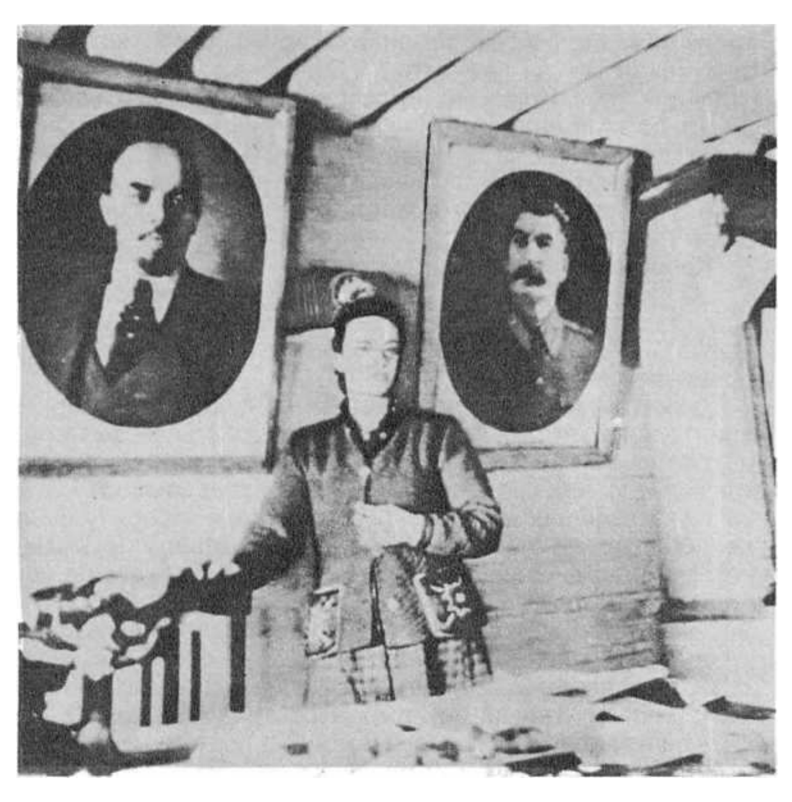
Дорогой друг Борис! Во первых строках моего зеленого письма сообщаю, что мы получили официальное сообщение о том, что реприманд с нас снят и что мы получим в течение сентября паспорта (такие, какие у нас были до поездки, т. е. на тройку с минусами, но все же и за то спасибо). И вот мы думали-думали с Адой (с которой вместе приехали из Рязани и вместе живем все эти годы) и решили эту зиму, до следующей навигации, зимовать здесь. Ехать нам фактически некуда, у нас, кроме Москвы, нигде никого, и ехать куда-то наобум, думается, просто немыслимо. М. б., бог даст, за зиму

дождемся реабилитации, тогда все значительно упростится, а если нет, то постараемся разузнать насчет возможной работы для Ады и для меня (она – преподаватель вуза – английский язык), я – сама не знаю. За зиму постараемся подкопить денег на выезд, на продажу нашей хатки надежда невелика, уезжают очень многие, продают все – все, а покупать некому. Как ты думаешь? Одобряешь ли такое решение? Если не был бы такой безумный зимний тариф у самолетов, я непременно прилетела бы в отпуск в Москву зимой – это разрешается, но на такую partie de plaisir[29] нужно не меньше двух тысяч, которые при большом желании можно было бы собрать, но тогда опять летом не выберешься! Очень уж хочется поскорее со всеми вами увидеться, тут мне дорог каждый день за все эти годы.

Вторая новость – у меня обнаружили tbc, к счастью, не в открытой форме. Тут только я и поняла, почему я весь последний год так плохо себя чувствовала, вечно была слабой и усталой. Ездила на покос, видимо, переутомилась, и сейчас же получилась вспышка, долго пролежала с высокой температурой, теперь она понизилась, но в норму еще не входит. Не работаю второй месяц. Здесь, на Севере, есть всевозможные, в других местах трудно находимые, лекарства и препараты, глотаю всякую горечь, в которую не верю (по старинке верю в овсянку, масло и в «как господь»), и дважды в сутки – стрептомицин. Уверена вместе с царем Соломоном, что «и это пройдет», ибо из всех моих качеств самые явные – это верблюжья выносливость и человеческое терпение. (Об остальных качествах мама говорила: «Мудра, как агнец, и кротка, как змий».)

---

[29] Увеселительная прогулка.



А. С. Эфрон в рабочей комнате Дома культуры в Туруханске

Я с ужасом думаю об этих пяти прошедших годах, за которые я ничего не сделала, только «боролась за существование» – добро бы за жизнь, а то именно за существование, за прозябание. Где я возьму силы на дальнейшие устройства и переустройства? У меня их совсем нет, о пережитом (за себя и за других) не расскажешь. Дорогой мой, я смотрю на полку, где за эти годы выросло *столько* твоих книг (не считаю романа), и думаю, какой же ты герой, какая же ты прелесть. Я ведь знаю, чем были эти годы для тебя. И все это – malgré tout et quand – même![30] Да что об этом говорить! Мне кажется, мы

---

[30] Несмотря ни на что и во что бы то ни стало.

настолько понимаем друг друга, что можем обходиться мыслями, без слов. Но, черт возьми, поговорить все-таки очень хочется! (мне. Тебя же придется уговаривать, чтобы поговорил. Ты занят!).

Крепко целую тебя и люблю.

Твоя Аля

29 августа 1954

Дорогой друг Борис! Сегодня я получила от маминой приятельницы, бывшей с ней в Елабуге (ты когда-то советовал к ней обратиться, чтобы узнать о маме), полторы тысячи, т. е. как раз столько, сколько стоит самолет Туруханск-Красноярск и обратно, а на поезд я наберу (у меня лежит большая часть присланных тобой денег – на книжке), так что одно чудо уже есть, и я, если все будет благополучно, смогу ненадолго приехать в Москву в отпуск. Вернее всего в ноябре. И тогда я отниму у тебя, у романа, у переводов, у семьи (твоей) и у всего на свете два часа, которые я не только заслужила, но и выстрадала. Я прилечу и приеду только для того, чтобы увидеть Лилю и тебя, единственную семью души моей, и поэтому сгони сейчас же с лица недовольное выражение. Я знаю, ты не выносишь вторжений, особенно в последнее время, но я все равно буду Аттилой и вторгнусь, предупреждаю тебя заранее, чтобы ты свыкся с этой мыслью. М. б. только час, м. б. полчаса, чтобы не утомлять тебя.

Итак, весной будущего года вновь буду корчеваться и пересаживаться в иную почву – еще не знаю, в какую – бог мой, какая я стала мичуринская и морозоустойчивая за эти годы, как я привыкла к почвам песчаным и каменистым – привьюсь ли я в нормальном климате, и что из всего этого получится? Цветочки? Ягодки? или это все уже позади? Кстати, на воскреснике, на котором я, собственно говоря,

и заболела, кто-то из участников, увидев прокурора, возвращавшегося с покоса с букетом цветов, воскликнул: «Вот и цветочки, а ягодки впереди!» Это – эпиграф дружбы с прокурором.

Я еще не работаю, меня лечат до одури, единственный ощутимый результат помимо стоимости всех этих препаратов – синяки на всех тех местах, куда делают уколы. Терплю все из уважения к лечащему меня фтизиатру (в прошлом – санитарному врачу), но без малейшей уверенности в том, что меня лечат от того и тем.

Опять наговорила уйму глупостей. Прости.

Целую тебя и люблю, и как же я по тебе стосковалась! Главное, будь здоров, а остальное – приложится.

Твоя Аля

24 сентября 1954

Дорогой друг Борис! Прости, что не сразу ответила тебе, мой бюллетень кончился, и я вышла на работу как раз в такое время, когда все остальные сотрудники оказались мобилизованными в колхоз на уборку картофеля, и мне одной пришлось отдуваться сразу за всех, т. е. два раза в неделю мыть полы (за уборщиц), ежедневно топить печи (за истопника), стоять у дверей вместо контролера, получать и сдавать деньги в банк, и... обеспечивать идейность и качество проводимых мероприятий. Было очень весело и публике, и мне! Наконец все вернулись и начали по-прежнему дружно дармоедствовать, а я вернулась, в свое русло.

Страшно благодарна тебе за твое приглашение, это действительно будет чудесно, а также и то, что за короткий отпущенный мне срок я надеюсь просто не успеть тебе надоесть. Я начинаю свыкаться с дивной мыслью, что то, о чем так недавно не смела и мечтать, возьмет да осуществится. У меня

еще одна радость, правда, это еще не совсем сбылось, но почти. Я получила от Аси очень тяжелое письмо о том, что ей некуда ехать, и кто-то, приглашавший ее, приглашение отменил, и что у нее нет постоянных, пусть небольших средств к существованию, и что комендатура, поскольку отпала ссылка, лишила ее инвалидного пособия, и т. д. Я сходила здесь в собес, разузнала насчет пенсии. Оказывается, не имея 20 лет стажа рабочего в ее возрасте (стаж-то у нее есть, но несомненно нет о том справок), она, в сельской местности, может рассчитывать на пенсию... в 18 рублей ежемесячно! Думала, думала, что мне делать, увидела в Литературной газете, как Эренбург целует какого-то зарубежного демократа, и написала ему об Асином положении – неужели нельзя организовать какую-то регулярную, пусть небольшую, помощь через какой-нибудь Литфонд? Я не очень рассчитывала на ответ – он так омастител за эти годы, и тем более была тронута и обрадована, когда он отозвался немедленно и сердечно. Он говорил об Асе с Леоновым, председателем правления Литфонда, и тот обещал поставить вопрос о пособии ей на правлении и надеется, что это будет улажено скоро и как надо. И я тоже надеюсь. Это было бы чудесно, и Ася чувствовала бы себя лучше, крепче, увереннее, зная, что может ежемесячно располагать определенной суммой-минимумом, а остальное всегда приложится. Самое страшное это когда ко всему пережитому и переживаемому еще нужда, еще страх за завтрашний кусок хлеба, и это в ее возрасте, при ее состоянии здоровья, при ее одиночестве.

С сегодняшнего дня и по 7 ноября у меня сумасшедшая работа, а потом, даст Бог, сразу Москва! Бывает же так! Меня – неимоверно ругают все (кроме тебя и Лили) за эту дикую затею: мне! ехать! в отпуск! мне! тратить! такие деньги! Мне же надо копить! Мне же надо выезжать тихонечко, скромненько,

дешево и, главное, «куда-нибудь»! Все советуют «куда-нибудь» выехать, «где-нибудь» устроиться и, главное, немедленно бросить Аду, с которой я живу здесь шестой год, она была хороша, пока помогала мне в трудных условиях, а сейчас, мол, каждый сам по себе, мне, мол, помогут, а она как хочет. Боже мой, ну никто не понимает, что я так заработала, так заслужила такой отпуск, и пусть добрые деньги, данные мне, хоть раз в жизни пойдут не на хлеб насущный, а просто на радость.

Кроме того, мне как-то предчувствуется, что я скоро сама буду зарабатывать, как следует. Правда, совершенно не представляю себе, как и чем, но это непременно будет. Ах, мне бы реабилитацию!

Спасибо тебе, родной. Неужели я тебя скоро в самом деле увижу? Я не буду тебе мешать, я очень тихая. Целую тебя.

Твоя Аля

Туруханск, 10 января 1955

Дорогой Борис! Как видишь, я вдоволь наговорилась с тобой мысленно, прежде чем принялась за письмо. Туруханск вновь принял меня в свои медвежьи объятия, по-прежнему не оставляя времени ни на что, кроме работы. А ее за мое отсутствие накопилось столько, что я, разленившись во время отпуска, никак не могу ее осилить и по-настоящему войти в колею. Находившись, наездившись и налетавшись по большим дорогам, все не привыкаю к туруханской узкоколейке, спотыкаюсь на тропках, проваливаюсь в сугробы, работаю на ощупь, думая о другом. А мысли мои, как и все бабьи мысли, идут ниоткуда и ведут в никуда, что и является основным моим несчастьем. Таким образом всю жизнь я делаю всякие нелепые вещи, которые осмысливаю лишь спустя и постфактум подвожу под них фундаменты оправданий.

Дорогой друг мой, я бесконечно счастлива, что побывала в Москве и вновь встретилась с тобой. Мы видимся очень редко, между нашими встречами такие события и расстояния, что история их вмещает с трудом. А мы – сколько же *мы* вмещаем, сколько же у нас отнято и сколько нам дано! Из последних твоих, мне известных стихов, пожалуй, самое мое любимое – это Гамлет, где жизнь прожить – не поле перейти. А из наших встреч – каждая – самая любимая. И тогда, когда ты так патетически грустил в гостинице (я как сейчас помню эту комнату – слева окно, возле окна – восьмиспальная кровать, справа – неизбежный мраморный камин, на нем – стопка неразрезанных книг издания NBF, а сверху апельсины. На кровати (по диагонали) ты, в одном углу я хлопаю глазами, а в другом – круглый медный Лахути. Ему жарко, и он босиком). И тогда, когда мы с тобой сидели в скверике против Жургаза, вскоре после отъезда Вс. Эм. Кругом была осень и были дети, кругом было мило и мирно, и все равно это был сад Гефсиманский и моление о чаше. Через несколько дней и я пригубила ее. И тогда, когда я приехала к тебе из Рязани, и твоя комната встретила меня целым миром, в который я не чаяла вернуться – картинами отца, Москвой сквозь занавески, и еще на столе была какая-то необыкновенно красивая синяя чашечка (просто чашечка, а не из того сада!), резко напомнившая мне детство – если у моего детства был *цвет,* то именно этот, синий, фарфоровый! Помнишь мамин цикл стихов об Ученике? Так вот, всегда, когда встречаюсь с тобой, чувствую себя твоим Учеником, настоящим каким-то библейским Учеником, через времена, пространства, войны, пустыни, испытания вновь добредшим до Учителя, как до источника. Скоро опять в путь, а кругом – тишина, Время притаилось, готовясь к прыжку. И вот теперь вновь мы встретились с тобой, и опять я слушала тебя и смотрела

в твои неизменно золотые глаза. Пожалуй, не было бы сил все глотать и глотать из неизбывной чаши, если бы не было твоего источника – добра, света, таланта, тебя, как явления, тебя, как Учителя, просто тебя.

Все остальное было тоже очень хорошо, и твоя дача, о которой З. Н. говорит, что она куда лучше Ясной Поляны, и тихие сосны вокруг дачи, и, главное, тоненькая рябина, усыпанная ягодами и снегирями. Очень все было хорошо, я страшно рада, что побывала у вас.

Ливанова вспоминаю с удовольствием. Он таким чудесным отчетливым, сценическим шепотом говорил мне такие ужасные вещи про каких-то академиков, там, за таким чинным столом, что показался мне Томом Сойером по содержанию и Петром Великим по форме (в воскресной школе и на ассамблее). Впрочем, приятно все это было постольку, поскольку он нападал именно на академиков, а не, скажем, на меня. Тогда бы мне, конечно, не понравилось.

У нас вторую неделю беспрерывные метели, что ни надень – продувает насквозь. За водой ходить – мученье, дорогу перемело, сугробы. Стараемся пить поменьше, а умываемся снегом (конечно, растопленным). Но все равно все хорошо.

Напиши мне словечко, скажи, как тебе живется и работается. Я просто вида не показала, насколько я была уязвлена тем, что ты мне ничего не прочел и не дал прочитать своего нового. Конечно, я сама виновата. А очень просить тебя не стала, чтобы ты не воспринял это, как «голос простых людей» (по Гольцеву).

Спасибо тебе за все.

Целую тебя.

Твоя Аля

Передай мой сердечный привет Зинаиде Николаевне.

24 марта 1955

Дорогой мой Борис, спасибо! Рада, рада была увидеть твой летящий почерк, прочитать твои милые слова. Очень беспокоило твое молчание. Такие расстояния всегда порождают тоску и беспокойство. Ну, а насчет денег – они всегда радуют, потому что они – деньги, и всегда печалят, потому что напоминают о твоей ради них работе, оторванном от основного времени, обо всех твоих иждивенцах, обо всем том, о чем не хочется думать.

Вообще спасибо тебе за все!

Живу нелепым галопом, работаю, как заводная, и так же бессмысленно. Нет времени собраться с мыслями, причем боюсь, что если бы время нашлось, то не оказалось бы мыслей. Мне всегда недостает ровно половины до чего-то целого. Насчет будущего ничего не решила, жду окончательно ответа из прокуратуры, сколько ждать еще – неизвестно, а главное – неизвестно, каков будет ответ. И ничего я не могу уравнять с этими двумя неизвестными. Так и живу машинально. Все более или менее осточертело, кроме природы. День прибавляется, прибывает как полая вода, в лыжнях, колеях, оврагах лежат весенние, синие тени, с крыш свисают хрустальные рожки сосулек, и солнце, с каждым днем набирая сил, поднимается все выше и выше, без заметного труда. Так все это хорошо, так нетронуто, бело и просторно! И небо белое с утра. Голубеет к полудню, доходя к вечеру до нестерпимого ультрамарина, и потом сразу ночь. И тоска здесь своя, особенная, непохожая ни на московскую, ни на рязанскую, ни вообще на тоску средней полосы! Здесь тоска лезет из тайги, воет ветром по Енисею, исходит беспросветными осенними дождями, смотрит глазами ездовых собак, белых оленей, выпуклыми, карими, древне греческими очами тощих коров. Здесь тоска у-у какая! Здесь тоска гудит на все пароходные

лады, приземляется самолетами, прилетает и улетает гусями-лебедями. И не поет, как в России. Здесь народ без творчества, без сказок и напевов, немой, безвыходный, безысходный.

Но – тоска тоской, а забавного много. Например – заместитель председателя передового колхоза им. Ленина – шаман, настоящий, воинствующий, практикующий! Именно он и осуществляет «связь с массами» и, прочитав над ними соответствующие заклинания, мобилизует их на проведение очередного мероприятия, вроде заключения соцдоговора о перевыполнении плана пушнозаготовок.

А вот тебе стихотворение, при мне написанное очень милой девушкой «с образованием» одному тоже очень милому молодому человеку, на подаренном снимке:

«Быть может нам встретиться не придется,
Настолько несчастная наша судьба.
Пусть на память тебе остается
Неподвижная личность моя».

На каковой личности и заканчиваю свое, неизменно нелепое, письмо.

Целую тебя и люблю. Привет всем твоим.

Твоя Аля

Как отмечал Вс. Иванов свой юбилей? Никто из гостей не помешал? А жаль!

Туруханск, 28 марта 1955

Дорогой мой Борис, можешь меня поздравить, получила реабилитацию. Дело пересматривалось без нескольких дней два года, за которые я уж и ждать перестала. Прекращено дело «за отсутствием состава преступления». Теперь я получаю «чистый» паспорт (это уже третий за год) и могу ехать в Москву. Я так удивлена, что даже еще не очень рада, еще «не дошло».

Впрочем, до меня зачастую «не доходит» вовремя, и поэтому в годины сильных переживаний смахиваю, в отношении эмоций, на скифскую (или какую там!) каменную бабу.

Так что, наверно, с навигацией поеду в Москву, где у меня ни кола, ни двора, и тем не менее я считаю ее своею.

Одним словом, «и ризу влажную свою сушу на солнце под скалою».



Ариадна Сергеевна с девушками – ссыльными поселенками

Боренька, даже если я буду близко, я никогда не буду тебе мешать работать, не буду навязываться к тебе в гости и даже не буду звонить по телефону (это все после того, как сгоряча продемонстрирую тебе свой еще один паспорт и расцелую тебя по приезде). Ну, а если так пройдет слишком много времени, то я тебе, по старой привычке, напишу очень талантливое письмо, и ты сам позвонишь мне по телефону и скажешь, что очень занят и очень любишь меня. И всегда собираюсь написать что-то толковое и сбиваюсь на чушь!

Крепко тебя целую.

Твоя Аля

21 июня 1955

Дорогой Боренька, вот уж неделя, как я приехала. Очень хочу тебя видеть, т. к. от тебя давным-давно ни ответа, ни привета. Только Журавлев немного рассказал о тебе. Напиши, пожалуйста, когда к тебе можно приехать, чтобы почти что не помешать, и как к тебе добраться – ты однажды объяснял, но я забыла, т. к. приехала тогда на машине, а то письмо, где объяснял, идет багажом вместе с остальными и еще не прибыло в Москву.

Крепко, крепко тебя целую. Сердечный привет Зинаиде Николаевне.

Твоя Аля

Я живу в Мерзляковском – 16, кв. 27, на всякий случай телефон К-4–95–71 (уже прописали – и даже с улыбкой!).

17 августа 1955

Дорогой Боренька, одна пачка бумаги и рулон уже у Марины Казимировны (я тогда не знала, что нужно отдать обе пачки. Думаю, что пока ей достаточно и одной, а когда потребуется, передам и вторую). Мы с Зиной были (с Зинаидой

Митрофановной) в Дрезденской галерее, и там Зина встретила Марину Казимировну и привела ее к нам. Она мне очень понравилась, я рада, что именно она печатает твои вещи. Только меня пугает ее горло и ее худоба – не рак ли у нее? Асе я сегодня написала, и про Магдалину тоже, как сумела. Получила от нее открытку, на днях она ждет Андрея, который должен приехать в отпуск на 2–3 недели. Что это за отпуск «оттуда»? Не понимаю. В «дедушкином музее» познакомилась со старушкой, вдовой архитектора, строившего музей. Она работает там с 1912 года, знала и деда, и маму, и Асю. Рассказала мне, что сберегла в самые трудные времена (и у музеев бывают такие) дедушкин архив – около девяти тысяч писем и многое другое. Очень хвалила теперешнего директора музея и посоветовала мне обратиться к нему с просьбой о том, чтобы музей ходатайствовал о пенсии для Аси. Остановка за небольшим – директор в командировке в Китае! Но за старушку буду держаться, т. к. очень мне хочется добиться этой пенсии, и именно через музей. Асе была бы и постоянная помощь, и постоянная радость.

Я тебе вот что хотела рассказать: когда мне было лет 14, я прожила целое лето в бретонском городке Roscoff – очень старинном, как все бретонские города. Там была церковь почему-то в мавританском стиле, а колокола, что на звоннице, были когда-то принесены из Англии двумя дельфинами, в это все жители верили, и я тоже.

Там все было серо-голубое, как голубиная грудка, – и старые дома, и дороги, и небо, и океан, и погода, и даже ветер, постоянный, как в Туруханске. Во время marée de l’equinoxe[31] океан отходил на километры, и до ближайших островов можно было дойти посуху, а потом возвращался и обрушивался на берег, на кладбище, которые в Бретани все с видом

[31] Отлив во время равноденствия.

на море! и на ближайшие дома, а один из самых ближайших к морю был дом Марии Стюарт. Она жила в нем, будучи невестой дофина. Океан налетал с грохотом и отступал с грохотом, точно сам был обут в сабо, как все бретонцы. Дом был трехэтажный, высокий и узкий, в середине – от земли и до крыши – стоял резной деревянный столб, становой хребет всего дома, резной коричневый. Там, между гроздьев винограда и виноградных листьев, пробирались маленькие святые с большими руками и большими грубыми лицами, в негнущихся одеждах. Вокруг столба шла винтовая лестница. Комната Марии была на самом верху, и все три узких высоких окна глядели на океан, и она оттуда глядела на океан. Переплеты оконные были мелкие-мелкие, как раз, чтобы прижаться лбом. Внизу был старый порт и слева – часовенка, воздвигнутая дофином для того, чтобы его невеста за него молилась. В те времена Roscoff был крупным торговым портом. Да, так это я все к тому, что тогда, там, благодаря этому городу и этому дому и благодаря тому, что есть на земле места, где время останавливается и его можно просто взять голыми руками, – я и узнала ту, настоящую, живую и простую Марию Стюарт, о которой еще *ничего* не написано. (Это «ничего не написано» просто наглость с моей стороны! М. б. просто мною ничего не прочитано? У нас в квартире есть такой молодой человек, который говорит: «Я не помню, в чем заключается учение Дарвина, но я с ним не согласен!») Я поняла тогда просто, что это было так *недавно, так близко!* Нам все в жизни портят расстояния и пьедесталы. Т. е. не все, конечно, а очень многое. Да, да, совсем недавно жила она в том доме и смотрела в то окно на тот океан. И писала стихи – «Adieu, mon doux pays de France»[32]. И мне она так близка, как будто бы не тогда когда-то ей отрубили голову, а вот сейчас

---

[32] Прощай, моя милая родина Франция.

недавно расстреляли, и давно прошедшее так же непоправимо, как недавнее, и сегодняшний день так же неотвратимо нелеп, как вчерашний.

Вообще же мне все стало таким близким, как перед смертью. Почему? Да, так вот, мне ужасно хочется прочесть твой перевод «Марии Стюарт», когда это будет возможно. Мне хочется узнать, жила ли шиллеровская Мария в том доме, в котором я ее узнала? О, женские жизни, женские судьбы, женские казни! Ты знаешь последнее письмо Шарлотты Кордэ? Вот оно:

«Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de ma résistance sans votre permission, j'ai vengé bien d'innocentes victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres, le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivre d'un tyran, si j'ai cherché à vous persuader que je partais en Angleterre, c'est que j'espérais garder l'incognito, mais j'en ai reconnu l'impossibilité. J'espère que vous ne serez point tourmenté, car je crois que vous aurez des défenseurs à Caen, j'ai pris pour défenseur Gustave Doulat, un tel attentat ne permet nulle défense, c'est pour la forme. Adieu, mon cher papa, je vous prie de m'oublier ou plutôt de vous réjouir de mon sort, la cause en est belle, j'embrasse ma soeur que j'aime de tout mon coeur ainsi que tous mes parents, n'oubliez pas le vers de Corneille:

le Crime fait la honte et non l'Echafaud.

C'est demain à huit heures que l'on me juge, le 16 Juillet»[33].

---

[33] «Прости меня, дорогой папа, что я без вашего позволения совершила акт сопротивления; я отомстила за многих невинных жертв и предотвратила множество других несчастий; когда у народа откроются глаза, он обрадуется избавлению от тирана; если я стремилась убедить вас, что уезжаю в Англию, то лишь потому, что надеялась скрыть свое имя, но это оказалось невозможным. Надеюсь, что у Вас не будет неприятностей, думаю, в Кане у вас найдутся защитники; адвокатом я взяла себе Гюстава Дюла, хотя в таком деле, как мое, никакая защита не дозволена, это – чистая формальность. Прощайте, мой дорогой папа, прошу вас забыть меня или, скорее,

Боренька дорогой, я так и не поняла насчет романа: значит ли это, что его *можно* читать в рукописи? Т. е. что ты разрешаешь? Если да, то я боюсь трогать *рукопись,* ведь не дай Бог что случится, ведь это не восстановимо, даже подумать страшно. М. б. можно перепечатанное читать – по мере того, как М. К. будет печатать, и до того, как она отдаст тебе все экземпляры, которые у тебя сейчас же разойдутся? Я так суеверна насчет рукописей, на маминых просто сижу и никому даже не показываю, чтобы не потерять, не утащили или не сглазили. А тут нужно будет и Лиле на дачу свезти и с ней почитать – с копией же ничего никогда не случится. Если только возможно, напиши мне открытку насчет этого.

Крепко тебя целую и люблю.

Твоя Аля

М. б. ты М. К. еще не печатать дал рукопись, а читать? Ты, почему-то, пишешь о том, что бумагу ей можно отдать потом. Или у нее сейчас просто есть бумага для работы?

Болшево, 20 августа 1955

Дорогой Боренька, сейчас разбираю мамины стихи, и захотелось мне напомнить тебе этих «Магдалин» – все те же волосы, о которых ты мне говорил, и те же грехи!

Крепко тебя целую, и Лиля и Зина тоже шлют привет.

Твоя Аля

В маминых записных книжках и черновых тетрадях множество о тебе. Я тебе выпишу, многого ты, наверное, не знаешь. Как она любила тебя и как долго – всю жизнь! Только

радоваться моей участи, ведь причина ее – благородна; целую мою сестру, всем сердцем любимую, и всех моих родных; не забывайте стих Корнеля: Позорно Преступление, но не Эшафот. Меня будут судить завтра, 16 июля, в восемь часов».

папу и тебя она любила, не разлюбливая. И не преувеличивая. Тех, кого преувеличивала, потом, перестрадав, развенчивала.

Магдалина

1

Меж нами – десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне – чужая кровь.

Во времена евангельские
Была б одной из тех...
(Чужая кровь – желаннейшая
И чуждейшая из всех!)

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась, – светла
Масть! – очесами демонскими
Таясь, лила б масла́ –

И на ноги бы, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески...
Страсть, по купцам распроданная,
Расплеванная – теки!

Пеною уст и накипями
Очес – и по́том всех
Нег... В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех!

Некою тканью под ноги
Стелюсь... Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!

26 августа 1923 г.

2

Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слезы, волосы – сплошное
Исструение, а тот,

В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак:
– Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!

31 августа 1923 г.

3

О путях твоих пытать не буду
Милая, ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос –
И слез.

Не спрошу тебя, – какой ценою
Эти куплены масла́.
Я был наг, а ты меня волною
Тела – как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
– Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла,
Как волна.

31 августа 1923 г.

15 окт. 1955

Дорогая моя Алюша!

Благодарю тебя за письма и выписки из Маминых бумаг. Извини, что и сейчас, и этими несколькими строками, не отвечаю тебе. Мне кажется, что в один из ближайших вторников, 18го, 25го или 1го ноября я буду в Москве, позвоню тебе и постараюсь тебя повидать. Но это предположение такое неопределенное, что оно не должно связывать тебя и приковывать к дому. Если тебе надо будет уехать из города, не считайся с этими гаданиями, уезжай с богом.

Я, конечно, знаю о разговоре О. с тобой. Зачем тебе ездить сюда, это вовсе не способ меня увидеть. Да ты, кажется, и не собираешься. Еще менее желательно, чтобы ты или кто-нибудь из твоих близких, в том числе А. К., прочли роман в том полусырном виде, в каком он был в руках Марины Казимировны и каким представляет ее перепечатка. Зачем это тебе? А результате моих и,

Автограф письма Б. Л. Пастернака

3 октября 1955

Боренька, нашла в маминой записной книжке (м. б. это вошло в ее прозу о тебе? не знаю – не перечитывала лет 20).

«Есть два рода поэтов: парнасцы и – хочется сказать – везувцы (-ийцы? Нет, везувцы: рифма, безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем (!Взрыв – из всех явлений природы – менее всего неожиданность). Насколько такие взрывы нужны? В природе (а искусство не иное) к счастью вопросы не существуют, только ответ. Б. П. взрывается сокровищами».

Боренька, а ведь это о твоем романе (хоть запись и 1924 г.)

Как-то ты живешь, мой родной? Целую тебя и люблю.

Твоя Аля

Ты мне ничего не ответил о романе: переписывается ли, переписан ли, когда и как можно прочесть?

15 *окт. 1955*

Дорогая моя Алюша!

Благодарю тебя за письмо и выписки из маминых бумаг. Извини, что и сейчас, и этими несколькими строками, не отвечаю тебе. Мне кажется, что в один из ближайших вторников, 18-го, 25-го или 1-го ноября я буду в Москве, позвоню тебе и постараюсь тебя повидать. Но это предположение такое неопределенное, что оно не должно связывать тебя и приковывать к дому. Если тебе надо будет уехать из города, не считайся с этими гаданиями, уезжай с богом.

Я, конечно, знаю о разговоре О. с тобой. Зачем тебе ездить сюда, это вовсе не способ меня увидеть. Да ты, кажется, и не собираешься. Еще менее желательно, чтобы ты или кто-ниб. из твоих близких, в том числе Д. Н., прочли роман в том получерновом виде, в каком он был в руках Марины Казимировны и какой представляет ее перепечатка. Зачем это тебе?

В результате моих и, немного спустя, ее стараний, роман выйдет к концу года в готовом и окончательном виде с первой до последней страницы, в каковом состоянии одним из первых будет дан на прочтение Вашему Мерзляковско-Вахтанговскому объединению.

Прости меня за грубости, содержащиеся в этом письме.

Крепко целую тебя. Елизавете Яковлевне, Зинаиде Митрофановне и Журавлевым сердечный привет.

Твой Б.

26 октября 1955

Дорогой мой Борис! Прости, что я такая свинья и не отозвалась сразу на твое письмо. Лиля очень заболела, и я все ездила туда и что-то возила, и ездила к Егорову и заказывала лекарства и отвозила их ночью, и для чего-то ночью же возвращалась в Москву, и т. д. Мне сказали, что ты звонил и что ты должен был быть на Лаврушинском до половины второго (во вторник), я звонила тебе около часу, но тебя уже не было.

Егоров все говорит, чтобы я не беспокоилась, но Лилю-то он не видел, а только меня, и вряд ли по моему состоянию можно определить ее!

Боренька, твой роман мы все будем читать в таком виде, в каком ты захочешь, все это зависит только от твоего желания, мы-то, читатели, давно готовы. И в то время, которое тебе будет удобно, и в любую очередь. Это Оля меня смутила, сказав, что уже можно взять у М. К. Ко мне приходила одна очень милая окололитературная девушка, мамина почитательница и подражательница, она, кстати, говорила мне, что у ее знакомых «ребят» (тоже почитателей и подражателей) уже есть экземпляры твоего романа, что они у кого-то достали и перепечатали – не знаю, что это может быть? Возможно, это начало, то, что давно уже «ходило в списках»? Или они в самом деле успели где-то подхватить уже почти готовый вариант?

Нет, я совершенно не стремлюсь тебя видеть «насильно», ни приезжать к тебе, я очень хорошо знаю и понимаю, что в часы работы ты занят, а часы отдыха – отдыхаешь и что каждый лишний и нелишний человек тебе вроде кошки через дорогу, я очень люблю тебя и за это. М. б. не так бы – именно за это! любила, если бы не знала, что я у тебя всегда близко, под рукой – и что ты меня любишь больше и помнишь больше именно оттого, что между нами всегда пропасти и расстояния километров и обстоятельств и что иначе и быть не должно. Это уже традиция.

На болшевской даче ужасный холод, я там простудилась и сейчас больная и злая.

Заканчиваю подготовку предполагаемого маминого сборника, это очень трудно, и ты знаешь, почему. С неожиданной горячностью предлагает свою помощь Тарасенков, и просто по-хорошему – Казакевич, а больше никому и дела нет. Тарасенков, тот, видно, думает, что если выйдет, так, мол, его заслуга, а нет, так он в стороне и ничего плохого не делал. Со мною же он мил потому, что знает о том, что у меня есть много маминого, недостающего в его знаменитой «коллекции». Есть у него даже перепечатанные на машинке какие-то мамины к тебе письма, купленные, конечно, у Крученых. Подлецы они все, и покупающие и продающие. У меня в маминых рукописях лежит большая пачка твоих к маме писем, и никогда, скажем, Лиле или Зине, у к[отор]ых все хранилось все эти годы, и в голову не пришло прочесть хоть одно из них. И я никогда в жизни к ним не притронусь, ни к тем, остальным, от других людей, которые она берегла. И после моей смерти еще 50 лет никто их не прочтет. Тебе бы я, конечно, их отдала, но ты же все теряешь и выбрасываешь и вообще ужасный растяпа, ты только подумай, что она, мертвая, сберегла твои письма, а ты, живой, ее писем не уберег и отдал каким-то милым людям. Лучше бы ты их сжег своей

рукой! Боже мой – мама вечная моя рана, я за нее обижена и оскорблена на всех и всеми и навсегда. Ты-то на меня не сердись, ты ведь все понимаешь.

Целую тебя и люблю.

Твоя Аля

1 октября 1956

Дорогой мой Боренька! Я всегда тебя люблю, даже когда месяцами не пишу тебе и тебя не вижу. Впрочем, «даже» тут ни при чем, люблю тебя без всяких «даже». Пусть тебя не огорчают все видимые признаки невнимания моего к тебе – они только видимые, а на самом деле я всегда ношу тебя в себе, всегда, вместе с очень немногими и немногим, с теми и с тем, к кому и к чему всегда обращены мои бессловесные мысли. Я, как в детстве, не словами думаю, а только сердцем. Значит, видимо, не думаю совсем, а только чувствую. Недавно была у Марины Казимировны, она долго хрипела мне о тебе, необычайно милая, вернувшаяся с того света после операции рака – и принесшая с того света какую-то милоту, детскость воскрешения, трогательное сияние, в общем – этого не расскажешь. Таскала она с собой на тот свет и обратно свою прелестную любовь к тебе – единственный свой земной багаж. Дала она мне почитать твое предисловие к книге, – чудесное, и про маму чудесно, только *мне* обидно, что ты ставишь мамино и Асеева имена рядом. Это нельзя: ты же знаешь. Эти имена соединимы только, как имена Каина и Авеля, Моцарта и Сальери, а не так, как ты делаешь. А как ее бы это обидело – от тебя идущее! Уж она так бы никогда не написала, будь она на твоем месте. Подумай об этом, вспомни Чистополь и Елабугу и как мама приехала к Асееву за помощью и, вернувшись, покончила с собой, оставив Муру 300 р. денег (в военное время!) и рукописи. И никакие начала – талантов, воспоминаний, отношений – не могут и не должны сглаживать *такого* конца.

Впрочем, что тебе говорить! Ты все знаешь – отныне и до века, а действуешь только по-своему. Не мне учить тебя писать и чувствовать. Для меня Асеев – не поэт, не человек, не враг, не предатель – он убийца, а *это* убийство – похуже Дантесова.

Милый мой, я устала ужасно от суеты, неустроенности, мелких и многих обязанностей, за которыми, видя главное, – не успеваешь до него добраться. Главное – трудно без своего угла, стола. И мамины рукописи в сундучке, на котором спим и сидим, – разве это место для них? Моссовет отказал мне в комнате, мотивируя это тем, что у меня ее и не было – совсем как по писанию! Кстати, мой прадед был генерал-губернатором, и резиденция его была как раз в теперешнем здании Моссовета! М. б. попробовать у них оттягать этот домишко, на этом основании? Комнаты своей у меня в жизни не было, видимо, и не будет – но зато 2–3 особнячка моих предков еще целы в Москве, не считая дедова музея, за вход в который я должна каждый раз платить три рубля. Честное слово, дед бы призадумался, если бы да кабы! Впрочем, призадумываться приходится главным образом мне.

Что ты делаешь сейчас? Как у тебя всё? Как устроилось с сыном – поступил ли он куда-нибудь? Как Зинаида Николаевна? Как маленькая Маринка, внучка? Как все и вся? Доктор Живаго на днях приедет с дачи, и я его еще раз перечту, и если ты будешь очень настаивать, то отдадим тебе его, но было бы очень хорошо, если бы ты его совсем нам подарил, как ты обещал когда-то. Тогда он еще не был дописан, и ты был щедр на посулы.

Целую тебя, дорогой мой. Я, как всегда, все написала через пень-колоду и ночью, так что не сердись.

Твоя Аля

Если как-нб. будешь в городе и свободен на полчаса, позвони мне, и я приеду – у нас тут столпотворение. Телефон наш новый – К-5–59–94.

3 апреля 1957

Боренька, дорогой, знаю о тебе все, что возможно, угадываю все остальное. Знаю, что теперь дело пойдет на поправку – уж так мы все загораживаем и завораживаем тебя от болезни! Главное, ни о чем не тревожься (самый глупый из всех человеческих советов и самый невыполнимый!) – но в самом деле все у нас всех хорошо, и, главное, денег на всех и на все хватает. Так что эти хотя бы заботы выбрось из головы.

Весна идет, мой дорогой, прилетели и грачи, и жаворонки, и скворцы, скорей поправляйся. Я была два дня в Тарусе и слушала все голоса, которые передать умеешь только ты – и почти зримый узор жавороночьей песенки в пустом чистом небе, и как невидимый под снегом ручеек полощет себе горлышко, и как петухи перекликаются, все, все слушала, еще не пересказанное тобой в стихах.



Ариадна Сергеевна на реке в Тарусе. Руки ее никогда не оставались праздными, и в свободную минуту она любила вязать. Даже в камере на Лубянке, распустив шарфик, она вязала двумя спичками.
Фотография А. Саакянц

Скорей поправляйся, будь тверд и силен нашей верой и любовью.

Я рада, что ты в кремлевской больнице, тебя там скорее вылечат, чем где бы то ни было, а тем не менее жалко, что ты не дома и нельзя к тебе прокрасться и убедиться еще и еще раз в том, что, несмотря на все страданья, ты светел и хорош, и красив, и вечно молод, и дай тебе Бог поскорей поправиться, и нам поскорей увидеться, и прости за бред сивой кобылы, и целую тебя, родной, пусть у тебя ничего не болит.

Наши Лиля и Зина тебя целуют и любят. Большой привет просила передать Любовь Михайловна Эренбург накануне отъезда в Японию («сам» уже там) и пожелания скорого выздоровления.

Твоя Аля

28 августа 1957

Дорогой мой Боренька! Тысячу лет не писала тебе, но знала основное – что ты чувствуешь себя лучше. Слава Богу. Еще в один из коротких приездов в Москву узнала в Гослите, что твоя книга стихов непременно выйдет в этом году. А вот что хотелось бы узнать: сильно ли изменился ее состав и что с предисловием? Напиши мне хоть две строчки о своих делах. Очень мило по сибирской инерции продолжать держать тебя в душе – и только, но там ведь к этому меня обязывали расстояния и еще всякие другие непреодолимости, а сейчас ведь по-другому («Так – никогда, тысячу раз иначе!»), и, пожалуй, нет никакой нужды совсем не видеться и даже не переписываться!

Милый друг мой, как ты живешь, как твоя поясница, как колено? Что ты делаешь? Что, помимо слухов на самом деле, с книгой стихов и с предисловием? Как «Доктор»? И еще: что говорят доктора? И еще: как ты выглядишь? Ходишь ли гулять?

Я в Тарусе, видимо, недалеко от того имения, о котором ты упоминаешь в своем предисловии, в той самой Тарусе, где прошло детство и отрочество маленьких Цветаевых, где все прошло, кроме, вопреки пословице, окской воды. Собор, где кто-то из Цветаевских прадедов моих был священнослужителем, теперь превращен в клуб, в прадедовском доме артель «вышивалок», в бабкином – детские ясли, вместо старого кладбища – городской сад. Домик, в котором росли мама и Ася – уцелел почти неизменный, там живет прислуга и «обслуга» дома отдыха. До Цветаевых там жил – и умер – Борисов-Мусатов, мама рассказывала, что в комнате, отданной детям, долго еще выступали после всех побелок и окрасок следы кисти Борисова-Мусатова: последнее время своей жизни он работал лежа, стены и потолок комнатки в мезонине служили ему палитрой. – Но в чем же дело? Почему именно река остается неизменной? Почему уже давно не та вода остается той самой рекой? Нет больше никого из живших здесь – никого больше! Ни Вульфов, ни Цветаевых, ни Поленова и Борисова-Мусатова, ни милого Бальмонта, ни милого Балтрушайтиса, ни многих-многих единственных! А река остается – и теперь я смотрю на нее и, благодаря ее неизменности, вижу, осязаю, пью из того источника, который оказался творческим для мамы. Вот это все она видела впервые и на всю жизнь, здесь родились ее стихи, родились, чтобы не умереть. Вот они, рябина и бузина всей ее жизни, горькие ягоды, яркие ягоды. Вот и деревья, у которых «жесты трагедий», и река – жизнь, Лета, и все равно жизнь.

А все же я до многого дожила – спасибо судьбе, Богу и людям. Дожила до встречи с тобой, и вот теперь до встречи с самими истоками маминой жизни и ее творчества, дожила до собственной своей предыстории! Дожила и до того, что прочла твой роман и предисловие к стихотворной книге, где так глубоко и просто о маме – ведь все это – чудеса из чудес,

и, когда хочется немного поворчать – чудеса останавливают меня и не позволяют мне быть мерочной... Ах, Боренька, все-то мы мелочны! Ведь важно, чтобы *написано* было, ведь именно в *этом* чудо, а мы еще хотим и издания написанного, т. е. чуда в кубе! Ну, хорошо, милый, м. б. доживем и до этого, но ведь гораздо важнее, что написанное тобой и мамой доживет до поколений, которых мы сейчас и угадать-то не можем, и с ними вы будете «на ты». Дорогой ценой заставляет сегодня платить за право жить в завтра, жить во всегда.

Крепко тебя целую, будь здоров!

Твоя Аля

9 апреля 1958

Христос Воскрес, дорогой друг Боренька!

Целую тебя, милый, желаю тебе счастливой весны и здоровья, всегда люблю тебя, неизменно помню. Прости меня за все видимое мое невнимание к тебе – жизнь очень тяжела и пожирает меня всю без остатка, а пока перемалываешь все тяжелое, хорошее куда-то девается и не ждет. Я в вечном тумане и угаре от работы и заботы, разных работ и разных забот, сливающихся в нечто такое нудно-однообразное! Как слепая лошадь по кругу. Где уж тут хоть письмо тебе написать, хоть приехать и рассказать о том, что накапливается, копишь-копишь для тебя что-то милое и радостное, а оно, не находя себе выхода, сгорает и превращается все в тот же уленшпигелевский «пепел – прах – Клааса, что стучится в сердце мое».

Работать нужно много, а работать негде, и поэтому мечусь, как ошпаренная кошка, между Москвой и Тарусой, и там и тут попадаю в орбиту тревог и неустройств, и в результате с трудом выжимаю из себя какие-то вялые и серые строки переводов, имя же им легион, а цена – грош. Вот поэтому-то

по всему, дорогой мой, так невнимательна к тебе в дни твоих болезней и триумфальных «неудач», к тебе, бывшему душевной опорой и материальным оплотом самых гибельных лет моей жизни, к тебе, бывшему и сущему другом в бездружьи, путем в бездорожьи. Прости меня за все это «видимое» мое безобразие, и верь во все мое невидимое!

Что за болезнь твоя? Определили ли (3 «ли»!) врачи? И помогли ли? Или по-прежнему ты сам да Господь Бог со всем справляетесь? Впрочем, что тебя спрашивать, ведь и ты мне тоже перестал писать! Сама все узнаю. Скоро приеду в Москву на несколько дней, выколачивать деньги какие-нб., и м. б. повезет и я тебя увижу, или услышу по телефону, или так узнаю о тебе.

Здесь тоже весна двигается, как и у тебя там, но я ее мало вижу и только по грачам определяю да по капели.

Целую тебя, милый, трижды. Главное, дай Бог тебе здоровья.

Твоя Аля

1 января 1959

Дорогой мой Боренька! Пишу тебе в первый день Нового года – и как же мне хочется, чтобы этот новорожденный принес тебе счастье, покой, внутреннюю свободу! Все время думаю о тебе, о вас двоих, и то, что было подсказано чутьем, теперь превратилось в убеждение.

Все в этой встряске переместилось лишь для того, чтобы занять свое истинное место. Так оно и должно было быть. Произошла великая переоценка ценностей, величайшее испытание чувств на прочность, слов на действие. И это – ты меня поймешь – *твой* праздник. Именно так из Страстной недели родилась Пасха. И это – *наш* праздник, тех, кто по-настоящему с тобой. Праздник разных – и родных – людей.

Так будем же праздновать! К Оле мое отношение было противоречивым – таким, как она сама, – легким и отчасти легкомысленным, как она сама, – тот ли она человек, что тебе нужен? в чем-то да, а в чем-то нет – вам виднее, и дай вам Бог счастья, думалось мне, когда думалось. Теперь и это выяснено, и это встало на место. Та легкость, простота, то «само собой разумеется», та естественность, с которой она в эти дни – и навсегда – подставила плечо под твою ношу, та великолепная опрометчивость и непосредственность, с которой она, как ребенку, раскрыла объятья твоей судьбе, определили и ее самое, и ее место – с тобой и в тебе.

Сейчас все раскрыто, все обнажено, отметено все лишнее, осталось правдивое, верное, насущное, как воздух, хлеб, вода. И какое, о Господи, счастье, что из всей этой путаницы, как из пены морской, как из клетки адамовых ребер, встала рядом с тобой на суд веков, – навечно, – эта женщина, жена, – встала противовесом всех низостей, предательств, выспренностей и пустословий.

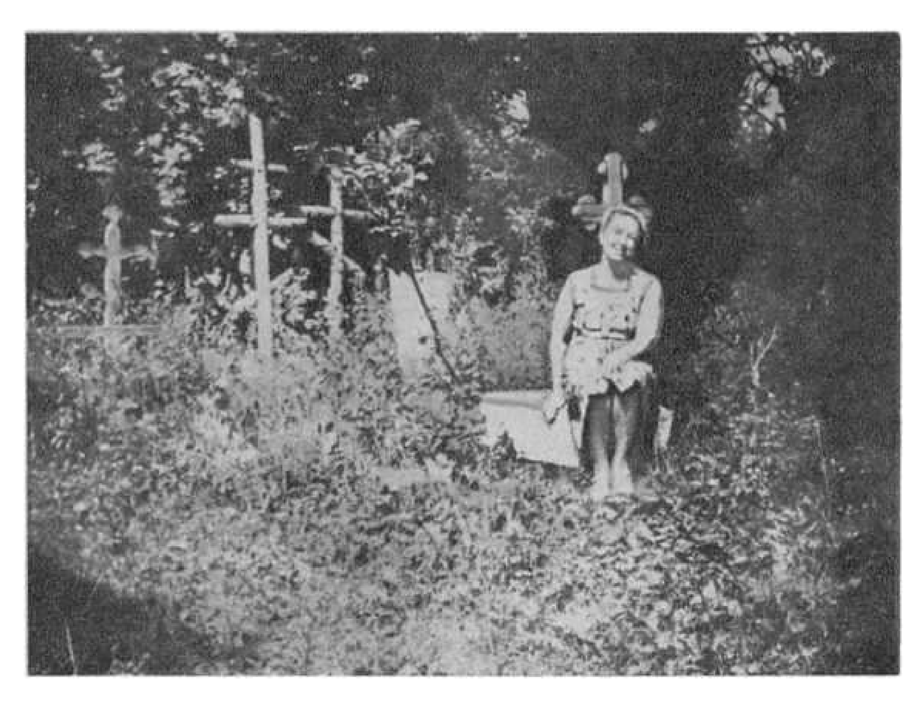
Остальное – то, что тебя мучает в личном и будет еще мучить, ибо ты сам путаница и, при всей своей свободе – та же самая клетка адамовых ребер, из которой не выскочить, – остальное – вынужденное – да расступится перед вами, дорогие мои, и пусть будет счастье, и пусть будет «ризу влажную свою сушу на солнце под скалою».

Приезжайте сюда. Вам предлагают дружбу, кров, дрова, дивный простор за окнами и всяческую помощь в переезде и устройстве здешней немудреной жизни друзья Константина Георгиевича, мои и ваши Елена Михайловна и Николай Давыдович. У них прелестная дача в Тарусе, половина которой зимой не занята, меблирована – необходимым, есть возможность наладить «услуги» – воду носить и т. д. Вход отдельный, т. ч. друг другу вы и ваши хозяева мешать не будете, а захотите посидеть вместе – только в стенку постучать. Есть телефон,

что в наших краях редкость, а главное – люди милые, умные, настоящие, уверена, что подружитесь. Не захочется людей, даже друзей – и это можно. В общем, можно все, что в силах людей, любящих и уважающих тебя, все понимающих и все переживших – вплоть до исключения, когда-то, из союза так называемых писателей – (последнее – с легкостью). Елена Михайловна будет в Москве дня на 2–3 с 5 января, обо всем сможет договориться с Ольгой.

Хорошо бы вы смогли приехать к встрече старого нового года, мы бы его чудесно, сказочно встретили все вместе!

Приезжайте отдохнуть, поработать, осмотреться, хотя бы только так, а дальше видно будет.



А. С. Эфрон на Беховском кладбище вблизи Тарусы

К. Г. сейчас в Ялте, он болен и чувствует Себя настолько плохо, что мы просто не решаемся добавлять к этому волнение за тебя. Он только что получил в грубой форме отказ «Нового мира» печатать его уже объявленный в том же журнале автобиографический роман (последняя часть «Дальних лет», Одесса, двадцатые годы, Бабель и т. д.), и после этого состояние его ухудшилось еще. Я думаю немного погодя написать ему, а сейчас рано.

Все уладится и устроится, только приезжайте. И – помимо всего мне просто хочется, чтобы ты познакомился с чудесными людьми, с чисто Ольгиной простотой и радушием предлагающими вам передышку под их кровом и крылом. Все будет хорошо, спокойно и тихо, вы сможете быть самими собой без оглядки на всё и вся.

Целую тебя крепко, дорогой мой, люблю тебя и всегда с тобой.

Твоя Аля

Оглавление

Ариадна Сергеевна Эфрон

О Марине Цветаевой

Воспоминания дочери

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д. 16